

Олег Шестинский Блокадные новеллы (Сборник рассказов)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЛОКАДНЫЕ НОВЕЛЛЫ

Первый день войны

Памяти моей матери Тамары Олеговны Агаееловой

Война застала нас с матерью в небольшом дачном поселке под Ленинградом. Мать сразу собралась ехать в город и в нервной собранности все спрашивала меня:

— Ты сможешь один пообедать в столовой, если я вернусь поздно?

Я согласно кивал головой.

— Вот тебе три рубля.

Два несоизмеримых чувства овладели мною: весть о войне я воспринимал с долей детской восторженности, — ведь сейчас наши танки, кавалеристы, пехота ринутся на врага, и он полетит вверх тормашками; и второе — сегодня я сам, самостоятельно, буду обедать как взрослый.

Проводив мать до вокзала, я, сжимая деньги в потном кулаке, побежал через парк в столовую. Перед ее деревянным зданием стояли в очереди дачники.

— Вы последняя? — спросил я могучую тетку. Тетка, недовольная, что ее оторвали от разговора, сурово взглянула на меня через плечо:

— За мной будешь.

В этот миг подскочил долговязый парень.

— Малыш, скажи, что я за тобой. Я скоро подойду. А не скажешь — за мной подзатыльник.

Я вырвался из его рук и с презрением отвернулся.

— А ты что один? — поинтересовалась тетка.

— Мать уехала в город, — нехотя объяснил я.

— Что будет! Что будет! Напасть-то какая! — запричитала она. — Мой Вася на самой границе второй год служит.

Мне стало жалко ее, и я попытался ее утешить:

— Уже завтра мы будем бить врага на его земле.

— Ах ты, моя кроха, — сквозь слезы улыбнулась женщина, пытаясь погладить меня по волосам, что мне очень не понравилось.

— Он парень — молоток! — явился долговязый. — За моей очередью следил!

Очередь поднялась на крыльцо и втянулась в ароматное помещение столовой.

— Что брат будешь? — спросила женщина.

Я мечтал взять нечто такое, чем меня не кормили дома.

— Винегрет с уксусом, селедку с луком и кислые щи, — выпалил я и покраснел.

— К такому набору в самый раз кружка «Жигулевского», — сострил долговязый.

— Я никогда его не пробовал...

— Не мути малому голову, — строго прикрикнула тетка на него и обратилась ко мне с материнской теплотой: — Ты бы, миленький, кашу гречневую взял с молоком.

Я очень любил гречневую кашу с молоком, но сейчас она казалась мне слишком детской.

— А сколько у тебя денег? — не отставала тетка.

— Три рубля! — похвастался я.

— Ну, тогда и на компот с черносливом хватит.

— На что он ему! — вмешался долговязый. — Ты лучше на два с полтиной поешь, а на полтину крючков купим — пойдем с тобой рыбу ловить.

— А куда пойдем? — я был уже готов отказаться от обеда и пойти в магазин за крючками.

Тетка решительно поставила меня впереди себя, отгородя от долговязого.

— Выбирай по преискуранту.

Я не взял ни селедки, ни винегрета, — щи, огненные, с тонкими стружками свежей капусты, стояли передо мной на столе. И еще — компот с булочкой. Я медленно окунал ложку в тарелку и, поддерживая ложку хлебом, нес ее ко рту. А тем временем в мою мальчишескую голову лезли необычные мысли: «Все в жизни пошло по-иному... Война идет... Мама в городе... Отец, наверное, уже в военкомате...» Эти обстоятельства связывались в одно и требовали от меня обдуманности.

Долговязый окликнул меня:

— Деньги остались?

Я доверчиво раскрыл ладонь, в которой держал сдачу.

— Семьдесят копеек.

— Хватит, — обрадовался он.

Я доел суп, вытер корочкой хлеба тарелку, подошел к кассирше, поблагодарил ее и направился к выходу.

— Ну, пошли в магазин.

— Не пойду, передумал.

— Почему?

— А потому что — война и не до развлечений, — отрезал я, и долговязый, опешив, протянул:

— Ну, даешь...

А я шел по парку к дому и размышлял о том, что мать сейчас мечется по городу, занимаясь десятками дел, помня непрестанно обо мне. А я что? А я должен ей стать главной опорой на все ближайшие дни, пока не разобьем немцев.

Эвакуация

Меня эвакуируют. Около площади Льва Толстого — дребезжащие трамваи. Нас, школьников, сажают в них. Матери дают десятки напутствий (как будто можно что-нибудь запомнить), бабушки крестят. У мамы на глазах слезы. Неделю назад мы с ней провожали отца в танковую роту. Он гладил ее по голове и говорил: «Не надо... Не надо...»

Я тоже, неожиданно для себя, подхожу к маме, глажу ее по волосам и прошу:

— Не надо... Не надо...

Трамвай трогается, я машу из окна рукой и не испытываю никакой тревоги — просто начинаю новую жизнь. И сам себе кажусь иным, — каким, не знаю, но иным.

В теплушке я разбираю вещи, которые мне положила мама. Нахожу жестяную банку с маслом. Ну зачем мне ее положили, словно я ребенок!

Я меняю масло на баклажанную икру у соседа. Достаю нож и ем прямо с него икру, пряную, острую от перца. Мне очень нравится есть с ножа, и я убежден в этот миг, что все настоящие мужчины едят с ножа.

Очереди

Уехать не удалось. Через две недели я снова вернулся домой. В городе продавали с лотков овощи. Мы с товарищами уходили с раннего утра из дома и искали лотки с картошкой и капустой. Иногда встречали телегу, груженную ящиками с овощами. Мы знали, что их везут к какому-нибудь ларьку, и пристраивались сзади телеги. К нам

торопливо присоединялись прохожие, и за двадцать минут выростал длинный хвост. Возница сидел осанисто и, видя, что за ним идут люди, придерживал лошадь. Лошадь вышагивала торжественно, вскидывая ноги, словно понимала, что она не просто везет со склада овощи, а возглавляет людскую процессию. Мы, как именинники, шли первыми. Женщины смотрели на нас завистливо и в то же время одобрительно:

— Юркие какие... Помощники матерям...

У лотков люди стояли плотно, молчаливо под мелким непрерывным дождем, и, казалось, никакая сила не могла разломить очереди. Когда раздавалась сирена воздушной тревоги, прохожие разбежались по убежищам, а очередь стояла неколебимо. Люди считали: осталось двенадцать человек до ларька, десять, пять... Прижимая к груди кочаны капусты, они бежали в подворотню. Но очередь продолжала жить, она казалась бессмертной. Продавцы в измазанных передниках отсчитывали деньги и ссыпали овощи в кошельки. Они были мужественны, да и не могло быть иначе — перед ними стоял народ, и они сами как бы срастались с очередью.

Одному в бомбежку всегда было не по себе, но когда рядом чувствовал чье-то дыхание и видел перед собой рассыпанную на мостовой груды влажного картофеля с ободранной тонкой шкуркой, страх исчезал.

Славка Ван-Сысоев

Славка был из ребят самым толстым во дворе. И самым старшим. Лицо, брови, ресницы и даже глаза были у него белесые. Роста он был небольшого и кепку носил с кнопкой, для фасона. Сам себе он очень нравился. Когда ему кричали: «Толстый!» — он не обижался, а говорил нравоучительно, по-взрослому:

— Ну что ты понимаешь в мужской внешности?! И вообще — я из голландцев. А там такие, как я, за самых интересных идут.

До сих пор не могу понять, почему он считал себя голландского происхождения. Но однажды на уроке встал, сопя, из-за парты и сказал опешившей молоденькой учительнице:

— Не зовите меня больше Сысоев, называйте Ван-Сысоев. Я — из голландцев.

Иногда он туманно намекал, что предки его приехали при Петре Первом из Амстердама и что он знает голландский язык. Когда его просили поговорить по-голландски, он начинал объясняться, жестикулируя и хрипя. Слов за хрипом мы не разбирали и соглашались, что говорит Славка не по-русски.

Неожиданно для всех нас он влюбился. Девчонки во дворе голенастые, с хвостиками косиц. Их можно было или снисходительно дергать за волосы, или бить зимой снежками. Но бегать за ними? Это казалось так унижительно, что мы подумали, сможем ли относиться к Славке по-прежнему. Самое обидное было то, что мы ни разу не видели Славкину избранницу. Славка скрывал ее имя. Мы созвали совет.

— Надо их выследить, — сказал Исаак.

На этом совет закрыли: предложение Исаака показалось нам мудрым.

На следующий день мы с Исааком вышли со двора вслед за Славкой. Прятались за столбами, пугая прохожих, шмыгали в подворотни, когда Славка поворачивал голову, и наконец остановились как вкопанные. В улочке стояла девочка и продавала газированную воду. Славка достал монету и выпил подряд два стакана газировки. Он молчал. Девочка старательно мыла стакан, все один и тот же. На остальных три грязных она не обращала внимания. Славка вытащил из кармана новую монету и выпил еще два стакана.

«Ну и здоров пить!» — в нас зашевелилось прежнее уважение к Славке. Наконец он заговорил. Слов не было слышно. Девочка покраснела, кивнула головой и ласково взглянула на Славку. Он снова достал монету и протянул девочке. Этот жест нас окончательно сразил — шесть стаканов газировки! Есть о чем рассказать во дворе! О

девочке в этот миг мы забыли. Она не понравилась ни мне, ни Исааку, но из уважения к Славкиному подвигу мы молчали об этом.

...В сентябре зачастили бомбежки. Я хорошо помню первую бомбу, упавшую неподалеку от нашего дома. Вначале мне показалось, что просто раздался звон разбитого стекла. Словно угодили мячиком в окно. Но в следующее мгновение я почувствовал могучий взрыв, как будто кто-то пытался выбраться на белый свет и что есть мочи колотил кулаками из-под земли.

Наутро мы со Славкой ходили по соседним улицам. Несколько зданий было разрушено. Наш управдом решил проявить инициативу.

Неизвестно, кто подал ему такую мысль — забить фанерой на всех крышах слуховые окна. Смысла в этом не было, видимо, никакого, но он сказал:

— Заколотите, ребята, — денег вам дам.

Никто из нас в своей жизни еще не зарабатывал. Конечно, мы согласились.

Мы распиливали желтые, как масло, листы фанеры, вставляли их в проемы окон и выстукивали молотками простенький мотив: «тук-тук-тук...» Это нас развлекало, и время шло быстро. А как хорошо было сидеть па железном гребне крыши в солнечную погоду! Серебрились аэростаты, и уже привыкшие к ним птицы кружились вокруг.

На самом чердаке тоже было интересно: высокими сугробами желтел песок, лежали щипцы, чтобы «хватать зажигалки». Песок был рассыпан по всему чердаку, и мы, когда спускались вниз, разувались и вытряхивали его из ботинок.

Однажды мы решили работать вечером.

— Докончим, ребята, — сказал Димка, — дела-то осталось на два плевка!

Небо уже потемнело, выкатились первые бледные звезды. Внезапно завывли сирены, и почти одновременно частая дробь осколков забарабанила по крыше. Мы знали — это от зенитных. Славка махнул рукой:

— Допилим, тогда и спустимся.

Вдруг крыша словно покачнулась, близкий взрыв оглушил, песок на чердаке взвихрился и стал оседать мелкой пылью. Осколки пробивали крыши и вонзались в балки. Мы метнулись к кирпичной стене, пригнув головы и закрывшись руками. Через минуту все стихло. Мы выпрямились и разошлись по своим местам.

Славка не вставал. При взрыве он добежал до стены, повалился лицом на груды песка. И сейчас лежал, не отзываясь на наши голоса.

— Славка, — хрипло сказал Димка, — хватит дурачиться, дай мне пилу.

Я знал, как его можно поднять, и бросился к нему — он боялся щекотки. Я щекотал ему бока, спину и вдруг почувствовал на его затылке что-то теплое и липкое. Димка оттолкнул меня в сторону, подскочил к Славке и приподнял его. Голова откинулась назад, темные густые капли падали с лица на песок.

— Славка! — кричали мы все разом и не слышали себя.

Первым опомнился Исаак. Он бросился вниз за помощью, а мы продолжали держать Славкину голову, не постигая случившегося. Песок темнел все больше, в развороченной осколками крыше виднелось вечернее синее небо, и звезды заглядывали сквозь отверстие на чердак, словно хотели влить свой свет в потухшие глаза Славки.

Это был мой первый товарищ и ровесник, который погиб во время войны.

Хлеб

Декабрьский ветер леденил город. Чернели от голода сверстники. Мы сидели по домам и встречались друг с другом редко.

В шкафу у моей матери стояла стеклянная банка, и в ней, как крупинки золота, поблескивало пшено. Из него готовили только суп, но оно неумолимо утекало, как песок в песочных часах. Я со всей наивностью мальчика, со всей юной жаждой жизни верил, что человек живет до тех пор, пока есть суп. Это мое глубокое убеждение

возникло, наверное, оттого, что в течение двух месяцев нашей обычной едой был чай, жидкий суп и ломтик хлеба.

Но вот наступил день, когда пшено кончилось. Мать высыпала последнюю горсть в кастрюлю, зернышки стали оседать, а вода мутнеть и подергиваться белой пленкой.

Я видел, как озабочена мама, и мне стало страшно: что-то нас ждет впереди?

Мать послала меня к соседям за какой-то мелочью. Я вошел в комнату, семья сидела за столом и сосредоточенно, не обращая на меня внимания, хлебала суп. Я пригляделся и увидел, что это был крошенный в горячую воду хлеб. И в тот же миг я по-настоящему обрадовался. Значит, из хлеба тоже можно делать суп, и мне было странно, как я об этом не догадался раньше.

Теперь я знал, что у нас будет суп и жизнь будет продолжаться.

Наталья Ивановна... Наточка

Она была такая молоденькая, эта учительница, что жила над нами. Даже не верилось, что она умеет учить и говорить строгим голосом.

Однажды наши пути с ней скрестились. Я поступал сразу во второй класс, и мама попросила ее заняться со мной русским языком. Я занимался несколько месяцев и в приемном диктанте сделал одну ошибку: слово «собака» написал через «а». Учительница сказала:

— Это можно ему простить.

И все мне простили.

Муж у Натальи Ивановны был гораздо старше ее. И никто во дворе не понимал, зачем она себе такого выбрала. У него была продолговатая голова, совсем без волос, и малюсенькие уши. Говорили, что он страшно умный. Портфель у него всегда был набухший, и хотя Димка утверждал, что в нем он носит пончики в промасленной бумаге, портфель внушал уважение. Разговаривал муж Натальи Ивановны мало, помнятся лишь два его любимых выражения: «Это не гигиенично» и «Это не этично».

Когда началась война, его призвали на второй же день. Уходил он спокойно, как каждый день на службу в свое учреждение. Попрощался с соседями, поцеловал жену, а переходя двор, вдруг взял Наталью Ивановну за руку и сказал:

— Милая, ты любишь сырую морковь. Обдавай ее кипятком. Иначе будет не гигиенично.

Вот какой муж был у Натальи Ивановны — хороший или плохой, мы так и не успели разобраться.

...В декабре Наталья Ивановна умирала. От голода. Она лежала на диване, покрытая шубами и одеялами, и мерзла.

Однажды я услышал, что ее вещи растаскивают. Я поднялся к ней как раз в тот момент, когда соседка тетка Анна, рыхлая, с разноцветными глазами, пыталась протащить сквозь двери фикус. С листьев слетала густая пыль, и соседка чихала.

— Оставьте цветок! — крикнул я.

— Без воды ему не жить, а я поливать буду, да и верну хозяйшке, как на ножки встанет.

— Оставьте цветок! — Я схватил ее за руку.

— Звереныш! — прошипела она и выпустила фикус.

В квартире фикус был самый живой и сильный. «Ни за что его нельзя уносить из комнаты», — думал я.

Наталья Ивановна поманила меня:

— Вот адрес... Сходи...

У меня в руке оказался листок с фамилией: «Лейтенант Кожин П. С.».

...Часовой долго вертел мою записку, звонил куда-то по телефону, потом сказал:

— Второй этаж. Восьмая комната.

Лейтенант Кожин был молодой человек с рукой на перевязи. Сказал ему, откуда я. Кожин вскочил из-за стола:

— Наточка... Где она? Слушай, друг, я дежурю, никак мне сейчас не уйти. Вот тебе талон на обед. Получи, отнеси ей!

Он проводил меня до дверей и крикнул вслед:

— Скажи, обязательно вечером буду!

Я нес кастрюлю с теплым супом и думал, что, наверное, впервые в истории лейтенанты посылают своим любимым не розы, а соевый суп, где в мутной воде плавают желтые кристаллики лука. То, что лейтенант любил Наталью Ивановну, можно было догадаться.

Когда я принес суп, Наталья Ивановна глубоко вздохнула, потом вдруг слабо улыбнулась и прошептала:

— Поздно...

Вечером я поднимался домой по лестнице и слышал приглушенный плач. Как я удивился, когда увидел, что, прислонившись к перилам, стоит и плачет знакомый лейтенант Кожин.

— Что же ты раньше ко мне не пришел?

Я не хотел говорить ему, что лишь сегодня Наталья Ивановна дала записку, и опустил голову.

— Ведь она, наверное, меня давно звала? Правда?

— Правда, — сказал я.

Я лгал, но что-то мне подсказывало — именно так и надо говорить.

— Эх ты, парень, парень, — с тоской выговорил лейтенант. — Ведь она меня вспоминала?

И я опять опустил голову. Я никогда не видел, как плачут лейтенанты. Мне было его очень жаль. Потом дворничиха рассказывала, что он был первой любовью Натальи Ивановны, но жизнь у нее оказалась сломанной, и она, на удивление всем, вышла замуж за Павла Николаевича. Я так и не узнал, почему ее жизнь считали «сломанной», но горевал вместе со всеми о ее смерти — Наталья Ивановна была такой доброй. И писать меня научила. И даже простила мою первую ошибку.

Красота

Понятие красоты было словно удалено из нашего сознания как ненужное и непонятное в блокадной жизни. Мы ничем не восторгались, и никто из моих товарищей не восклицал: «Как красиво!»

Может быть, поэтому я хорошо помню тот день, когда впервые услышал эти слова.

В Печатный двор попал снаряд, и здание загорелось. Лопались стекла, корежилась сталь, рушился кирпич. Пожарники сильными струями воды пытались сбить огонь, но он не угасал, а еще хлеще рвался вверх и гудел. К концу обстрела мы пробрались с Димкой к Печатному и смотрели, как тот пылал. Не первый раз видели мы охваченное огнем здание, и потому все казалось привычным. Но вдруг сильный порыв ветра вынес из разбитых окон сотни, а может, и тысячи горящих листков. Они были белые, будто крошечные облака, и края их багровели в огне, как в лучах неистового заката. Они метались, трепетали в воздухе.

— Как красиво! — воскликнул Димка.

И действительно, в этой картине летающего огня была трагическая и зловещая красота.

Приключения коржика

Шел по снежной улице мальчик. Навстречу ему двигалась машина. Может быть, с фронта. На ледяной мостовой колеса буксовали, и шофер ехал медленно. На его пути лежали в снегу трупы, тенями брели живые, а он ничем не мог помочь. Шофер увидел

мальчика и почувствовал вдруг к нему какую-то особую неожиданную жалость. Затормозил, вытащил из-под сиденья коржик, похожий на зубчатое колесо, твердый, как камень, подбежал к мальчику и сунул ему в руку.

Тот от удивления ничего не сказал, потом, когда машина свернула за угол, попробовал коржик на зуб и убедился, что он настоящий. Коржик, наверное, долго лежал под сиденьем рядом с тряпьем, пропитанным бензином, и от него самого исходил запах бензина. Мальчик сунул коржик в карман. Дома он не вынул его из пальто; и мать, проходя по коридору, спросила, отчего в квартире пахнет бензином. Он решил съесть коржик ночью, чтобы никто не видел, и лег спать вместе с ним. Мать и бабушка долго не засыпали, и мальчик ворочался с боку на бок. Когда наконец они уснули, он застыдился есть под одеялом и только обгрыз зазубрины на коржике. И коржик стал похож не на зубчатое колесо, а на обычное. Так мальчик и заснул с ним; и всю ночь ему снились машины; они летели, ослепительно сверкали фарами, и весь воздух был напоен ароматами бензина.

Мальчик проснулся рано, лежал с открытыми глазами и смотрел, как мать собирается на работу. Она одевалась медленно, как будто ее туфли, платье, пальто весили бог знает сколько и ей их тяжело поднимать. И когда мать вышла на кухню, мальчик соскочил с постели и сунул коржик в ее портфель.

Мать работала врачом. Она сделала обход больных и целый день занималась привычными делами. А незадолго до конца работы полезла за тетрадь в портфель и вынула, изумленная, коржик. Она стала пылливо вглядываться в лица сослуживцев и больных, думая: кто же из них? Но лица у всех были такие, как всегда, и мать растерялась, потому что не знала, кого благодарить. Когда она уходила, то улыбнулась всем и всем сказала: «Спасибо».

Мать несла домой коржик и радовалась. И уже ощущала тот миг, когда подарит его сыну. И когда она пришла домой, то снова удивилась, потому что прошла свой путь на целых двадцать минут скорее, чем обычно.

Вечером она грустно обняла мальчика и протянула ему коржик. И мальчик так растерялся, что не хотел его брать. А потом схватил коржик, бросился к буфету и большим хлебным ножом разрубил его на четыре части — две матери и бабушке, одну себе, а другую — Исааку, товарищу, который умирал.

Мать взяла свою долю, взъерошила мальчику волосы и сказала каким-то незнакомым голосом:

— Ну что же... Так и живи...

Смерть Исаака

Исаака я встречал редко. Мы виделись иногда во дворе, когда он носил уголь для печи, а я дрова.

Помню, как, приплясывая, бегал Исаак с полным ведром угля довоенной зимой. Жильцы на него кричали, потому что он поднимал угольную пыль и она оседала на сушившееся белье. Исаак вежливо извинялся — он вообще был среди нас самым вежливым — и уверял, что как только белье высохнет, угольная пыль сама собой стряхнет.

Я не спрашивал, как Исаак себя чувствует теперь. Я смотрел при встречах в ведро. В конце осени он еще продолжал носить ведра, полные до краев, но уже не бегал, а ступал тяжело, слегка сутулясь и перехватывая ношу время от времени другой рукой. Когда выпал первый снег, он стал носить по три четверти и отдыхал на каждой площадке. Потом — не больше половины и отдыхал через каждые пять — семь шагов.

Последний раз я увидел его перед Новым годом. Угля было лишь на доньшке. Исаак так изменился, что, встретить я его на улице, не узнал бы. Единственное, что напоминало прежнего Исаака, — это очки. Но глаза за стеклами потеряли свой блеск, энергию, и

черными они были не потому, что Исаак родился с такими, а от усталости и большого горя. Так казалось мне.

— Помочь? — спросил я.

Он ничего не ответил, только посмотрел грустно. Лестница была насквозь промерзшая и гулкая. Через каждые две ступени мы ставили ведро, и глухой стук взлетал вверх, как будто кто-то тяжело бил в колокол. Дошли до дверей.

— Ну вот и все, — сказал Исаак.

И я испугался его слов: в них был какой-то особый смысл.

Исаак вошел в темный коридор. Дверь осталась открытой, и я видел, как он исчез в его глубине, слышал, как звякает ведро, задевая за стенку.

Через несколько дней Исаак умер. Он лежал на диване, уже запеленатый в белую простыню. Лицо у него сделалось маленьким, с кулачок, и я никак не мог привыкнуть, что Исаак без очков. Навязчивая мысль: почему с Исаака сняли очки? — не выходила у меня из головы.

— Почему не хоронят в очках? — спросил я Димку, и он посмотрел на меня, как на ненормального.

Потом Исаака положили на санки. И то, что лежало на санках, уже трудно было назвать Исааком. Мы с Димой везли санки, объезжая бугорки и ямки. За санями бежали от полозьев две четкие ровные полосы.

Колька и Котья

Жили в противоположном доме, как раз напротив наших окон, Колька и Котья. Два брата. Я с ними особой дружбы не водил, но во время дворовых игр часто дрался на медных шпагах. Концы шпаг мы вымазывали в дегте, чтобы увидеть сразу, кто кого первым задел. Когда побеждал я, Колька и Котья шли домой перемазанные дегтем, и не успевали они в квартиру войти, как раздавался голос их матери:

— Опять дрались с этим из первого номера!

«Из первого номера» — это был я.

...Зимой сорок первого года Кольку и Котью я встречал редко.

Потух в городе свет. Вмерзли в снег трамваи. Шли самые жестокие осадные дни.

Однажды из своего окна я увидел Кольку и Котью. Они шли через двор к воротам и тащили за собой санки. Обычные санки. Пустые.

«Куда это они, ведь не кататься же?!» — подумал я.

Дня через два я снова увидел их с пустыми санками, и еще через несколько дней...

Как-то они попались мне навстречу, когда выходили из ворот.

— Куда? — спросил я.

— Дела, — уклончиво ответили братья.

Я проводил их взглядом. Они шли вдоль тротуара к Тучкову мосту, оба маленькие, со смешно торчащими ушами шапок, в цветных рукавицах. Рукавицы им, наверное, еще до войны мать связала — белые елочки и крестики. Мальчики держались за веревочку, и издали варежки казались красочными и удивительными. Через минуту я забыл о братьях — своих забот столько.

Однако вскоре случайно узнал, куда они ездят.

Мать их работала на Васильевском острове, километров за пять от дома, и каждый день часа два медленно совершала весь этот путь. Она возвращалась с работы постаревшая и сидела на диване, вытянув ноги, чтобы прийти в себя. Колька и Котья разували ее и приносили тазик с горячей водой. А потом они решили ездить на Васильевский — встречать на санках мать.

Мать увидела их первый раз на Большом проспекте, они стояли рядом, озябшие, брови в инее, притопывали, вглядываясь в мутную даль проспекта. Она рассердилась: «Куда вы?! Зачем?!» Но Колька — он был старшим — посмотрел на мать и строго сказал:

— Садись.

Мать растерялась, заплакала, обняла сыновей, но они вывернулись из ее объятий, и младший — Котька — повторил вслед за братом властно:

— Садись, мама.

Мать села, но когда они доехали до дома, почувствовала, что устала гораздо больше, чем если бы шла пешком. Всю дорогу она волновалась, порывалась встать, все время беспокоилась, не тяжело ли ее мальчикам.

На следующий день они снова ждали ее на проспекте. И тогда мать накричала на них, сказала, что они глупят, но Колька взял ее за плечи и усадил на санки. А когда приехали домой, мать удивилась, что впервые после тяжелого рабочего дня не гудят ноги, и снова слезы навернулись у нее на глазах, но она никому их не показала.

Мать говорила сыновьям, что у нее сверхурочная, что она придет поздно и не надо ее встречать. Но сыновья все равно ждали ее в обычном месте, и мать краснела, как девушка, потому что обманывала их, — у нее не было сверхурочной.

Она жалела их и решила ходить другим путем — через мост Строителей. Два раза Колька и Котька вернулись домой одни. На третий раз мать увидела у моста Строителей с санками только Кольку. Она испугалась и еще издали крикнула:

— А где Котик?

— Он ждет с другими санками у Тучкова.

Они возили мать всю зиму. Когда попадали под обстрел, бежали в убежище, а санки стояли в подворотне. Обстрел кончался, и мать ехала дальше. Братья подъезжали к дому, и соседи смотрели на них с уважением, а дворничиха даже стала звать старшего не Колькой, а Николаем.

Они пережили всю осаду и голод, и мне всегда казалось, что иначе и не могло быть, потому что они трое очень любили друг друга.

Русалочка

В ту зиму лопнули все водопроводные трубы. Только у Наташи водопровод продолжал работать. Когда открывали кран, в трубе начинало хрипеть и шуметь, а потом резко выплескивалась вода.

Жила Наташа на первом этаже, через площадку от нас. Ей исполнилось двадцать пять лет, но она была худенькая, с копной русых волос и выглядела гораздо моложе. Была она одинока.

Когда жильцы узнали, что у нее течет вода, стали к ней поутру приходиться с ведрами. Она всем ласково открывала л верь, а когда уходила на работу, оставляла ключ у дворничихи: кому надо, пусть за водой приходит. Если бы не Наташина вода, пришлось бы всем на Неву ездить. А обстрелы такие начались, что никто и не знал, привезешь воду с Левы или ткнешься где-нибудь в сугроб головой. В наш дом попало уже два снаряда. Один разворотил верхние этажи, другой у самой парадной стукнулся. Наташу стали звать во дворе «Наш водяной комендант», а потом кто-то сказал: «Да она русалочка!» Так и называли ее с тех пор: «Русалочка».

Дни походили один на другой. Утром все шли за водой к Русалочке, а потом — обстрелы с небольшими перерывами до самого вечера.

Однажды в нашем дворе произошло событие.

Остановилась возле дома военная машина. Мотор забарахлил. Вышел шофер, сержант, в замаранном полушубке, ушанка набекрень, чуб на глаза падает. Колдовал он над мотором часа полтора, а потом махнул рукой в сердцах.

— Ни черта... — Выпрямил с хрустом спину, оглянулся.

Несколько женщин прижались к воротам. Молчали. Поглядывали: «Что за военный? Уж не весточку ли привез с фронта?» Наташа стояла в распахнутом ватнике, в мягких белых валенках.

— Переночевать бы мне у кого, — сказал шофер. — Дорога незнакомая, застряну в ночь...

Он заметил Наташу и, поставив ногу на ступеньку машины, чуть откинулся назад — чем-то ухарским и веселым дохнуло от него.

Женщины переминались, но не приглашали. Позовешь, а уедет — разговоров не оберешься. Мужья-то воюют.

Наташа сказала неожиданно и просто:

— Пойдемте ко мне.

И вдруг так покраснела, что всем показалось — сейчас и от слов своих откажется, и убежит куда глаза глядят.

Но она выдержала взгляды соседок, не шелохнулась.

— Спасибо. — Сержант нырнул в кабину, рванул из-под сиденья вещмешок, прыгнул, щелкнул каблучками. — Готов следовать в любом направлении!

...Наутро вышли хозяйки с ведрами, подошли к Наташиной двери, увидели за углом дома машину, остановились. Сказали дворничихе Пелагее:

— Стукни нам, когда машина уедет... Для чаю воды-то пока хватит.

Сказали это добро, без шуточек и пересмешек.

Через час начался обстрел.

Через два сержант уехал.

А Наташа долго еще — несколько месяцев, — когда приходила с работы, прежде всего открывала почтовый ящик и стучала по нему кулачком — может быть, застрял конвертик в ящичке.

Через много лет я спросил себя: «Что такое человечность?» И вспомнил то военное утро. Стоит машина. Женщины с пустыми ведрами идут от Наташиной двери, идут строгие, целомудренные, все на свете понимающие.

Бабка Иголкина

Мальчишки ее звали «бабка Иголкина». А жильцы нашего дома, те, что постарше, — Олимпиада Ивановна. Она жила тихо и замкнуто в маленькой комнате на пятом этаже. Ни с кем не водила знакомства в доме и даже при встрече первой не здоровалась.

Но и у нее была своя радость и утешение. Собака. Огромная, огненно-рыжая, пушистая, морда лисья. Когда они вдвоем прогуливались, незнакомые люди останавливались. Еще бы! Бабка Иголкина была суха, в черной древней пелерине, в шляпе твердой, черной, блестящей, словно черепичной, с зонтом в левой руке. А правой держала на поводке собаку. Собака ступала горделиво, играя всем телом, поминутно встряхивалась. Мордой своей собачьей она вертела с чисто женским лукавством, словно говорила людям: «Я вот хоть и собака, а все равно от меня глаз не отвести». В пасмурные дни как будто и на улице светлей становилось — бродит этакое рыжее чудо.

И вот эту самую собаку в метельную блокадную зиму, когда вся живность в городе была съедена, отняли у бабки Иголкиной. Да как отняли! Подошли к ней двое, поводок из рук вырвали, намордник собаке надели и уволокли в пургу. Иди, кричи, плачь. Кто услышит?

Бабка Иголкина сразу сгорбилась, выходила из дому только хлеб купить по карточке. Наверное, правду говорила дворничиха Пелагея, что у бабки, как собаку украли, «все внутри оборвалось». А потом еще и такое стала рассказывать. Пришла она к бабке Иголкиной, звонила, звонила, та долго не отзывалась, потом на цепочку дверь приотворила, спрашивает:

— Чего тебе?

— Счет за квартплату принесла.

— А я смерть жду, так что мне не надо за квартиру платить...

С тем дворничиха и ушла.

На Димку это произвело впечатление. И на меня тоже. Мы с ним всякое уже видели, шагали через мертвых спокойно, но бабкины слова будоражили наши головы и пугали нас. Ведь должно же быть человеку от чего-нибудь страшно...

Однажды днем ко мне постучал Димка. Он вошел с ворохом тряпья, положил его на пол в кухне и стал разворачивать. Из байковой тряпки вывалилась собачонка, маленькая, только что глаза от рождения распахнувшая...

— У военных выпросил... Бабке отдам...

Через несколько дней Пелагея разносила по дому новую весть:

— Бабка-то, бабка пришла в жакт за квартиру платить. А в руках у нее вроде как ребеночек. Заглянула я, а там собачонка, плюгавенькая... И, прости ты господи, в такое-то время такие увлечения...

Мы с Димкой слушали, и нам было приятно, особенно Димке. Ведь это он смерть от бабки Иголкиной прогнал. Самую настоящую смерть.

А дворничиха Пелагея неправа была — разве можно за человека говорить, что ему нужнее...

Паша Панаев

Я не помню, когда Паше Панаеву отрезало ногу трамваем, — это случилось в самом начале тридцатых годов. Паша тогда еще школьником был. Ему сделали хороший протез, и ходил он чуть прихрамывая. Незнакомый человек мог подумать, что нога просто ушиблена.

Паша окончил школу и поступил в архитектурный институт. Он появлялся во дворе с трубочками чертежей, и его прозвали: «Ходячая фабрика». Правда, он об этом не знал, потому что был старше нас, с нами не общался. Наши родители его уважали. Когда кто-нибудь из нас приносил двойку, они говорили: «У, бестолочь!.. Брал бы пример с Паши...»

Однажды, когда меня ругали, я выпалил:

— Все Паша да Паша, ему хорошо учиться, у него нога деревянная!..

На меня накричали, сказали, что, дескать, я сам деревянный.

Паша кончил институт и поступил на работу в проектную организацию. Счастлив он был беспредельно.

— Какие дома я буду строить! — восторженно говорил он соседке тете Поле, а та оглядывала свою подвальную каморку и вздыхала:

— Давай уж, милый, давай...

Началась война. Пашу, как инвалида, на фронт не взяли. Его сослуживцы ушли в армию, и проектную организацию закрыли. Паша стал работать при домоуправлении в МПВО.

С каждым днем все жестче и чаще обстреливали город. Калечились дома, разрушались. Паша после каждого обстрела шел в разбитый дом. Неторопливо обходил его весь, рискуя каждый миг провалиться или быть засыпанным. Лицо его словно болью было искажено, и он своей палочкой обстукивал потрескавшиеся стены, будто больного выслушивал. Он говорил специальные слова, которые мало кто понимал, вроде: «несущие конструкции», но всем казалось — это Паша, как врач, ставит диагноз раненому дому.

А в конце мая убило Пашу в обстрел. Всем его было жалко, и много народу пришло, когда его выносили из квартиры. Паша жил один, отец его был на фронте. Уходя из Пашиной квартиры, я увидел на столе альбом, распахнул его, там было написано: «Панаев П. А. Мысли и наброски». Я перелистал две-три страницы, везде были нарисованы дома, и решил взять альбом с собой на память о Паше.

Дома вечером я стал внимательно его разглядывать. Листы заполняли здания самого причудливого вида.

Одно из них устремлялось в небо, как спираль, и на вершине его стояло нечто похожее на воронку. «Солнцеуловитель», — написано под рисунком. — Он должен поглощать солнечное тепло, рассеянное в пространстве, по трубкам это тепло поступит в каждую квартиру... Как это здорово будет! Солнечное тепло в каждой комнате!..»

На другой странице был чертеж дома, а справа от него — густая роща. Паша писал: «...возле будущих домов обязательно должен быть маленький лес. И чтобы в этих лесах было много певчих птиц. Ведь если птицы будут петь, люди, наверное, не смогут относиться друг к другу плохо...»

В середине альбома изображен дом в разрезе, с трубами, уходящими глубоко в землю. Паша пояснял: «...наверное, почти везде на той или иной глубине есть родниковая вода. И именно этой водой надо снабжать людей. Замечательно, если, уходя на работу, можно будет выпить стакан ключевой воды!..»

Я листал альбом, и перед моими глазами возникали проекты один другого необычной и увлекательней. Это было буйство фантазии и предвосхищения.

И вдруг я почувствовал ненависть, самую страшную ненависть к войне. Она казалась мне живым существом, и мне хотелось топтать ее ногами, жечь, а пепел развеять по ветру. Какого человека убила она, война!

Так я думал в те минуты.

Так я думаю и теперь, много лет спустя.

А в Пашином альбоме мне больше всего понравился дом, рядом с которым был лесок с певчими птицами. Я тогда мечтал о попугае. И мама мне обещала его купить, когда кончится война и если, конечно, у меня не будет троек.

Знакомство с актером

За водой в декабре приходилось ходить на Неву. От нашего дома это три трамвайные остановки. У проруби обыкновенно стояла очередь, как в магазине. Я спрашивал: «Кто последний?» — и тоже вставал в очередь.

От воды шел пар, как будто кто-то сидел подо льдом и курил. Когда я отправлялся за водой, то всю дорогу думал: вдруг зачерпну сегодня ведром воды и мне попадет большая рыба. Склонившись над прорубью, я даже приговаривал про себя: «Ловись рыбка большая и маленькая...» Но рыба не прыгала в ведро, только хрустящие льдинки бились о железные стенки. Я вез санки с ведрами и уже думал о другом. Что, если на днях совершу подвиг? Меня тогда вызовут и спросят: «Какой тебе орден дать?» — «Мне ордена пока не надо, — отвечу я. — Дайте мне мешок пшеницы».

И когда мне дадут пшеницу, мы станем дома в завтрак, обед и ужин есть пшеничную кашу. И Димку, конечно, буду звать на кашу.

Вот так я думал, когда ездил за водой.

А однажды мы шли с мамой по улице, и нам встретился ее знакомый актер. Он был в меховой шубе, с заграничным аккордеоном через плечо, круглолицый, как из довоенного времени. Он всплескивал руками, что то говорил, говорил, а потом предложил:

— У меня лишний талон есть, я могу вашего сына в столовую пригласить.

Мы шли с ним по Петроградской почти как равные. И беседовали как мужчины. Только я его на «вы» называл, а он меня на «ты». Вот и вся разница.

В столовой нам дали по большой тарелке каши, правда не пшенной, а ячневой. Она тоже была замечательно вкусной. Актер поглядывал на меня и говорил:

— Ешь, парень, ешь...

Расставаясь, он сказал:

— Ты заходи ко мне, мы с тобой будем иногда ходить в столовую.

Около дома я встретил Димку.

— Я с актером обедал... С заслуженным...

— Врешь, — не поверил Димка.

Я распахнул пальто и хлопнул себя по животу:

— Пощупай...

Димка шупать не стал. Он только спросил:

— А где он играет?

Я растерялся, потому что не спросил об этом актера, но на попятную было идти поздно, и я важно заметил:

— А он везде играет.

Это поколебало Димкино недоверие.

— Заслуженного ему за что дали?

Что я мог ответить дотошному Димке? Отказаться от своих слов и сказать, что он еще не заслуженный, но скоро должен им стать? Тогда ты навсегда потерял доверие товарища. Я вспомнил, как актер подкладывал мне кашу, приговаривая: «Ешь, парень, ешь», — и я доверительно сообщил:

— Он очень, очень добрый, поэтому ему и дали заслуженного.

Жизнь попугая

Умер профессор с третьего этажа, и в тот же день к нему в квартиру заявила соседка его, пройдоха и спекулянтка Марья. Кидала в свой мешок что подороже, а уходя, сгоряча сорвала со стены клетку с попугаем и тоже утащила к себе.

Клетку повесила над диваном, попугай отогрелся и вечером, когда Марья пила чай, сказал:

— Ду-pp-ак!

Марья даже икнула от неожиданности. «Еще не хватало», — подумала она и решила, что зря на птицу польстилась.

— Его и зажарить боязно, — жаловалась она подружке. — А вдруг он, как поганка, несъедобный. И выражается...

— Что ты, дорогуша! Его из Африки привезли, а он уж по-русски чешет. Цены ему не будет в порядочное-то время. Клад, дорогуша...

И Марья смекнула, что гостья говорит правду. «Вот ведь все области обеги, такого не словишь». Она улыбнулась попугаю и сказала:

— Ну живи...

Марья была молодая, рыхлая и приземистая. Ни мужа, ни жениха у нее не было. Ходил к ней Арсентий, чахлый парень, но с лица красивый. Он поднимался по лестнице нехотя, плевался сквозь зубы, но шел, потому что хотел есть, а Марья кормила его вермишелью с салом.

Арсентий сидел за столом без пиджака, макая сало в горчицу, когда попугай рявкнул:

— Ду-pp-ак!

Сало так и застряло в зубах Арсентия, он криво усмехнулся:

— Ну и птицу завела.

Потом встал, вытер ладонью рот, положил Марье руки на плечи. Марья вся подалась вперед, но в этот миг раздалось:

— Ду-pp-ак! — И руки Арсентия соскользнули с Марьиных плеч.

— Не могу! Не могу на рожу его смотреть! Нервный я. Ты б его хоть занавесочкой отгородила.

Марья набросила на клетку платок, села рядом с Арсентием на диван, и Арсентий обнял ее за шею так, как будто любил.

Но с попугаем словно что-то случилось. Может быть, обиделся, что его накрыли платком. Не переставая, на все лады он кричал:

— Ду-ppp-ак! Ду-ppp-ак! Ду-ppp-ак!..

Арсентия бросало в жар и дрожь. То попугаев голос звучал начальственно, и хотелось вытянуть руки по швам; то ехидно, с издевочкой, словно на что-то намекал, а то вдруг мягко, с такой человеческой грустью, что плакать хотелось.

— Убери враз отседова птицу! — закричал он. — Или я сам уйду!

Он вскочил и надел пиджак.

— И что ты псих такой... Больно важен стал... Цены птице нет... — начала Марья.

— Пропаду лучше, а к тебе харчеваться не явлюся, — толкнув дверь, бросил с порога Арсентий.

Марья поплакала, но потом рассудила, что с ее недостатками и похлеще Арсентия можно отыскать парня. Она сняла с клетки платок, повесила ее поближе к печурке, чтобы попугаю было теплее, и стала думать, как выглядит Африка. Но, кроме жары и попугаев, она ничего не могла вообразить.

Наконец пришли дни, когда афиши объявили, что скоро будет открыт зоосад. Марья завернула клетку в шерстяной платок и отправилась в зоосад. Она пришла к администратору и поставила на стол клетку.

— Вот, — сказала она радостно, — попугай.

Администратор скользнул взглядом по птице, пожал плечами:

— Пятьдесят рублей. Да только стар ваш. Не подходит.

Марья всей грудью подалась на стол, побледнела, выдохнула:

— Как пятьдесят? Да я из-за него жизнь свою, может, обломала.

— Не надо представлений, гражданочка, — сказал администратор, — у нас тут зверинец, а не цирк.

Марья несла попугая домой и всей душой ненавидела его. Ей хотелось бросить птицу с моста в Неву, швырнуть под трамвай, просто свернуть голову, но кругом были люди.

Дома она поостыла и решила на худой конец за полсотни сбывать его кому-нибудь.

Но на другой день ее арестовали за спекуляцию. Она была ошеломлена, и навязчивая мысль все время стучала у нее в мозгу: «Это попугай донес, это попугай...» Она потянулась и хотела выкинуть клетку с попугаем во двор, но милиционер отстранил ее руку и подтолкнул Марью к дверям.

Когда стали описывать Марьино имущество, Димка пробрался в комнату и попросил попугая. И решили отдать его Димке, потому что ухаживать за птицей было некому.

После уроков я приходил к Димке, и мы пересказывали попугаю все, чему нас в школе учили. Но попугай молчал...

Девушка в белом полушубке

Этот лысый майор появился у нас совершенно неожиданно.

— Разрешите на ночку постоя... Ваш брат адрес дал, — обратился он к маме.

За спиной его стояла высокая девушка в военной форме.

Через полчаса майор совсем освоился. Он снял китель, остался в вязаном свитере, положил на стол буханку хлеба, сало, вышиб пробку из бутылки...

Девушка оказалась медсестрой. У нее были пышные волосы и строгие брови, но глаза бедовые. Она сразу мне понравилась: и тем, что быстрым кивком головы отбрасывала волосы, и тем, как обрывала говоруна майора. А еще тем, что ко мне она обратилась на «вы». Никто мне раньше так не говорил. И от этого «вы» у меня по спине пробежал холодок, будто кто-то засунул снежок под рубашку. Мне было пятнадцать. Сколько ей, я не знал, но она была взрослой, удивительной, ни на кого не похожей. Когда мы с ней встречались в коридоре, я прижимался к шкафу, а она проходила, ничуть не сторонясь, и заглядывала мне в глаза так, что я словно слепнул и потом несколько секунд жмурился...

Майору постелили на диване. Я слышал, лежа в соседней комнате, как скрипнули под ним пружины, потом раздался его приглушенный голос:

— Поздно, Катя... Ложись...

— Оставь меня, — она сказала это скучным голосом и равнодушно.

Долго еще потом на все лады уговаривал ее майор.

— Оставь, — тем же тоном повторяла она и устроилась спать в кресле.

Утром все встали очень рано. Майор был мрачен, не шутил, шумно плескался, умываясь. Я пошел на кухню, распахнул дверь и увидел Катю. Румяная от морозной воды, с распущенными волосами, она была еще прекрасней, чем накануне. Лямочка рубашки спустилась, и белое ее плечо ожгло глаза. Я не знал, что делать — бежать или стоять, плакать или улыбаться. Казалось, само сердце мое горячей волной поднимается к горлу и сейчас покинет меня.

— Доброе утро, симпатяга! — поздоровалась Катя.

Через десять минут она и майор собрались. Катя была в новенькой шинели, в одной руке она держала мешок, а через другую перекинула полушубок, белый, дубленой кожи, с меховой оторочкой.

И вдруг сказала:

— А знаете что, можно мне у вас оставить полушубок? Не нужен теперь уж он. Канительно. Как-нибудь к вам нагрюну за ним...

Так и ушла без полушубка. Я был в смятении. Мне казалось, что она его специально оставила, чтобы еще раз к нам прийти, чтобы... Тысячи мыслей, одна другой смелее, проносились в моей голове.

Кончилась война.

Время шло.

Каждый год мама перетряхивала полушубок, пересыпала нафталином, прятала в сундук.

А Катя все не ехала.

А Катя так и не приехала.

Черемуха

Лес находился в зоне фронтовой полосы, и в течение нескольких лет мы в нем не были.

Как-то Димка сказал:

— Пойдем в лес!

Была весна, пахло свежей невской водой, первыми клейкими листочками. Мы сбежали с уроков, сели на трамвай и поехали до Ржевки. Дальше пробирались с предосторожностями, прятались в кустарниках, крались тихими овражками, обходя посты, искали проходы среди колючей проволоки.

В лес мы вошли, как в настоящую сказку: желтые слезинки смолы ползли по сосне, синие стрекозы вонзались в воздух; но среди всего великолепия ослепляла белизна черемухи. Ее тяжелые от цветов ветви сплетались и нависали над зеленью травы пушистыми облаками.

Мы были дети войны, нас тянули к себе эти огромные прохладные деревья. Мы наломали пахучих веток и, возвращаясь домой, несли по улицам города. Прохожие смотрели на нас с удивлением и, как нам казалось, немножко завистливо.

И какая-то еще непонятная нам радость, оттого что сегодня весь день оглушительно щебетали птицы и пряно пахли цветы, оживляла и волновала нас.

Бабушка и участковый Сидоркин

Наш участковый Дмитрий Сидоркин был человек решительный. Это чувствовалось даже по его походке. Когда он делал обход квартала, его сапоги выбивали на каменных плитах маршевую музыку: «Я иду... Я иду... Я иду...» Он был коренастый, стремительный. Казалось, что Сидоркин хочет обогнать самого себя.

С начала войны работы у него прибавилось: и за светомаскировкой следил, и за тем, чтобы все укрывались в бомбоубежище, и за домоуправами приглядывал, чтобы у них был полный порядок... Кроме того, время от времени он проверял паспортный режим.

С осени у нас поселилась бабушка. Когда дядю Степу призвали в армию, она осталась одна и переехала к нам. Ей было за семьдесят. Седые волосы бабушки поредели, но торчащий на лбу хохолок чем-то неумовимо делал ее похожей на Суворова.

Однажды в первом часу ночи раздался резкий стук в дверь. Мама накинула халат и пошла открывать. На пороге стоял участковый Сидоркин. Он хорошо знал маму, она как-то даже ходила к нему — у его тещи случился сердечный приступ. Мама оказала ей первую помощь (она была врачом), и Сидоркин потом проводил ее до самого нашего дома и, прощаясь, отдал честь.

Но сейчас он стоял на пороге в шинели, застегнутой на все пуговицы, олицетворяя собой полную неприступность и отрешенность от частных отношений.

— Проверка паспортного режима, — глухо произнес он.

Мама пропустила Сидоркина в квартиру и поспешила заверить его:

— У нас все свои...

Сидоркин шагнул в комнату.

Бабушка проснулась, приподнялась на локте и смотрела на участкового.

— Откуда гражданка? — сурово спросил Сидоркин.

— Это наша бабушка, — пролепетала мама.

— Чья «наша»? — уточнил Сидоркин.

— Его, — мама указала на меня.

— Так, значит, не «наша», а «его». А во-вторых, гражданка в списке жильцов не значится... Собирайтесь... Там разберемся...

— Я не военнообязанная, — встала бабушка, приглаживая суворовский хохолок.

— Это мне неясно, — возразил Сидоркин.

— Да разве в моем возрасте могут в армию зачислить?

— Кто как выглядит, — уклонился от прямого ответа Сидоркин. — Ночуете здесь, а прописаны на Васильевском. По законам военного времени — ЧП.

— Оставьте ее, Дмитрий Иванович, — попросила мама. — Она старая.

— Я — «старая»? — возмутилась бабушка. — А кто четвертого дня «зажигалку» погасил?

— Вот видите, — с удовлетворением произнес Сидоркин, — вполне дееспособная. Вам надо справку заиметь, что гражданка действительно ваша мать, на вашем иждивении... А как докажешь, что она ваша мать?

— А глаза! Да у нас глаза совсем одинаковые! — удивилась бабушка непониманию Сидоркина.

— Глаза — не доказательство. У меня тоже такие глаза. Может, я ваш сын! — отпарировал участковый. Глаза у него и впрямь были такого же цвета, как у бабушки.

— Вы что, меня за шпиона принимаете! — вконец рассердилась бабушка. — Я в тысяча девятьсот пятом году листовки в театре с галерки разбрасывала, а на руках у меня она вот была, — Бабушка протянула руку к маме.

Сидоркин задумался. Революционное прошлое бабушки произвело на него впечатление.

— Муж мой задал японцам перца... — наступала бабушка.

— С японцами на сегодняшний день у нас нейтралитет, — уточнил Сидоркин.

— Так это было давно... Потом муж участвовал в стачке бакинских нефтяников... А еще мой муж на Балтике комиссарил...

Сидоркин думал. Взгляд его перешел на фотографию, висящую на стене: щуплый красноармеец с огромным бантом на шинели смотрел весело и браво. Это был дядя Гриша, бабушкин сын, но Сидоркин не спрашивал, кто красноармеец, и взгляд у него подобрел.

— Ну, хорошо, — медленно произнес он, борясь с чувством долга, — пишите сейчас объяснительную записку, а завтра, как положено...

Мама написала: «Заявляю, что ночующая у меня гражданка — моя родная мать...»

— Можете оставаться до утра, — разрешил бабушке Сидоркин.

— Спасибо, братишка! — по-молодому воскликнула бабушка, совсем как ее покойный муж, балтийский комиссар.

И Сидоркин посмотрел на бабушку с уважением, смекнув, что бабушка и впрямь когда-то была причастна к жизни революционной России.

Отец

Когда началась война, отец пошел в ополчение. Его танковая часть стояла на Каменном острове и никуда не двигалась, потому что в ее распоряжении находился лишь один танк.

Мы с мамой ходили к отцу, и он встречал нас всегда подтянутый, гимнастерка ладно сидела на нем — чувствовалась «военная косточка».

— Ну, как ты здесь? — заботливо спрашивала мама.

— Ждем, — весело говорил он, указывая на единственный танк, застывший посреди двора, — ждем его собратьев.

«Собратья» так и не появились. А вскоре ополченскую танковую часть расформировали и отца возвратили на завод, как специалиста: он работал главным инженером.

Наступили холода; у нас кончились дрова. Мы собирали щепу возле разбитого деревянного дома, а когда ударили морозы, принялись и за дом. Медленно с отцом отпиливали бревно, тащили его на себе в квартиру. На улице стыли руки и лицо — пилить было невозможно. В комнате отодвигали в сторону стол, расстилали на паркетном полу газеты, водружали на них раскоряченные козлы. Распиленные чурки кололи во дворе, мелкими охалками носили полешки и складывали в нише коридора. Жестяная печь прожорливо поглощала дрова, для нее не имело значения, какой ценой они нам достались.

Почти вся наша жизнь теперь протекала в коридоре. При первой бомбежке бомба упала за несколько кварталов от нас, а воздушная волна вдребезги разбила оконное стекло и осколки швырнула в глубь комнаты. Чудом нас не поранило.

Тогда и решили расстелить матрасы в коридоре и спать там на полу. А потом оказалось, что в коридоре теплее, не дует из окон.

Кто-то сказал, что самое надежное место во время бомбежки — около печки в коридоре. Дескать, дом рушится, а печи стоят. И меня во время тревоги ставили возле печки.

У отца были золотые руки. Он все умел делать. Когда лопнули трубы и нужно было ездить за водой на Неву, он смастерил сани — прочные, широкие, с блестящими стальными полозьями. Пока хватало сил, мы привозили с Невы трехведерный бак и еще ведро. Сани пользовались большим спросом во дворе. За водой мы ездили поутру, а после полудня приходила дворничиха:

— Разрешите сани... Покойничек в тринадцатой... Внушительный мужчина, на детских не уместается...

— Куда вы их возите? — спросил я дворничиху.

— На Барочную, в морг.

Однажды я проводил сани, потому что на них лежал мой знакомый. Барочная была в двух трамвайных остановках от нашего дома.

Я увидел огороженный деревянным забором пустырь. На пустыре штабеля мертвецов.

Внизу штабеля были аккуратными, а чем выше, тем в большем беспорядке лежали покойники — трудно на вершине укладывать. Запомнился старик, который венчал один из штабелей: высохшее белое лицо, орлиный нос, смерзшиеся длинные седые волосы, торчащие в разные стороны, недовольно сдвинутые брови...

Отец держался. Только стал молчалив, мерз и даже в комнате не снимал своего ватника. Он был крупным, и ему не хватало еды.

Отец сделал весы, и когда приносили что-нибудь купленное по карточкам, он взвешивал. Однажды меня послали в булочную за хлебом. Мне отрезали полбуханки и к ней дали маленький довесок, с половину спичечного коробка. Я нажал на него пальцем, довесок оказался мягким. Я отнял палец, осталась вмятина. Я не утерпел, сунул довесок за щеку и, пока шел домой, сосал его, как леденец.

Дома отец вынул из ящика весы, положил на одну чашечку хлеб, другую стал уравнивать гирьками. Несколько граммов доставало. Сосредоточенный, отец перевесил. Стрелка остановилась на той же отметке.

— Тебя обманули, — сурово сказал он.

— Нет, — прошептал я, опустив голову.

— Значит, ты сам взял! — воскликнул отец.

— Был маленький довесок...

— Негодяй! — Я взглянул ему в лицо, оно пылало гневом. — Мог спросить, тебе бы дали! Почему взял сам?

Я молчал. Я ничего не мог ему ответить.

Я молчал, пока мать не обняла меня за плечи и не увела с собой на кухню. Она тоже молчала, но ее скорбное лицо являло такую жалость ко мне, что я уткнулся ей в грудь и заплакал.

Чего только не умудрялись мы есть! Картофельные очистки и оладьи из картофельной муки казались банкетными яствами.

Как-то отец принес столярный клей. Он разогревал его до тех пор, пока клей не превратился в полужидкую массу. От нее валил пар, щекотал ноздри. Отец перелил дымящийся клей в жестяную кружку, взял ложку и, обжигаясь, стал хлебать варево. Я смотрел, как он ест.

— Дай попробовать.

Он быстро взглянул на меня, бросил скороговоркой:

— Не станешь есть! Не станешь есть! — и, зажав обеими руками кружку с клеем, ушел из комнаты.

— Мама, отец мне родной? — неожиданно спросил я.

Она вздрогнула от моего вопроса.

— Что ты говоришь? Конечно!

Отца положили в больницу. Он был истощен, едва двигался.

— Он может умереть, — сказала мать. — У него крайняя степень дистрофии.

— А что, если попробовать сварить кожаные сапоги? Ведь варят кожу...

— Ерунда, — возразила мама. — Самообман.

Отец пролежал полтора месяца. К весне он возвратился домой — пришел в своем ватнике, с пустой противогазной сумкой через плечо. Со следующего дня он стал ходить на завод, а по вечерам помогал восстанавливать водопроводную сеть, за что его подкармливали...

Весной, в мае, я вывел из дома велосипед и собрался поехать на острова, посмотреть, не вырос ли уже щавель. На улице увидел отца. Он стоял, закинув голову, словно рассматривал небо. Распахнул ватник и с видимым удовольствием вдыхал свежий утренний воздух.

— Тяжелая была зима, — оказал он.

Я молчал.

— Ты не сердись, — примирительно произнес отец. — Что-то у нас с тобой разладилось.

Я пожал плечами и сдвинул с места велосипед.

Два воспоминания о дяде Степе

Дядя Степа был маминым братом и тоже врачом. Но врачом-неудачником, вечно ищущим чего-то необычного. Поэтому он нигде не задерживался и оставлял по себе недолгую память. Перед войной он работал в «Скорой помощи», и я запомнил его в застиранном, наглухо застегнутом тесном халате. Когда дядя Степа его снимал, представал взору в кургузом пиджаке с засаленным воротником, обсыпанным перхотью.

В июне его мобилизовали. Дали звание майора и командирскую форму. Дядя Степа преобразился: стал словно выше ростом, ходил, скрипя ремнями портупей, и всем видом показывал, что он настоящий военный.

Когда началась первая бомбежка на Петроградской, дядя Степа был у нас. Все произошло неожиданно: завывли сирены, и вдруг кто-то будто начал молотить поленом по железу. Весело молотить и часто.

Мы вышли из комнаты в коридор. Дядя Степа был бледен и обеими руками вцепился в ремни своей портупей.

— Что это? — спрашивали мы его.

— Бомбы. Вокруг нас сыплются бомбы, двухсотпятидесятикилограммовые. Все вокруг, наверное, уже разбито... Петроградская в развалинах.

Мы остолбенели от его слов. Я так живо представил себе руины, среди которых лишь наш дом № 17 высится утесом. И почему-то подумал о магазине зеркал. Он был угловым. В витринах его выставляли зеркала различных фасонов, и взрослые, когда мы играли на улице в лапту, предупреждали строго:

— Разобьете — родителям за всю жизнь не расплатиться...

«Неужели и зеркала тоже разбили? А кто за них будет платить?» — такие глупые вопросы возникали в моей голове. Наконец все стихло. Радио объявило «отбой воздушной тревоги», и мы, бледные и потрясенные, выскочили из дома. Впереди шел дядя Степа. Прежде всего мне бросились в глаза витрины зеркального магазина: они сияли, отражая синее небо. Целы были окрестные дома, деревья, даже плакат, наклеенный на заборе, где изображался Гитлер и претендент на русский престол. Дворник возбужденно тараторил:

— Ну и молодцы наши зенитчики... Лихо их чихвостили... Ну и молодцы!..

Мы взглянули на дядю Степу. Он сказал без выражения:

— Разрывы зенитных снарядов напоминают разрывы мелкокалиберных бомб. И специалисты ошибаются.

Он сразу засуетился, заспешил, попрощался со всеми за руку и стал похож на довоенного дядю Степу.

Мне шел шестнадцатый год. Мы учились в седьмом классе и слыли отчаянными ребятами.

— Слушай, — сказал мне однажды Витька Ниеды, — пошли на Большой с девчонками знакомиться.

— А как это? — удивился я.

— А увидим какую симпатичную и подойдем к ней — тары-бары...

— Не знаю... — протянул я.

У меня ничего подобного еще не было. Но все же я пошел с Витькой.

...И вот возле Лахтинской из булочной, прижимая к груди полбуханки, выпорхнула на вечернюю улицу девушка в синем берете. Тоненькая, она не шла, а скользила в толпе, и Витька шепнул:

— Давай...

Мы подошли к ней с двух сторон.

— Здрасти, — начал Витька.

Но она посмотрела не на него, а на меня, и, наклонив голову, спросила с вызовом:

— Что, хлеб отнять хочешь?

Я обалдел и воскликнул с предельной искренностью:

— Да нет! Просто познакомиться!

Она смягчилась:

— Ну так чего! Бери меня под руку...

Я сунул, обомлев, свою руку куда-то ей под мышку. Потом вспомнил о товарище и спросил:

— А ему можно?

Но насупленный Витька буркнул:

— Я и так...

Она шла со мной рядом, гибкая, юная, с охапкой светлых волос, выбивающихся из-под берета. Мы о чем-то говорили, но я не вникал в смысл слов, а лишь слушал журчание ее речи. Наконец до меня докатились слова.

— Ну, пошли ко мне...

— Куда? — недоуменно спросил я.

— Я с девчатами в общежитии живу.

— Хорошо, — сдавленным голосом сказал я, и мы с Витькой вошли вслед за ней в переднюю.

— Подожди, — улыбнулась она мне. — Я сейчас проверю, что там, — и, изогнувшись всей своей молодой статью, исчезла за дверью.

— Бежим! — прошептал Витька, дергая меня за рукав.

— Куда?

— Да отсюда... Тут все может быть...

И я малодушно выбежал вместе с ним.

В тот вечер я пришел домой, ошарашенный неожиданным приключением. Мои чувства, мысли будто сдвинулись во мне и не могли успокоиться.

У нас в гостях был дядя Степа. Он всегда был мне товарищем, и потому, когда мы остались вдвоем на кухне, я рассказал ему о происшедшем.

— Началось, — сказал дядя Степа.

— Что началось? — не понял я.

— Жизнь началась... Меня тоже в пятнадцать лет впервые девушка пригласила...

— Да ну! — удивился я.

Больше всего меня поразило то, что когда-то все это пережил и дядя Степа.

Учитель математики

Труднее всего в пятом классе мне давалась арифметика. Я мучился с задачками. Отец мой, инженер, быстро расправлялся с ними с помощью иксов и зетов, а я алгебры еще не проходил и должен был решать их арифметическим способом.

Когда утром с нерешенной задачей я шел в школу, у меня сосало под ложечкой. Учитель математики, Владимир Александрович, обладал свойством угадывать, у кого не сделано домашнее задание. Он несколько минут после звонка молча разглядывал класс, прохаживаясь между рядами, — седой, подтянутый, в черном неизменном костюме и неизменном галстуке бабочкой. Наконец, довольно потирая руки, говорил:

— Ну-с, молодой человек, посмотрим, сколь сильна с вас математическая жилка... Будьте любезны, к доске.

От его вежливости леденело в груди.

— Опять не сделали, — сокрушенно качал он головой, и его лицо выражало мировую скорбь.

Я его очень жалел в такие минуты. Разумеется, жалость испытывал, когда дело не касалось меня. Если сам стоял у доски, то мной овладевало чувство настоящей ненависти к нему. «Мучитель, — думал я, — ну, ставь двойку и отпускай...» Но Владимир Александрович продолжал качать головой и спрашивал:

— Как жить дальше будем?

Однажды я набрался смелости и сказал:

— Жить будем по-прежнему.

Он строго посмотрел на меня:

— Вы не глупый молодой человек, а изволите высказывать глупости. Вот так.

Садитесь.

Но двойку мне в тот день не поставил.

В сорок первом году школу закрыли.

Владимир Александрович жил через дом от нас, и я его время от времени встречал. Он ходил все так же подтянуто и так же, как будто мы были в классе, спрашивал, увидев меня:

— Ну-с, молодой человек, как самочувствие?

Что я мог сказать — ведь он сам понимал, какое может быть самочувствие.

— Голод — не тетка, — отвечал я ему и грустно улыбался.

Он ежился, и я замечал, что Владимир Александрович очень постарел: морщины прорезали желтые щеки, глаза выцвели. Он странно улыбался:

— А помнишь, ты мне на уроке сказал: «Жить будем по-прежнему»? Вот и держись.

Однажды дворничиха пожаловалась маме:

— Если б не рабочая карточка, ушла б отсюда. Каждый день покойников вывожу.

Сегодня еще поздоровкаюсь, а уж точно знаю, что назавтра везти на саночках. Учителя из двадцать третьего сейчас встретила, поглядела, а сама, грешная, думаю: тебя, щупленького, мне не тяжело будет выволакивать.

— Это какого же учителя? — спросила мама.

— Да сынка вашего учителя. Одинокий он. Еле хлеб отоварить смог вчера.

— Твой Владимир Александрович умирает, — сказала мне вечером мама.

— Да?

А что я еще мог сказать?

Мы жили, сами не зная, каким будет завтра. Варили из скудных пайков жидкий суп, сначала вычерпывали жидкость, а потом ели то, что осталось на дне тарелки. Создавали иллюзию двух блюд.

— Едва до булочной добрел, — снова сказала мама.

Она его немножко знала. Его фамилия была Мичурин.

И он приходился дальним родственником артистке Мичуриной-Самойловой. Мама моя, театралка, иногда беседовала с ним о спектаклях и актерах.

— Сходи-ка ты к Владимиру Александровичу, скажи, если хочет, пусть отдаст нам свою карточку и будет у нас с ним общий котел. Что мы едим, то и он — норма одна. А ему не хлопотно.

Почему так решила мама, я до сих пор не понимаю, а впрочем, мне не надо было понимать, — главное, что она так решила.

Я отправился к Владимиру Александровичу. Старик сидел перед раскаленной «буржуйкой» и совал в распахнутую дверку обломки венского стула. Он безразлично взглянул на меня:

— Ты?

Я, пугаясь и сбиваясь, кое-как объяснил ему суть маминого предложения. На лице учителя отразились разные чувства: каждый день есть домашний суп — это заманчиво. Но как так взять и отдать карточки в руки подростка?

— Я подумаю, — сказал он.

— Тогда приходите сами к маме, — обиделся я.

Учитель заторопился:

— Нет, нет, ты меня не так понял. Возьми. Я очень уважаю вашу семью, очень...

Он достал старческими дрожащими руками из футляра очки карточки и протянул их мне. Глаза его напряженно следили за тем, как я прятал их в карман пальто.

— Проверь карман, не дырявый ли? — с тревогой спросил Владимир Александрович.

— Не дырявый, а сверху еще клапан, — успокоил я.

Он проводил меня до лестницы, и когда с улицы я посмотрел на окно, то увидел прижатое к стеклу лицо учителя, седые включенные волосы, страдальческий изгиб рта и почувствовал, в какой тревоге за свое неясное будущее пребывает он сейчас. Я помахал ему рукой, и он тоже судорожно замахал мне, словно желал этим жестом сказать что-то важное.

На следующий день мама налила в маленькую кастрюльку суп, обернула ее платком, чтобы суп не застыл на морозе, и я отправился к учителю.

Я сразу заметил, что он сидел у окна. Владимир Александрович закивал мне, и я прибавил шагу. Я еще поднимался по лестнице, когда наверху открылась дверь и, свесясь с лестничных перил, учитель сказал необычно возбужденно:

— Сегодня потеплело. Зима сдает.

— Вроде бы, — ответил я, хотя, конечно, ни черта не потеплело, у меня нос успел замерзнуть, пока я шел от дома К дому.

Он был светский человек, мой учитель, и пытался встретить меня непринужденно.

Я размотал платок и достал кастрюльку. Он снял крышку, запах горячего супа опьянил его.

— Подожди, — попросил он.

Он взял со стола ложку и стал есть, старательно перемешивая, обжигаясь, щурясь, причмокивая и не обращая на меня никакого внимания.

Когда все съел, облизал, как ребенок, ложку, встал и сказал торжественно:

— Спасибо. Передай матери, что я целую ее руки.

Его седая голова склонилась в безупречном поклоне.

Я стал носить ему суп каждый день. Однажды он меня спросил:

— Ну, а как арифметика?

Я удивился:

— Так ведь школа закрыта.

— Да. Ну, а ты хоть вспоминаешь ее?

— Нет, — честно признался я.

— Ну что же, — Он едва улыбнулся уголками рта. — Наверное, все же арифметика — не самое главное на земле. Есть другое...

— Ведь не каждый должен быть математиком, — подхватил я.

— Не каждый, — задумался он. — Главное, быть человеком... А хочешь, я займусь с тобой арифметикой дома?

Это был неожиданный вопрос. На секунду перед моими глазами пролетели все задачки с резервуарами и бассейнами, дрожь пронзила меня, но я видел перед собой такое открытое и дружеское лицо учителя, что смог лишь прошептать:

— Хочу...

Мама сказала:

— Это очень хорошо. По крайней мере тебе легче будет наверстывать.

Теперь вместе с кастрюлькой я носил завернутые в газету учебники и тетрадку, и учитель после каждого урока, огорченный моим тугодумием, утешал меня:

— У тебя светлая голова, просто тебе не хватает немножко фантазии. Ну представь: из резервуара вытекает... — И мы снова садились за стол, и еще полчаса моей жизни были отданы великой науке.

Весной за учителем приехал сын, капитан артиллерии, чтобы эвакуировать его через Ладогу.

Владимир Александрович пришел к нам домой, попрощался со всеми. Меня он поцеловал и протянул в подарок книгу в красном переплете с золотым тиснением. «Герой нашего времени» — прочел я и открыл наугад, — «Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелье...»

Я уже не отрывался от книги. Среди блокадной жестокости, среди людской гибели и борьбы я часто, примостившись у «буржуйки», перелистывал книгу, перечитывал полубившиеся мне эпизоды. Что-то новое, прекрасное, так непохожее на окружающее, входило в мою жизнь.

Владимира Александровича я больше никогда не встречал, но мне до сих пор бывает грустно оттого, что я приносил ему огорчения своими слабыми успехами в арифметике.

Макароны

Над нами, на втором этаже, жила молодая пара. Оба они работали в какой-то снабженческой конторе. Блокада словно не коснулась их, и они выглядели как до войны: щекастые, румяные, упитанные. Когда я смотрел на них, мне даже казалось, что их лица разрисованы, не верилось, что у людей сейчас могут быть такие.

Весной их арестовали. За спекуляцию. При аресте присутствовали участковый и двое понятых. У них нашли золото, картины мастеров голландской школы, китайский фарфор — драгоценности они приобрели за продукты. Но не это поразило воображение их соседей — когда к ним вошли, увидели на кухне зажженную керосинку. На керосинке стояла огромная чугунная сковорода, и белые толстые макароны румянились, издавая аромат...

— Вот грабители-то были, — удивлялись потом во дворе, — К ним входят, а у них макароны скворчат. Ведь правда, да, Дмитрий Иванович? — обращались к участковому.

Тот кивал головой и степенно, не по возрасту (был он молодой) подтверждал:

— Точно. Скворчали...

— А как вы с имуществом поступили? — спрашивали его.

— Описали. Оно музейное.

— Да не про то... Как с макаронами?

— Макароны? Они в опись не вошли... Точно... Решили сообща дворничихе отдать — у нее два пацана.

Потом мальчишки спрашивали Ваську, сына дворничихи:

— Ну, а как макароны?

— Мировые, — облизывался Васька. — Отродясь таких не ел... Румяные.

— А скворчали?

— Скворчали, а как есть начал, перестали...

— Вот грабители-то были, — повторяли мы вслед за взрослыми.

О драгоценностях никто и не вспоминал.

«Сухарь»

Я и мои товарищи не находили с ним общего языка. Он был долговязым, рыжим, кожа молочной белизны была густо усыпана веснушками. Руки с крепкими короткими пальцами тоже казались рыжими от множества мелких огненных волосков. Звали его Юрием.

Учился Юрий лучше всех в классе, его ставили в пример, но от этого он не обрел наших симпатий. Раздражала его безупречная аккуратность: брюки всегда отглажены, рыжие волосы точно расчесаны на пробор, курточка без единого пятнышка. В учебниках цветные закладки, как у девочек. И главное — он не давал списывать. Вернее, давал, но делал при этом такое пренебрежительное и высокомерное лицо, что даже у самого равнодушного пропадала охота с ним связываться.

После уроков он сразу уходил. Только прозвенит звонок, он уже, сутулясь, скачет по ступенькам вниз, на боку болтается полевая потрепанная сумка с учебниками.

Война есть война, но мы жили все-таки как нормальные мальчишки: разъезжали на плотках по озерам ЦПКО, собирали желтоватый артиллерийский порох, слонялись по

вечернему Большому проспекту... А он с нами никуда Не ходил. Мы его и звать с собой перестали — Сухарь, что с него возьмешь?

И вдруг наш Сухарь стал опаздывать на первый урок, не на много — минут на пять. Влетал в класс взъерошенный, раскрасневшийся. Сначала учительница только удивилась и ничего не сказала, но на третий раз потребовала объяснений. Он стоял, понутив голову, молчал.

— Ты гордость нашего класса, не годится тебе хромать с дисциплиной.

Однако Юрий продолжал опаздывать.

— Мне придется вызвать твою мать, — наконец сказала классная руководительница.

Можете себе представить наше любопытство: у Сухаря какие-то свои дела! Сухарь опаздывает!

Делая вид, будто ему абсолютно безразлично, Мишка Мамин спросил:

— А чем ты утром занят, правда? Физзарядкой, что ли?

— Ничем, — коротко ответил Юрий и отвернулся.

— Он шов на брюках наглаживает да зубочисткой по зубам наяривает, — заключил Мишка и, дурачась, вскинул руки и продекламировал с пафосом — Честь класса вовсе вам не дорога!..

— Паяц, — обронил Юрий, и быть драке, если бы мы их не растащили.

В школу я ходил обычно с Маминым. Заходил по дороге за ним. Однажды мы отправились в школу на час раньше, потому что были дежурными и надо было проверить, во всех ли классах есть мел, тряпки и т. п.

Нам было весело: апрельское солнце плыло над крышами, снова гугукали голуби, выплескивали клейкие листочки тополя. Шла весна сорок четвертого.

На улице попадались редкие прохожие. Неожиданно, свернув за угол, мы услышали равномерное шарканье метлы: «шшык... шшык...». Мы не поверили своим глазам: в дворничком переднике Сухарь шел по тротуару и сметал в кучу мусор. Он как заправский дворник подхватывал метлой бумагу, окурки, спичечные коробки, и вслед за ним стлался чистый и ровный асфальт.

Мы застыли на месте. Юрий словно почувствовал наши взгляды, обернулся и, ничего не сказав, снова с ожесточением повел метлой по панели.

— Ты что? — наконец выговорил Мишка.

Рыжий перестал мести и посмотрел на нас. Он смотрел спокойно и грустно и совсем не задавался:

— Мать больна, не встает, рабочую карточку надо...

Мы смутились. Ни в чем не были виноваты, а все равно встало неловко.

— Может, помочь тебе? — небрежно спросил Мишка.

Юрий сказал просто:

— Разве что дрова уложить во дворе. Мне одному не осилить до уроков.

— Давай, конечно! — обрадовались мы.

В то утро мы опаздывали все трое. Нам с Мишкой написали в дневниках, что сорвали дежурство по школе, а Юрию сказали, чтобы пришла мать.

...Несколько лет назад в газете среди фотографий физиков — лауреатов Ленинских премий я увидел знакомое лицо Юрия. Он вроде бы и не изменился, и мне показалось даже, что я различаю веснушки на его лбу и щеках.

Конь

Был мой дядя Григорий до войны управдомом и войну встретил управдомом. Из-за последствий контузии, полученной в первую мировую, его освободили по чистой. Работал он рачительно, и имелась у него своя радость в этой службе.

Радость заключалась в коне, выделенном райкомхозом для разных мелких нужд — дрова привезти жильцам, мусор вывезти, зеленые насаждения доставить весной — мало ли как можно было использовать скромную лошадиную силу...

Это был старый дончак, белой масти, на трех ногах черные чулочку, серебристый пересверк по бокам, и самое главное — глаза, продолговатые и грустные, до сих пор отливали у него редкой голубизной. Когда на него смотрел лошадиник, то смотрел со вздохом, потому что представлял, каким мог быть конь в молодости.

Бывший кавалерист Дубок, слезливый с похмелья, припадал во дворе к теплой конской шее и шептал коню нежные слова; «Голуба, мне бы тебя под Перекопом, вынес бы ты меня из-под обстрела, не сидели бы в моей рабоче-крестьянской груди империалистические осколки...»

А коня так и звали Голуба.

Старушка Марья собирала по лестнице у жильцов черствый хлеб, огрызки и в плетеной корзине несла их по утрам коню. Гладила его поредевшую челку и говорила, как родному: «Годами-то ты не велик, а уже старенький, ровно я... Я тебе хлебушко размочила, десны-то, видать, успел сжевать...»

Цыган без определенных занятий, живший поблизости, сверкая белыми зубами, стрелял взглядом: «Встреть я такого раньше — умер бы, а увел... Помню, при проклятом царском режиме...» — пробовал пересказывать известные уж всем истории о конокрадах.

А девочка Люся поднималась на цыпочки и вглядывалась в светлые лошадиные глаза, удивляясь, что они красивые — почти как у людей...

Дядя Григорий ревниво относился к коню и вышеупомянутых лиц допускал к нему только при своем хорошем настроении. «Конь не молод, за ним следить надо, а вы расслабляете...» — порою выговаривал он. Но сам любил коня с печальной привязанностью немолодого одинокого холостяка. Вечерами, когда вокруг никто не мелькал, он кипятил воду и ставил припарки на разбухшие лодыжки Голубы. Случалось, приносил отборный ячмень из артиллерийских казарм, где вел профессиональную беседу с конюхом, тоже холостяком и ровесником.

Бабушка моя не понимала этой его жизни и выговаривала с укоризной: «Весь потом пропах, скоро сам рысью побежишь... Женился бы, взял бы серьезную женщину, — высказывала она сокровенное желание, — а то на конюшне весь век прокоротаешь! Виданное ли дело!» Дядя Григорий любил свою мать, но от ее наставлений ускользал, запевая с улыбкой старую песню:

Конь не обманет,
Конь не изменит...

С началом войны обязанности коня изменились. Голуба с дядей Григорием отправились на рытье окопов. Огромное множество людей с лопатами, кирками и заступами долбили и копали землю, а дядя Григорий на Голубе отвозил землю на укрепление оборонительного вала. Голуба вздрагивал ушами, удивляясь непонятной работе людей, — люди беспрерывно двигались, суетились, помогали друг другу, и их решительное оживление передавалось коню. Вдруг неожиданно все стали разбегаться; дядя Григорий, держа лошадь под уздцы, пихал растерявшихся женщин под телегу. Голуба стоял спокойно и при страшных взрывах бомб, которые вскидывали в небо столбы земли, и при пронзительных столах, раздававшихся на всем поле. Он лишь заволновался и испуганно скосил глаза, когда увидел, как на телегу, сбросив землю, постлали полосатую клеенку, а на нее положили рядом людей, перевязанных белыми, кровоточащими бинтами. От запаха крови ноздри коня вздувались, но дядя Григорий сильно и впечатляюще провел рукой по его морде с приговором: «Терпи, Голуба, осторожно вези, Голуба, от нас с тобой жизнь людей зависит...» И сам повел коня, выбирая путь ровнее, откидывая от колес камни и коряги, повел к белеющему вдали поселку.

Осенью Голубу все чаще стало томить ощущение несытости. Сладкий и сочный ячмень виделся ему только во сне. Старуха Марья больше не выносила в корзине тающие во рту,

сытные куски хлеба. Лишь дядя Григорий молотком разбивал спрессованную дуранду и отделял желто-серые куски для коня. Дядя Григорий осунулся, подсох, лицо его подсинил голод.

В ноябре дядя Григорий тронулся на Голубе в необычную дорогу: на кладбище. Он сидел в передке телеги, а за ним запеленатая в белую простыню лежала одинокая старуха Марья, слегка перекатывающаяся на неровных местах. Старуха Марья выглядела как игрушечная, но конь не видел ее лица и не знал, что везет. На кладбище мордастые мужики предложили дяде Григорию: «За полбуханки отдельную выроем», — «Откуда у меня? — развел руками дядя Григорий. — Я управдом». — «А коли управдом — давай в общую», — и мордастый махнул рукой в сторону, где высился штабель покойников.

И был это последний день, который дядя Григорий провел с конем.

Поутру он подошел к распахнутому сараю, с которого сбили замок, и нашел только обрывок уздечки и подмороженную кучку навоза. Сердце остановилось у дяди Григория. Он прислонился к косяку, переводя дыхание. Впился Глазами в конские следы, но они чуть виднелись метров на двадцать, а потом пропадали на раскисшей земле.

Старуха Марья умерла, кавалерист Дубок и девочка Люся эвакуировались, цыган исчез неведомо куда. И ошеломленный дядя Григорий бросился из последних сил в милицию, «Коня свели», — выдохнул дежурному. «Да, — многозначительно сказал дежурный, — сейчас коней не просто сводят, их съедают», — и передал известие по начальству.

Завязалось уголовное дело. Следователь пытался доказать, что конь был похищен самим дядей Григорием и продан им.

«Конь мне как родня приходился», — твердил дядя Григорий, но следователь от таких слов только морщился и считал их к делу неотносящимися. И по суровым требованиям военного времени оказался дядя Григорий в тюрьме.

Два раза бабушка носила ему передачи: в алюминиевую кастрюльку наливала суп, обкладывала кастрюльку ватой, потом заворачивала в байковое одеяло, клала в баул и спозаранку несла через город, размышляя о горькой судьбе сына. И белый конь со светлыми глазами казался ей дьявольским наваждением, явившимся, чтобы погубить сына. «Женился бы, так другим бы стал, к дому уход обращал, а не к бессловесной скотине», — рассуждала она и корила себя, что не подыскала ему сама подходящую невесту. «А ведь были, которые б пошли...» Чем ближе подходила к тюрьме, тем сильнее у нее билось сердце, она всматривалась в высокие каменные стены ограды, и ей делалось до слез тоскливо оттого, что их построили, дабы отгородить ее сына от людей, воздуха, ледяной реки...

Когда бабушка втаскивала свой пухлый баул к дежурному по тюрьме, дежурный ее останавливал: «Постельных принадлежностей не принимаем, в целях гигиены». — «Да у меня суп». И бабушка начинала раскручивать свой объемистый сверток. Дежурный приподнимал крышку, приглядывался к жиденькому вареву, сочившему аппетитный парок, и говорил удивленно: «Суп, точно».

Дядя Григорий в своей камере от скудного пайка, от плачевности своего положения сначала истончался до прозрачности, а потом внезапно стал расплываться, словно в него накачивали воду. «Так что ж, и не воспользовался конем-то?» — пытал его сосед, продавец, попавшийся на обвесе. Дядя Григорий отрицательно кивал головой. «Дела...» — тянул продавец, с сожалением глядя на распухающие ноги дяди Григория. Дядя Григорий спал плохо, но когда впадал в полузабытье, ему являлась, как видение, не его ранняя молодость с радостями и надеждами, а молодость его коня, через которого принял он страдание. А видел он коня с торчащими, как майский подорожник, ушами; с грудью выпуклой, лоснящейся, крепкой, как броня; с игривым и выносливым крупом; со стройными изящными ногами, чующими малейшую волю конника и готовыми выплеснуться торжествующей рысью; с глазами красивой женщины...

И еще ему виделось в эти мгновения, что конь его скачет по необозримому полю, и чем мельче вдали обрисовывался силуэт коня, тем ему, дяде Григорию, делалось хуже и беспомощней.

Третью передачу у бабушки не приняли. Дежурный порылся в бумагах, деловито сообщил: скончался такого-то дня. От сердечной недостаточности...

Бабушка в тот день вернулась без баула, И горе ее выражалось не плачем или стенанием, а бесконечным тягостным, опустошенным молчанием.

К весне мы получили телеграмму, приведшую нас в счастливое недоумение. Телеграмма гласила: «Еду хорошо целую напишу Гриша. Тюмень». Почтовые работники подтвердили, что ошибки нет. Бабушка была вне себя, и мы заметили, что она достает с полки алюминиевую кастрюлю и обтирает тряпкой половник. Мы промолчали, а моя мать сказала: «Он ведь, если жив, то — далеко», — и бабушка молча поставила кастрюлю обратно.

Несколько дней мы в семье судили да рядили и решили в итоге показать телеграмму начальнику тюрьмы, — ведь была у нас официальная справка о смерти дяди Григория. Начальник тюрьмы несколько дней наводил справки, расследовал, а потом объявил нам, что объяснения телеграмме не находит и вся документация, находящаяся у него, абсолютно достоверная.

Долгое время мы обдумывали странную ситуацию: может, кто-нибудь воспользовался его документами? Но зачем тогда писать родным — себя выдавать? Может, он сам под чужим именем был отправлен в Сибирь? Но почему тогда больше ничего от него не последовало? Больше ничего...

Я жил всю зиму среди смертей и повседневных трагедий. Я привык к насущной жизни. Но история с дядей Григорием, пронзительно-печальная и человечная, впервые в моей собственной жизни возникла как тайна и загадка. Куда они делись, белый конь и тихий человек, дядя Григорий?

«А ведь они, наверное, где-то скачут вместе, где-то едут», — думаю я и теперь, когда мне почему-то трудно жить.

Первой блокадной весной...

Я никогда не соглашусь с тем, кто станет утверждать, что не было в блокадные дни своих радостей, своих маленьких праздников.

Помню, как в мае на углу Большого проспекта и Введенской подростки катались на велосипеде, а на рамах восседали их подружки. Они так озабоченно занимались своим делом, так старательно кружились на торцовом пяточке, что казалось, нет войны, нет обстрелов, а есть только влюбленные парочки да еще цветущая сирень в сквере.

Как-то в ослепительно синий день я вышел из ворот нашего дома и столкнулся лицом к лицу с мамой, возвращавшейся с работы. Мы остановились друг перед другом. Она ничего не говорила и только изучающе, словно давно меня не видела, смотрела в мое лицо, разглядывала... И вдруг губы ее дрогнули. Наверно, при солнечном свете она отчетливо увидела и бледность моего лица, и запавшие глаза, и темные разводы под глазами. Я нисколько не подрос за военную зиму, а недавно, отправившись в баню, неожиданно потерял сознание.

Я увидел, что у мамы появились слезы.

— Ты что? — спросил я.

— Ничего, — она отвернулась.

— Нет, чего ты? — попытывался я.

— Понимаешь, я не могу спросить тебя: «Что ты хочешь, мой мальчик?»

— А ты спроси.

Мама печально улыбнулась:

— Ну хорошо: что ты хочешь, мой мальчик?

— Сапоги, — твердо сказал я.

— Какие сапоги? Разве у тебя нет обуви? — удивилась мама.

— Есть, но мне так нужны сапоги!

В те дни у всех ленинградских мальчишек появилась своя мода: брюки навыпуск, тельняшки, хромовые сапожки. Каждый из нас мечтал о таких сапожках.

— Но они тебе не пойдут...

В конце концов мама сдалась, и мы отправились к знакомому сапожнику дяде Мише, который умел тачать сапоги.

Мама объяснила, что нам надо.

— Тысяча и одна ночь, — сказал дядя Миша и качнул головой.

— Когда вы сделаете?

— Постараюсь скоро — Дядя Миша махнул рукой и подмигнул мне.

Ах, какой это был радостный день в моей жизни, когда в тельняшке, с чубом, упавшим на лоб, в хромовых сапожках и брюках навыпуск я медленно шел по Большому проспекту — шел мимо пожарной части, мимо своей школы с выбитыми воздушной волной стеклами, мимо ресторана «Приморский», где ныне была столовая по карточкам, мимо сквера, где буйно клубилась сирень... И мне казалось, что все на меня поглядывают: мальчишки — с завистью, а девчонки — с благожелательным любопытством. А я все шел и шел, пристукивая каблуками, лихо вынося носки вперед, и казался себе, конечно, самым бравым парнем на Петроградской.

...Я заметил, что у мамы исчезло с руки ее любимое золотое кольцо с камушком. Вместо него палец опоясывал тонкий ободок белой кожи.

— А кольцо где? — спросил я.

— Где надо, — строго ответила мама.

Я не отставал.

— Да пойми же ты, — рассердясь, наконец сказала она, — дядя Миша за сапоги хлебом берет, мы с ним еле-еле на кольцо сошлись.

...овец... овец...

До войны я кончил пять классов. И в пятом классе у меня появилась первая симпатия: круглолицая, с черными, широко поставленными глазами девочка Ира. Она ни на кого не обращала внимания, а когда мальчишки начинали ее поддразнивать, гордо вскидывала толстой косой, словно отмахивалась от комаров. Меня она, как и всех, также не замечала. Хотя иногда я ловил ее быстрый взгляд, но в тот же миг она чуть покраснела и отворачивалась.

Я старался подчеркнуть перед всеми свое равнодушие к Ире, но чем сильнее подчеркивал, тем больше думал о ней. Весной мне купили блестящие галоши с продолговатыми языками на красной байке. Это были очень модные галоши. Я надел их и пошел в школу. Мне казалось, что все смотрят только на мои галоши. И правда, их заметили. Мальчишки закричали: «Эй, ты, языкатый!» И тогда Ира сказала серьезно и спокойно:

— Что вы пристали! У вас ни у кого нет таких галош.

После ее похвалы я готов был и есть и спать в галошах. Конечно, родители не разрешили мне этого делать, но я выхлопотал право ставить их ночью к себе под кровать, предварительно разостлав на полу газету.

А с Ирой мои отношения после этого случая никак не стали ближе, и я понял, что она сказала это просто из чувства справедливости.

Я никогда не бывал у нее дома. Лишь однажды, увидев, как она выходит из ворот, спросил:

— Ты здесь живешь?

— Да, — односложно ответила она и прошла мимо.

Когда началась война, я вовсе потерял ее из виду. Иногда вспоминал о ней, и тогда все блокадные огорчения и горести пропадали, как по мановению волшебной палочки. Чем более жестокой становилась блокада, тем уже становился мир вокруг меня, ограниченный пайком хлеба, возвращением мамы с работы, теплом гудящей «буржуйки».

И неосознанно в моем мальчишеском сознании появилась неудовлетворенность тем, как я живу, тем, что не вижу никого из товарищей. И мне стало казаться, что если я кого-то из них увижу, мы вместе придумаем что-нибудь такое, от чего жизнь станет лучше.

А больше всех, конечно, хотелось увидеть Иру.

... Темным морозным утром я отправился к ее дому. Он стоял, серый и немой, с крестообразными полосками бумаги на замерзших стеклах, и даже дым «буржоек» не вырывался из выведенных наружу печных жестяных труб. Где мне ее искать? Кого спрашивать?

Я медленно вошел в ворота. Стены дома были покрыты ворсистым белым инеем. Во дворе возле санок копошилась женщина, повязанная какими-то платками и шальями. Я подошел к ней, но, оглохшая от укутавшего ее голову тряпья, она не услышала моего вопроса. Я тронул ее за рукав и повторил:

— Вы не знаете квартиру Ирины Ликовой?

Не глядя на меня, она ответила:

— Ликовы? Их квартира у господ бога.

Я не понял и переспросил с замершим сердцем:

— Ликовы где живут?

— Разбомбило их...

Я опустил голову и безвольно побрел на улицу. Неожиданно женщина крикнула мне вслед:

— Сами-то они уехали, кажется, в Череповец.

Под гулками, словно ожившими сводами слова ее прозвучали, как в громкоговорителе: ... овец... овец...

Дома я достал карту и нашел Череповец. Он оказался совсем недалеко от Ленинграда, километрах в трехстах. Он приснился мне в первую же ночь, наверное потому, что я думал о нем весь день: солнечный, с вырывающимся из дверей булочной паром, с синими птицами на гнущихся коричневых ветках и с огнехвостыми павлинами в малахитовой траве. И среди этого великолепия идет девочка, круглолицая и темноглазая, идет в моих галошах с блестящими резиновыми языками. И я подумал тогда во сне, что такая красивая девочка могла уехать только в такой сказочный город.

Через много-много лет мой приятель, художник Владимир Ветрогонский, привез свои гравюры из Череповца: высились трубы металлургического комбината, сталевары в защитных очках стояли перед огнедышащим пламенем, прокатные станы прокатывали стальные болванки...

Я разглядывал эти гравюры, и мне было удивительно жалко прощаться с городом моей детской мечты.

Ведь не один раз в жесточайшие метели и голодные ночи ТОЙ зимы я представлял себе город, где так много пшена, что им посыпают садовые дорожки, и где мальчишки берут с собой в школу хлеб, пропитанный ароматным медом. И мне было легче жить с этим МОИМ городом.

— Ну как гравюры? — спросил меня художник.

— Хороши, — медленно отвечал я, — А скажи, пожалуйста, павлины в Череповце есть?

Он удивленно посмотрел на меня и недоуменно спросил:

— Ты что, чудака?

И я рассмеялся:

— Знаешь, наверное, я все-таки чудак!

Бокал вина

Не помню, в честь какого праздника выдали по карточкам двести граммов плодово-ягодного вина. Оно было мутно-красное, и когда его взбалтывали, какие-то хлопья стремительно двигались в бутылке.

Мама достала из шкафа хрустальные бокалы и полотенцем протерла их. Они искристо переливались при свете коптилки. Мы сели за стол.

— Мой мальчик, — торжественно сказала мама, — вино принесло людям много горя. Я мечтаю, чтобы ты никогда не пил вино сверх меры. Иначе ты мало что сделаешь в жизни. Но сегодня я сама дам тебе выпить его, потому что в нем есть калории.

Она нагнула бутылку, и бокалы стали сначала розоветь, а потом приобрели рубиновый оттенок. Я никогда раньше не пил вина, и оно показалось мне горьким и кислым.

— Не могу, — сказал я маме.

— Пей, — настоятельно попросила она.

Я судорожными глотками стал пить из бокала, захлебываясь и морщась. Потом выпил вино залпом, потому что пить глотками было еще противнее. Я испытывал странное ощущение: у меня выступил на лбу пот, лицо покраснело, и язык, отяжелев, стал плохо подчиняться мне.

Мама сказала:

— А теперь ложись и спи...

Немало жестокостей блокады запомнил я, но это одна из самых драматичных: мать сама подносит своему сыну-подростку первый в его жизни бокал вина, чтобы ее изголодавшийся ребенок согрелся, ощутил в себе теплый комочек силы, чтобы хмельной румянец коснулся его впалых щек.

Базарный день

В мае сорок второго на свободных землях — в парках, садах, скверах — были посажены капуста, турнепс, морковь, картошка... Осенью город выглядел необычно: по улицам потянулись тележки, груженные мешками с овощами. Выкапывали из земли картошку, шелушащуюся, с налипшей по бокам глиной, и страх перед голодной зимой отступал.

Наш огород находился на большом пустыре возле Охтинского кладбища. Я тащил холщовый мешок до трамвайной остановки, грузил на площадку трамвая и ехал по городу на Петроградскую, придерживая на поворотах свою драгоценную ношу. По пути с такими же мешками подсаживались огородники, и начинался бесконечный разговор, что у кого уродилось и где земли лучше. И, конечно, слышалось: «А вот у соседа Ивана Иваныча такая морковь выросла, что...» И пассажиры удивленно качали головами. На какие-то недели город приобрел сельский колорит, потому что жители шли и ехали с заступами, лопатами, ведрами...

Что-то неуловимо доброе рождалось в те дни — людей сближало не только блокадное горе, смерти родственников, но и общая радость оттого, что теперь черта с два возьмет косая.

У нас дома солили капусту. Бережно брали каждый кочанок, темные листья — «хряпу» — не выбрасывали, а складывали отдельно. Когда две бочки и большие кастрюли наполнили засоленной капустой, мама с бабушкой передохнули и развели руками. Посуда для засолки была вся занята, а на полу еще лежала груда «хряпы».

— Что будем делать? — растерянно спросила мама.

— Продадим, — ответила моя практичная бабушка.

...Снова я волоку мешок, уже с «хряпой». На рынке весело. Прилавки завалены овощами, продавцы — горожане: интеллигентные мужчины в очках, молодые женщины в кокетливо повязанных косынках кидают на весы гирьки, отсчитывают сдачу. Деньги нужны, на них можно купить тут же что-нибудь из съестного. Громоздятся пышные подушки капустных листьев; продолговатый, похожий на кроличью мордочку, беловатый турнепс; налитые розовым соком морковины...

Нам с бабушкой выдают весы, и мы становимся за прилавок. Я поглядываю по сторонам и жду первого покупателя. Самые сочные и могучие листья разложил так, чтобы они бросались в глаза покупателям.

И вот — старушка с плетеной корзиной:

— Почему?

Отвечаю.

— Три — кило.

Я отвечаю, бабушка принимает деньги, а старушка уже скользит вдоль прилавка дальше.

Капуста у нас пользовалась спросом: женщины в платках и шляхах довоенного фасона подходили, приценивались, брали. Я приобрел некоторую сноровку, бросал гирьки на звенящие чашечки и бодро восклицал:

— Сколько?

И сам себе казался молодцом. Думалось, что и другие смотрят на меня как на молодца.

И вдруг...

— Что-то не дотягивает, — проскрипела покупательница.

Я вспыхнул.

— Где не дотягивает? С походом кладем, — вступилась бабушка.

— Знаем мы таких, с походом!

Я огляделся, ища сочувствия, но на меня смотрели отчужденно.

«Разве они не понимают, что я занят важным делом? — думал я. — Что помогаю семье, что хоть и маленький еще, а уже работник в доме...»

Ощущение праздника исчезло.

Я увидел бегущего через рыночную площадь Ваську. Чувство гордости за свою работу ожило во мне: «Пусть Васька поглядит на меня. Я-то не шатаюсь, я-то деньги зарабатываю...»

— Васька! — крикнул я.

Он увидел меня, подскочил, глаза его округлились.

— Торгуешь? — спросил удивленно.

— Как видишь, — солидно ответил я. — Уже почти мешок продали... Ты куда?

— Сидоркин послал в штаб МПВО отнести донесение.

Конечно, Васька нес какую-нибудь незначительную справку, но я все равно расстроился. Сидоркин — наш участковый — относился ко мне лучше, чем к другим мальчишкам. «Ты смекалистый», — похвалил он меня однажды. И ясно — будь я под рукой, послал бы меня, а не этого хвастуна Ваську.

— Ну, так спешу, — сказал я, — ведь донесение!

Всем своим строгим видом я показывал Ваське — если бы мне доверили поручение, я выполнил бы его с большей ответственностью.

— Торгуй, торгуй, — снисходительно обронил Васька и побежал дальше.

Я покучнел, и торговля капустой сделалась для меня неприятной.

— Бабушка... — начал я, но тут на рынке появился новый кумир мальчишек, Сидоркин, недавно поймавший немецкого парашютиста. Он медленно совершал обход своего участка.

Сидоркин шел, и все, кто стоял за прилавком, невольно подтягивались, — такое у него было серьезное лицо.

Участковый увидел меня. Глаза у него тоже округлились, и он, не прибавляя шагу, подошел к нам.

— Частный сектор, — ровным голосом произнес он.

— Излишечки с огорода, — с какой-то суетливой ноткой объяснила бабушка.

— Да... — протянул Сидоркин, — законом разрешено, — и посмотрел на меня разочарованным взглядом.

Сердце мое екнуло, я понял: больше мне уж не быть любимцем Сидоркина.

Участковый повернулся и стал продолжать обход.

Бабушка увидела мое вытянувшееся лицо, покачала головой:

— Пошли-ка домой, — и сунула обратно в мешок остатки капустных листьев.

Когда мы выходили из ворот рынка, нас обогнал Васька.

— Ты чего? — обратился я к нему.

— Срочное сообщение Сидоркину! — на ходу бросил он и пустился по улице.

Я с грустью посмотрел ему вслед. Я думал, что теперь, наверно, любимцем Сидоркина будет Васька.

Стук в дверь

Отчаяние матери было молчаливым и потому особенно страшным для нее. Муж прямо из ополченской роты попал в стационар для «дистрофиков», а сын, продолжая по-мальчишески вытягиваться, как-то странно усыхал.

Мать прижималась ладонями к железной остывающей печурке, словно верила в чудотворство тепла, верила, что оно может превратиться в хлеб, пшено... Когда они с сыном заканчивали очередное чаепитие и мать четко подмечала, что клубящийся паром кипятком на какие-то мгновения создал у сына иллюзию сытости, она подхватывала это иллюзорное состояние и начинала рассказывать необыкновенные истории, вычитанные из книг, говорила об Индии, где никогда не была, но которой когда-то очень интересовалась. Мальчик вместе с матерью уносился в сказочный мир, и иногда это продолжалось подолгу.

Но, оставаясь одна, мать видела вещи такими, какими они были, в их жестокой наготе. И сегодня она впервые не знала, что делать. Два ее брата, военных, писали, что должны приехать, — конечно, они приедут не с пустыми руками. Но когда, когда? Может быть, тогда, когда уже запустение и сырой могильный дух угнездятся в распахнутой обезлюдевшей квартире?..

И в этот миг, когда ее пальцы как бы вмялись в жечь печурки, в дверь раздался стук. Мать машинально взглянула на окно, — не со светомаскировкой ли что-либо? Но окно было занавешено плотно. И вдруг ее, как молнией, пронзило: брат! Спасение! Мать с неподозреваемой силой метнулась по темному коридору к двери и выдохнула: «Кто там?» — «Откройте, пожалуйста!» Она сразу поняла, что это не брат, но, может, кто-то от него, и мигом выдернула щеколду. На пороге стоял человек, которого мать поначалу не признала, в полушубке, ушанке и белых бурках, отороченных коричневой кожей.

— Здравствуйте! Не признали? — И он снял ушанку, рыжие волосы рассыпались по лбу. Мать узнала гостя. Это был Пашкулич, ее бывший больной, которого она несколько раз навещала во время его болезни гриппом.

— Заходите, — удивленно сказала мать.

— Да нет, я так, — замялся Пашкулич, — мимо проходил, адресок ваш запомнился, дай, думаю, наведаюсь, фронтовым гостинцем поделюсь, — и протянул матери нечто, завернутое в газетную бумагу.

— Что вы! — с ужасом и счастьем взмахнула руками мать. — За что вы!

— По старой памяти, — мелко засмеялся Пашкулич. Он не стал заходить в комнату, сославшись на то, что спешит на передовую, и исчез, сделав свое дело в духе индийских факиров, о которых только что шел разговор.

Мать позвала сына, они развернули газету — и в центре стола воцарился большой кусок сыра: с красной шкуркой, нежно-желтой плотью, испещренной мелкими круглыми отверстиями... Не верилось, что его можно было есть, таким он выглядел красивым. Мать, не срезая красную корку, отделила от куска два ломтя — побольше и поменьше — и больший ломоть протянула сыну.

— Швейцарский, — сказал сын, хотя раньше был к сыру равнодушен. — Может, и второй фронт скоро откроют, — со взрослой озабоченностью добавил он.

Мать объяснила, как к ней попал сыр, и, поев, они оба задумались, что за чудеса произошли.

— А может, ты лечила его как-нибудь очень хорошо? — спросил сын.

— Да как обычно, — напрягая память, сказала мать, — Ну, лекарства выписывала, слушала, бюллетень выписывала... Что еще! Ну, улыбалась, подбадривала... Ничего больше, сын, — воссоздавая картину прошлого, заверила мать.»

И тогда сын подумал вслух:

— Значит, просто еще много добрых людей.

Вечером мать, лежа в кровати, пыталась всломнить, кем же был ее больной, но точно определить не могла. Вспоминала только почему-то одну фразу, брошенную больным, видимо, домработнице, когда уже выходила на лестницу: «Вы сегодня, Феклуша, цыпочку оципите». «Как нежно», — усмехнулась тогда мать. «А теперь с фронта приехал, — тянула она цепочку размышлений. — Что у него здесь, родных-знакомых нет? Я ведь посторонняя, а лечила его — так это моя работа была... — И вдруг широко раскрыла глаза в темноте. — А ведь у него звездочки на ушанке не было, точно не было... Ну и что? Бывает, наверно, и так», — успокоила она себя.

Четыре дня ели ломтями швейцарский сыр, и мать рассказывала сыну о Швейцарии все, что знала. А знала она немногое.

Сыр, как и все на земле, кончился, и мать вновь стали одолевать мучительные мысли о поисках пищи. «Брат, скорей бы приехал брат!» — мечтала она, и облик брата возникал в воображаемом пару кипящих кастрюль, шипении жареных котлет, сухом треске разламываемых галет...

Мать достала из шкатулки кольцо — свою последнюю драгоценность — и лихорадочно перебирала в памяти знакомых, которые могли бы помочь выгодно его обменять на продукты.

И в этот миг снова раздался стук в дверь. На пороге стоял румяный и оживленный Пашкулич.

— Ой, — воскликнула радостно мать, потому что связывала уже с его приходом надежды.

— Проходил я рядом, горемыка, дай, думаю, наудачу постучусь, авось добрым взглядом разживусь.

— Раздевайтесь, проходите, я чай сейчас согрею, — захлопотала мать.

— Чай — это хорошо, а к чаю мы что-нибудь накумекаем, — и Пашкулич выложил на стол пачку галет, пригоршню конфет «Мишка на Севере» и красную головку сыра.

— Ой, что вы! — покраснела по-девчоночьи мать.

Закипел чай, и все втроем сели за стол.

— Как здоровье ваше? — профессионально спросила мать.

— Плохо, — сокрушенно уронил голову Пашкулич, хотя выглядел — плакаты бы с него писать!

— А что? — с тревогой взглянула мать.

— Работа ответственная, нервная система не выдерживает порой, — уклончиво заметил гость, и все замолчали, чувствуя что-то запретно-секретное за этими словами.

Пашкулич пил и ел нехотя, вроде как собираясь с мыслями, готовясь к важному для себя разговору, — он многозначительно поглядывал на парнишку. Наконец и до матери

дошло, что он, Пашкулич, хотел бы остаться с ней наедине. И она сказала просто, обращаясь к сыну:

— А теперь на боковую, живо!

Сын перешел в соседнюю комнату, лег на диван, но ему было слышно, как говорят взрослые.

— Благодарность наша безмерна, сами знаете, какое время, — произнесла мать.

— Да что уж там... Теперь каждый, чем может, друг другу должен...

— Конечно, друг другу... — подхватила мать.

— Я бы к вам, — вдруг напрягся голос Пашкулича, — товарищем заглянуть желал бы...

— Да, пожалуйста, — простодушно согласилась мать.

— Ну, мы там закусочку бы соорудили — того, другого, четвертого... Малыша бы после в сад выпустили, а сами бы свои разговоры разговаривали.

— Да я бы всей душой, — отозвалась мать.

— Товарищ мой в чинах, его еще уговорить надо прийти, ну, а коли придет, уважение оказывать...

Мать вскинула брови.

— Мы семья интеллигентная, умеем встречать гостей.

— Да уж ясно! Да уж ясно!.. Я не к тому, чтоб как тарелку поднести, а к тому, чтобы все сообразить.

— Слушаю вас, — удивилась мать.

— К тому я, — подбирая слова Пашкулич, — что я посередке беседы вдруг «бряк» со стула сделаю, на пол.

— Что? — не поняла мать.

— Ну, «бряк» со стула, и забьюсь до синевы на полу, аж до пены на губах... Эпилепти-че-ски, — по складам выложил он. — А вы меня таковым и аттестуете на глазах у товарища. — Да зачем это вам?

— Да затем, — четко и зло сказал Пашкулич, — что на фронт меня намереваются отправить, а мне туда рановато еще... Продержусь малость, тогда меня замначальником военторга смогут сделать... Это из завмагов-то! Тут, главное, недельку, две, три задержаться. Вот вы и поможете мне, а уж мое спасибо — до пупа! — развязно добавил Пашкулич.

Мать молчала, сын понял, в каком смятении находилась она. Наконец она тихо сказала:

— Но это подлог.

— Да никакого подлога! У меня вся уже эпилептика разработана, как на репетиции. Вам проштамповать на глазах у начальника — и прощай блокада для вас навсегда!

Сын весь сжался в комок, все соображая и ожидая ответа матери. Он так ждал приезда своих дядей, они ему снились ночами — в белых полушубках, ремни крест-накрест, у каждого в руках по плитке шоколада. Ему чудилось, что они все время, без перерыва, долбят фашистов... А этот бугай не хочет быть с ними, чтобы долбить. «Эпилептик!» Он знал, что это такое. Их сосед по лестнице бился в падучей, но во всамделишной падучей.

— Малыша ведь спасти надо, — донеслись вкрадчивые слова Пашкулича.

— Нет, Пашкулич, я вам не сделаю фальшивки. — И сын понял, что мать не сделает. Если она кого-либо называла по фамилии, этим выражала свое крайнее неодобрение и несогласие.

— Ну, что ж, бывайте, подберем нужные кадры, а вам — доброго здоровьица, — с издевкой протянул он. — Уж, извините, сырок за визит неласковый оставлю, а галетки и конфетки прихвачу.

Мать молчала, и слышно было, как Пашкулич прокопытил крепкими каблуками до двери. «Господи, — думал сын, — что сейчас в душе у матери! Отказаться от еды, оставить меня голодным, ради чего? Кто ее проверит? Бьется человек в падучей — ну, и дала бы справку. Кто проверит? Как бы мне сделать, чтобы не хотеть есть!» — уткнулся в

подушку и, зажмурив глаза, снова видел дядей, молотящих фашистов, а у фашистов были бесстыжие рожи Пашкулича.

Наутро мать подошла к сыну, темные подглазья были еще чернее. Видимо, она не спала.

— Сын мой, — спросила она в раздумье, — ты смог бы украсть?

— Я еще об этом не думал, — честно признался он.

— И не думай, мой мальчик, — слабо улыбнулась она. — А как ты считаешь, мы выживем? — мать заглянула ему в глубь глаз, словно сама вычитывала ответ в них на свои слова.

— Обязательно! — заорал он и обнял мать, чувствуя, что делает что-то самое нужное сейчас для нее.

Через несколько дней опять раздался стук в дверь. И все было как в сказке: на пороге стоял мамин брат.

Димка

Димка был на два года старше меня. Но он нисколько не выделялся среди моих сверстников и ни на какое главенство не претендовал. Единственный раз мы почувствовали свою зависимость от него, когда он раздобыл старинный пистолет-монтекристо с изящной перламутровой рукоятью. Мы ходили на задний двор и стреляли в глухую кирпичную стену. Пульки были почти игрушечные, они щелкали по кирпичу, делая едва заметные отметины. Однако участковый прознал о нашей забаве и Димку как зачинщика и владельца пистолета водил в милицию. Там допытывались, откуда пистолет. Перламутровый монтекристо отобрали, а Димку, поругав, отпустили.

— Ну, что там было? — спрашивали мы.

— Пустяки, — равнодушно отвечал он, — я сказал, что в хламе нашел... Участковый пальцем погрозил, а так ничего...

Мы разочарованно замолчали — Димка не выглядел в этой истории героем.

И вдруг он исчез.

— Уж не случилось ли что? — забеспокоились мы на третий день, не встречая его на улице, и зашли к нему домой.

Оказалось, что Димка ушел... в армию. Ну, конечно, не в разведроту и не в танковую часть, а всего лишь в армейскую сапожную мастерскую. Но все равно он числился рядовым и стоял на армейском довольствии.

Мы поудивлялись его скрытности, а потом занялись своими делами и о нем вспоминали не часто.

Осенью он появился собственной персоной: шел, браво постукивая каблуками, а на груди у него сверкала, отражая солнце, медаль «За отвагу».

Димка посмотрел на нас и сказал покровительственно:

— Привет, земляки.

— Здравствуй, — поспешно ответили мы.

— Растете? — по-взрослому спросил он.

В его вопросе сквозило явное пренебрежение к нам, но мы старались этого не замечать.

— Ты надолго?

— В отпуск. Видите, — он потрогал медаль, — фашиста пристрелил...

— Да ну?! — хором воскликнули мы.

И тут Димка стал прежним Димкой, пропал весь его важный вид. Ему страшно хотелось рассказать, как прикончил фашиста. Он присел на бревно.

— Метель жуткая началась, мело три дня подряд... Все траншеи забило. А наши снайперы больше всего такую погоду любят. То есть не самую метель, а как только она кончится. Тогда хочешь не хочешь, а надо окопы от снега очищать. Вот тут и жди, что немец голову высунет. Упросил я сержанта Петрова взять меня с собой. Взял. Залегли мы.

Час ждем, больше... Замерзаю совсем. Уж и винтовку в сторону отложил. И вдруг видим: два немца осторожно с лопатами пробираются по брустверу, чтоб скорее в другую часть окопа проскочить. До них метров двести не было. Петров мне шепчет: «Первый мой...» Я во второго как дам — он ткнулся, лопата в сторону отскочила. Потом меня командир полка лично отметил, сыном полка назвал и медаль вручил...

Отблеск Димкиного подвига падал и на нас — ведь мы все-таки были товарищами. До самого отъезда Димки мы ходили с ним по улицам, и другие мальчишки нам завидовали, потому что у них не было такого своего Димки.

Вскоре он уехал. И больше уже не приезжал на побывку домой.

...Совсем недавно я возвращался после работы домой и неожиданно на углу Большого проспекта и Введенской услышал резкие гудки автобуса. Я оглянулся. Распахнув дверцу, ко мне тянулся... Димка. Я бросился к нему. Машины выстраивались вслед за его автобусом, шоферы нервничали и выскакивали из своих кабин. А я жал Димке руку, улыбался, и мы что-то говорили друг другу. Засвистел милиционер, подбежал ко мне.

— Ваши документы! Вы нарушаете правила...

Тут я сообразил, что мы с Димкой так ни о чем и не договорились.

— Запиши телефон! — закричал я. — 32-7...

Димка закивал и вытащил из кармана карандаш.

— Поезжай! — рявкнул милиционер.

— Запиши, — кричал я.

— Пройдемте в отделение, там разберемся, — сурово сказал милиционер.

Димка уже сворачивал за угол. Вокруг меня стояла толпа любопытных. Какая-то бабка объясняла!

— Прямо в карман — и бежать. А на вид — посмотрите — и не скажешь, да и не молодой уже...

Оправдываться было бесполезно, и я пошел с милиционером.

Я шел и думал: когда же теперь позвонит Димка?

Мопассан

В букинистических магазинах шла оживленная торговля: людям нужны были деньги. За фантастические цены у спекулянтов можно было достать кое-что из съестного.

Я любил ходить к букинистам и мог долго простоять у прилавка, разглядывая старинные издания, пахнущие кожей и особой блокадной затхлостью.

Однажды, когда я находился в магазине, в него вошла седая статная женщина. Она несла перевязанную бечевкой стопку книг. Встала в очередь и молча двигалась к оценщику, переставляя свои книги на стеклянном прилавке.

— Что у вас? — устало спросил оценщик.

— Мопассан.

— Затоварены им. Не принимаем, — равнодушно сказал человек за прилавком, не глядя на книги.

Меня словно током дернуло: Мопассан! Я ничего не читал его, но слышал от старших, что это такой писатель, такой... Одним словом, мне его читать никак еще не разрешалось.

Женщина сняла с прилавка книги и медленно тронулась к выходу, переступила порог и вышла на улицу. Я бросился за нею следом. Она остановилась на трамвайной остановке. Остановился и я. Она села в трамвай. Я тоже вскочил на подножку... Я не отдавал себе отчета, для чего все это делаю, но следовал за женщиной, не сводя глаз со стопки книг. Наконец она свернула в ворота дома.

— Простите, — отчаянно воскликнул я, — вы продаете Мопассана?

Женщина обернулась, удивленно взглянув на меня.

— Откуда ты знаешь, что это Мопассан?

— Я был в магазине... — смешался я.

— Отчего же ты не спросил там?
— Мне было неудобно.
— Почему? — она допрашивала меня, словно школьная учительница.
Я потупил глаза.
— Но почему все-таки? — настойчиво повторила она.
— Потому что он пишет... о любви, — сказал я и покраснел.
Улыбка тронула тонкие губы женщины.
— Ну и что же тебя смутило?
Я молчал.
— Чудак! Знаешь, почему мы с тобой выжили этой зимой?
— Нет.
— Потому что нас кто-то очень-очень любил. Правда?
...Я шел домой и, не понимая сути, без конца повторял сказанные ею слова.
Их значение я понял позже, когда уже давным-давно кончилась война.

Колька из Сан-Франциско

Со школами мне не везло. Только начну учиться — или бомба разорвется вблизи, стена треснет, или снаряд угодит в дом. К счастью, это случалось не в учебное время. Мы приходили утром в школу, огороженную барьером, поскольку здание находилось в угрожающем состоянии, смотрели снизу на окна нашего класса с выбитыми стеклами и шли домой. Через несколько дней начинали учиться в новом здании. За всю войну нас раз пять переводили.

Осенью сорок третьего в город вернулись первые эвакуированные. Однажды перед самым началом учебного года ко мне пришел высокий, худощавый юноша со смелым и, как мне показалось, насмешливым лицом.

— Меня из новой школы послали, надо всем собраться на уборку помещения.

Я понял, что он из новеньких. Он говорил, а я не сводил с него замороженного взгляда. Он был в тельняшке с короткими рукавами, и по всей его правой руке висла вытатуированная змея, толстая и страшная.

— Это откуда у тебя? — не выдержал я.

— А, это... — Колька (так его звали) небрежно щелкнул по голове змеи, — да в Америке сделали...

Глаза у меня расширились, и сердце застучало.

Коля Валенко только что возвратился в Ленинград. До этого он был юнгой на торговом пароходе и два раза ходил из Владивостока в Сан-Франциско. Когда кто-нибудь выражал в этом сомнение, он не сердился, а доставал из кармашка завернутую в целлулоид цветную фотографию здорового дяди в не нашей морской форме и показывал надпись.

— Читай, малыш! — снисходительно говорил он. На обороте по-английски было написано: «Русскому моряку Николаю. Твой Джон».

— Ясно? — спрашивал Колька. — Джон — мой дружок, кочегар с «Прекрасной Матильды».

Больше всего потрясло, что фотография была цветной.

Колька любил рассказывать об Америке.

— Сан-Франциско — город что надо... Пальмы растут, негры трудятся, богачи пиво попивают.

— И все у них без карточек?

— Естественно. Я, когда хотел, мог хоть банку свиной тушенки съесть.

Ну и дают!

— Что дают! — возражал Колька. — Их строй прогнивший. Им только нажать.

— Это точно, — соглашались мы и спрашивали: — А хлеб тоже свободно продается?

— А хлеб они почти и не едят. Так, ломтик с чем-нибудь. Сандвич называется.

— Их бы к нам сюда, в блокаду.
— А ни черта они б не выжили. Не привычны, — решительно махал Колька.
О Джоне он много рассказывал. И нам всем казалось, что мы его тоже знаем.
— Джон — негр, — говорил Колька.
— А почему он на снимке-то розовый?
— Чудак, — улыбался Колька, — ведь фотография цветная. Ну, все окрашено... Мы с ним из одной кружки пиво пили, а один хмырь нас увидел, поморщился и сплюнул: «Как, мол, это, с черномазым пьешь...» А я демонстрацию устроил — еще одну кружку с Джоном пополам.

Мы восхищались Колькой. Он выросал в наших глазах в великого борца за справедливость.

Колька был человеком из другого мира: он видел пальмы, негров, океан, сам вкалывал на палубе... А мы — только обстрелы, смерти, голод... И мы единодушно признали Кольку нашим верховодом. Если кто-нибудь из старших ребят приставал к нам, мы говорили:

— Кольке скажу!
— Какому Кольке? — заносчиво вопрошал тот.
— Кольке из Сан-Франциско!
— Ну иди, иди, — примирительно отступал обидчик.
С Колькой связываться ему не хотелось.

В начале сорок пятого...

Это было в начале сорок пятого. Нас, шестнадцатилетних допризывников, вызвали на медицинское освидетельствование для воинской приписки. Почти весь класс отправился в военкомат.

Там нас заставили раздеться донага, и мы смущенно ходили от врача к врачу, которые обстукивали и выслушивали наши худенькие тела.

А потом, также нагишом, мы подходили к столу, где сидела комиссия с полковником во главе.

Полковник спрашивал:

— В какой части служить желаете?

Мои товарищи называли артиллерию, флот, связь, некоторые — внутренние войска.

Когда подошла моя очередь и я предстал перед офицерами, сердце сумасшедше застучало, и я тихо произнес:

— Я — в кавалерию...

Полковник вскинул глаза:

— Куда?

— В кавалерию... — еще тише произнес я, словно стесняясь чего-то.

Полковник придвинул к себе ближе мою индивидуальную карточку, пробежал ее:

— У вас не совсем полноценное зрение. А когда эскадроны идут — пыль до небес...

— Я привыкну, товарищ полковник, — прошептал я.

— Ну, что же, — сказал он, обратившись к своим коллегам, — как поступим?

— Нам нужна в донских частях городская прослойка, — заметил один военный.

— Припишем его к донцам, — заключил полковник.

Я стоял не шелохнувшись, голый и, видимо, жалкий.

— Идите, — разрешил полковник.

— Могу считать себя принятым? — спросил я и пунцово покраснел.

— Можете, — офицеры рассмеялись.

С тех пор до самого конца войны я все ждал, что вот-вот меня вызовут и пошлют в донские казачьи части сначала на выучку, а потом... И я уже видел себя в развевающейся

бурке, с высоко поднятой над головой саблей, видел себя таким, ну, почти совсем таким, каким был мальчик-гусар, граф Петя Ростов.

Настя

Самое жестокое состояло в том, что получила Настя «похоронку» на другой день после праздника Победы.

Еще накануне достала она из сундука довоенное цветастое платье, долго разглядывала его, расправляла складки, и когда гладила утюгом, то была весела, как будто шла по зацветшему лугу.

Потом с подругами, тоже солдатками, пила в честь великого дня пахучий самогон и домой вечером пришла чуть захмелевшая, с улыбкой на губах и потянулась до хруста, словно уже чувствовала на своих плечах Васины руки.

А когда на следующее утро пришло извещение, она даже не могла плакать. Села на лавку, сразу потемнела, и черты лица приобрели внезапную резкость.

Ее не трогали в горе. И лишь недели через три вернувшиеся в деревню солдаты — кто по ранению, а кто по отпускной — явились к ней все разом. То были сверстники Василия, на фронт их брали вместе, и там они держались друг друга, служили в одной роте.

Солдаты сели за стол, неловко стукнули о стол бутылкой вина, помолчали. И принялись вспоминать, как ходили в атаку под Мгой, как вязли в лесной болотистой топи, как спали в промерзших окопах.

Белесый и сухощавый Емельян, устроив поудобней свою ногу на протезе, рассказывал, как однажды его и Василия, отправившихся в разведку, обнаружили немцы и открыли по ним огонь и как Василий его, Емельяна, обалдевшего от страха, вдавливал в землю.

И Настя вдруг почувствовала, что ей впервые полегчало за эти недели. Слушая рассказы, она видела Василия живым, как всегда расторопным и ловким.

Время шло. Через год вышла Настя замуж за Емельяна. И не то чтобы большая любовь родилась у нее, а просто каждая женщина тянется к чему-то надежному и доброму.

Они жили спокойно. Растили дочь. Емельян работал конюхом, он имел к лошадям свой подход. Лошади у него были ладными и чистыми.

С годами все чаще донимали Емельяна старые раны, и тогда Настя грела в печи воду и теплой водой пыталась унять его боль.

Совсем недавно, в снежном и ясном январе, Емельян умер. За несколько дней до смерти он начал таять на глазах. А когда, встав поутру, сказал: «Не пойду к лошадям. Неможется что-то», — Настя всполошилась. Она хотела сходить за фельдшером, но Емельян остановил ее, слабо улыбнулся: «Как помру, угости мужиков допьяна».

В ту ночь его не стало.

Товарищи Емельяна собрались у Насти дня через три — заматеревшие, с лысыми и седыми головами, с глубокими морщинами на лице.

Они сидели пригорюнившись за столом и вспоминали свою жизнь, ту, далекую, юную, вспоминали так, будто все происходило только вчера. Как ходили с Емельяном в атаку да какой он оказался боевой, когда не растерялся и швырнул гранату под лязгающие гусеницы фашистской машины.

— Мы тогда в березовой роще залегли, — рассказывал плотник Василий Иванович, — а слева танки...

— Да не слева, а вточь на нас прямо пошли, — перебил его лесник Александр Васильевич.

И они разом говорили о танковой атаке, спорили, а Настя слушала их, и ей становилось легче, потому что снова видела и Емельяна, и Василия — каждого из них она по-своему любила на своем бабьем веку — молодыми, храбрыми, готовыми запросто сотворить чудеса.

Вечное эхо войны

Бабка Анна жила на отшибе, возле сосняка, в избе, срубленной еще тридцать лет назад. Но изба была крепкая, бревна добротные.

Доживала она свой семьдесят пятый год.

Муж погиб давно, еще в коллективизацию, — чья-то шальная пуля задела в темноте. А сын...

А сын, молоденький девятнадцатилетний лейтенант, пропал без вести в сорок первом году, во время ожесточенных боев под Псковом.

Когда мать получила извещение, то не заплакала, она сняла со стены фотографию, на которой сын, в белой рубашке, с развевающимися на ветру волосами, выглядел совсем мальчиком, и долго не спускала с него глаз.

Когда соседка, узнав, пришла утешить ее на следующий день, она все еще сидела за столом с портретом в руках.

— Что утешаешь? — спокойно сказала она. — Живой он! Пропал — так объявится. Смотри, совсем мальчонка! Как же его убить можно, если он не вырос еще!

Мать продолжала жить так, как будто Ванечка непременно должен вернуться.

Пол-огорода у нее было маком засеяно. Объясняла: Мой Ванечка так пироги с маком любит. На всю зиму запасу...

В подполе хранила она и поллитровку.

— Из дому ушел — вином не умел баловаться. А теперь уже большой стал.

Как-то собрала она штатскую одежду сына, отправилась за шесть километров в райцентр, пришла в ателье, выложила брюки, пиджак, пальтишко, попросила:

— Расставить бы надо... Сын из дома уходил — мальчонкой был... Не налезет теперь...

Мастер чуть натянул брюки — материал пополз.

— Рухлядь, мамаша. Новое справлять пора...

Мать заплакала, и тогда портной сказал:

— Ну вот разве что пальто.

Он расширил его в плечах и талии, и мать, повесив пальто дома на распялку, обрадовалась — она была уверена, что ее Ваня давно уже стал широкогрудым и кряжистым.

Прошло пять лет.

И еще пять...

И еще пять...

Ее слепая уверенность в том, что сын объявится, что он еще придет, не ослабевала со временем. Может быть, она и жила потому, что ждала и верила во встречу с ним.

Ночью приходили к ней тревожные мысли. Она считала, сколько лет ныне ее Ванечке, и насчитывала тридцать пять. И боялась, что за пятнадцать лет он так изменился, что она может его не узнать: а вдруг полысел, усы отпустил или еще что...

Она никогда не спрашивала себя: «А где он?» — ей казалось, что нечто смутное, важное и цепкое держит его, но он обязательно вырвется и приедет к ней.

В теплые дни она выходила на шоссе, садилась на скамейку у автобусной остановки и часами разглядывала людей. Она смотрела не на женщин, не на молодых парней, а лишь на мужчин и думала: «Ведь что такое тридцать пять лет? Самый сок... И Ванечка мой теперь такой». Она гадала, с какой стороны он придет к ней. Ей чудилось, что приедет он непременно на автобусе и выйдет здесь, на остановке, вместе с другими мужчинами, здоровый, сильный, пропахший бензином, сосновой стружкой и махоркой... А иногда ей казалось, что Ванечка приедет с женой, и они, свекровь и невестка, понравятся друг другу, а потом она подарит невестке синий гарусный платок, который лежал у нее в сундуке со дней молодости. Дом ее стоял при дороге, и нередко к ней заглядывали прохожие —

попить воды, от дождя укрыться, просто передохнуть. Она всегда принимала их приветливо и трепетно вглядывалась в лица: а вдруг сын!

Однажды в метельный январь раздался топот на крыльце, и мужской голос прокричал: — Откройте, кто живой есть!

Мать вышла в сени, распахнула дверь и увидела на пороге мужчину в кепке, в рабочей куртке.

— Мамаша, пусти погреться. Отстал от своих, от машины...

Гость стянул кепку, волосы в беспорядке торчали на голове, лицо осунувшееся, в уголках рта резкие морщины. Он потянулся к печке и прижался ладонями к ней. Мать спросила медленно:

— Как звать-то?

— Иваном, — ответил мужчина, не оборачиваясь.

И все внутри у матери захолонуло.

Она так давно ждала встречи, что у нее не хватило сил больше ждать и в этот миг могла думать только о том, что встреча настала.

— Подожди, — сказала она пересохшими губами, спустилась в подпол и поставила на стол бутылку, заметенную пылью и паутиной.

— Да у тебя, мать, вино марочное, — засмеялся Иван. Он налил стакан и выпил, не морщась.

— Пить научился, — жалостно сказала мать, но тут же спохватилась и добавила: — Да я так. Ведь с мороза ты.

— Точно, с мороза, мать.

— А что налегке? — спросила она, трогая куртку.

— Разве думал, что отстану. На машине — разом до стройки. Нефть, мать, открыли. Скважины бурить будем. Надолго теперь сюда.

Мать не поняла всего, что он сказал, но одно слово — «надолго» — затмило другие слова.

— Надолго. Значит, и похоронишь теперь меня, — почти весело сказала она.

— Зачем умирать, — всплеснул руками Иван. — Вышки поставим, такой город здесь отгрохаем!

Мать смотрела на него и старалась найти в нем что-то от ее далекого Ванюшки, но ей трудно было уловить связь.

Через час Иван спохватился.

— Пора, мать, ищут меня, наверно.

Она засуетилась, бросилась к сундуку, открыла его скрипучую крышку и достала пальто.

— Надень, Ваня, стужа-то какая.

— И то давай, мать, занесу на днях.

Он надел пальто, оно оказалось ему впору.

— Порядок! — Он уже взялся за скобу двери, когда мать, всполошившись, крикнула:

— Приходи скорей! Я тебе пирогов с маком напеку!

— С маком! Да ну! Страсть охота, — Иван широко улыбнулся. — У меня мамка тоже большая мастерица пироги печь.

Анне стало горько оттого, что другую женщину он назвал своей матерью, но она уже сознавала, что случайный гость не ее сын. Но все равно у нее было не по-обычному хорошо на душе — ведь и ее Иван стал таким же большим, сильным, тридцатипятилетним, и где-то он так же широко улыбается людям и сидит у отзывчивых чужих матерей. «Ведь не может же человек без вести пропасть, — в бесчисленный раз наивно и упрямо подумала она, — люди обязательно находятся».

— А я леденцов из райцентра привезу! Любишь, мать? — уже с крыльца отозвался Иван.

И мать вспомнила, что действительно, когда была помоложе, очень любила леденцы, а потом по старости позабыла о них. И она заплакала счастливо, безудержно, как не плакала уже много лет.

Она сняла со стены портрет Вани и долго всматривалась в его лицо, простое и юное, и сердце ее было переполнено той фанатической материнской любовью, которая заставляет уверовать в самое несбыточное.

Жизнь Коськи Морева

Раздался телефонный звонок. Я снял трубку. Голос был незнакомый, но, когда мой собеседник представился, у меня перехватило дыхание.

— Коська! Ты жив!

— Жив... — прозвучало в трубке, словно из надоблачной выси.

— Немедленно приезжай! Где ты?

Я не удивился, если б Коська сказал: «На Марсе...» Но он ответил обыденно:

— Проездом в Ленинграде... Сейчас — угол Невского и Литейного.

Я положил трубку и взволнованно воскликнул:

— Коська Морев едет, мой довоенный друг... Если б ты знала, — обратился я к жене, — какая это умница!

— Сколько лет ты его не видел? — спросила она.

— Тридцать!

— За эти годы он мог превратиться в кого угодно... Даже в заурядного громилу. А ты всех к себе сразу зовешь.

Ее слова испортили мне настроение, я закрылся в кабинете и стал ждать Коську.

Мы дружили с ним в четвертом и пятом классах. Правда, наша дружба потихоньку остывала, потому что Коська интересовался техникой, мастерил какие-то приборы, а я к его занятиям оставался равнодушным.

Отец мой мечтал, чтобы я пошел по его стопам. Он купил мне инструменты — тиски, пилки, лобзики. Выпиливание лобзиком меня сначала увлекло. Я выпилил из фанеры человечка. Отец застал меня за тем, как я раскрашивал его масляными красками: розовые щечки, синие брови, черные глаза...

— Почему ты не выпиливаешь? Занимаешься ерундой.

— Почему ерундой? Это так интересно...

Отец пожал плечами, отошел от меня. Вскоре я спрятал инструменты на полке в коридоре, где они пылились и ржавели.

Но все равно мы с Коськой Моревым дружили. Ведь кроме динамо-машин и радиодеталей, были еще гранитные камушки, которыми мы сбивали кленовые листья, бег наперегонки по аллеям школьного сада, катание на трамвайной «колбасе».

Коська вытянулся перед войной, девичий румянец не сходил с его щек, в глазах появилась дерзость.

...Как-то в декабре 41-го вечером к нам постучали в дверь. Мама открыла. На пороге стояла незнакомая женщина в черном, а рядом с ней фигура, закутанная в шаль и тряпье.

— Вам кого? — спросила мама, отступая назад.

— Это — я, а это — Костя, — тоненько сказала женщина.

Мы взгляделись и скорее догадались, что это Коська с матерью, чем узнали их. Наши матери были знакомы. Когда Коська раскрутил шаль, я увидел вытянувшееся лицо, выцветшие глаза, только волосы остались у него прежнего цвета — соломенные.

— Мы умираем, — спокойным голосом сказала Коськина мать. — Отец уже умер... Костю бы лишь спасти...

Она продолжала говорить с ледящим душу спокойствием, но это спокойствие шло от ее полного физического бессилия. Все, что в ней оставалось разумного и живого, было направлено на одно — уберечь сына от смерти.

Мы прошли в комнату к топящейся «буржуйке». Коська с матерью сели не раздеваясь.

История их была такова. Когда началась блокада и продуктовый паек стал уменьшаться, они сначала не ощутили острой перемены. Дома оказалась крупа, много сахара — купили для варенья, — консервы... Ели досыта, не думая о завтрашнем дне. Думали, блокада временна — еще немножко, еще чуть-чуть, и все встанет на свои места. Но однажды запасы кончились. Мать с отцом заметались, ища выход. Понесли на толкучку золотые вещи, сменять их на продукты. Но лишь промерзли, воротились ни с чем.

...Отец не выдержал. Однажды после работы лег в кровать и уже не смог подняться. Коська с матерью запеленали ссохшееся тело в крахмальную довоенную простыню и на саночках повезли в больницу Эрисмана, где находился морг.

...Однажды Коська зашел в магазин, встал у прилавка и начал смотреть, как продавец отвешивает хлеб, как дрожащими руками осторожно опускают его люди на дно кошелок. Взгляд Коськи остановился на старухе в войлочном башлыке и в валенках с галошами. Ей отвесили иждивенческую норму — узкий ломток хлеба. И вдруг сверху ломток продавец взгромоздил довесок — остроугольную, с зазубринами корку. Коська впился взглядом в этот довесок, он притягивал его, как огромный магнит... Магазин исчез, исчезли люди, исчезла старуха — в дымчатом воздухе только покачивался и плыл этот довесок, он увеличивался, и зазубринки увеличивались... Коська рванулся, схватил довесок, сунул его в рот и стал жевать... Его ударили, он съежился, но жевать не перестал. Его ударили снова, сбили с ног, стали пинать... «Вор! Бандит!..» Он сжимался от ударов. Удары были несильные — видимо, били ногами, обутыми в валенки. Он старался дожевать хлеб и проглотить, а там что будет... Наконец кто-то властно оторвал его от каменного пола. Коська увидел перед собой лицо милиционера. Он был немолод, усы в инее.

— Ну, пошли... — милиционер пропустил его вперед.

Он отвел его домой, повернулся и ушел, ничего не сказав.

Через несколько дней, стоя на тротуаре, Коська увидел, как из-за угла выползает военная грузовая машина с крытым верхом, с хлопающей на ветру брезентовой занавеской. Он напряг все силы и, когда машина проходила мимо, с кошачьей ловкостью прыгнул, уцепился за борт и запустил руку в кузов. Схватил стеклянную банку. Сорвался с борта, упал вместе с банкой на мостовую. Банка разбилась вдребезги, и зеленые влажные горошинки запрыгали по ледяному булыжнику. Двое прохожих бросились вместе с Коськой собирать рассыпавшийся горох и тут же отправляли его, смешанный с битым стеклом и дорожной грязью, в рот. Отплевывались, но снова искали горошины и поспешно глотали их. Домой Коська пришел с порезанными губами, зажав в горсти десятка полтора горошин для матери.

Теперь он сидел безучастно, протянув ладони к «буржуйке», грелся.

— Я к вам пришла, — это, наверно, странно. Мы ведь с вами едва знакомы, — сказала Коськина мать, — но у меня никого уже нет: ни родных, ни близких... Наши сыновья дружили до войны — это последняя ниточка, за которую я хватаюсь...

Мама моя, несмотря ни на что, сохраняла бодрость духа. Но и она сейчас не знала, что тут можно сделать? Пристально посмотрев на Коську, она встала и сказала строго:

— А ведь ты запаршивел.

Коська удивленно взглянул на нее и кивнул головой:

— Запаршивел.

— Раздевайся, — скомандовала мама и принесла таз и воду.

Коське вымыли голову, и он заметно оживился. Оживилась и его мать. Оба почувствовали мамину деятельную натуру, и в них шевельнулась надежда.

Сидели молча. Коська сушил у печи волосы. Мама думала.

— Вот что, — неторопливо начала она, посмотрев в лицо Коськиной матери, — я положу вас к себе в больницу... Завтра к десяти утра, — она обернулась к Коське, — привезешь мать и оставишь на скамье у приемного покоя. Сам сразу уходи. Я к этому часу выйду и распоряджусь, чтобы больную приняли. Вы в таком состоянии, — она снова посмотрела на Коськину мать, — что вас не могут не принять... А карточки вы оставите сыну... Отметим, что утеряны, когда поступите в больницу...

Коськина мать вздрогнула, словно от икоты, но на глазах у нее появились слезы, и я понял, что это не икота.

Теперь Коська жил один, получал двойную порцию хлеба, крупы... Каждую декаду, выкупив паек, носил матери масло и сахар, что полагалось по ее карточке. Заставлял съедать.

Однажды он пришел, как всегда, в начале декады. Ему сказали в приемном покое:

— Умерла... Возьмите справку.

— Где она?

— На Серафимовском, в братской...

Когда мы с мамой наведались к Коське, соседка только руками развела:

— Собрал чемодан и ушел... Куда, не знаю...

Мы еще раза два к нему заходили, но он больше дома не появлялся. Что с ним случилось дальше, я узнал лишь теперь.

Коська определился в детский дом и жил в нем несколько месяцев. Ребятишки там питались впроголодь, но все-таки Коська был не один. К весне стали промышлять воробьев. Из рогаток били.

Так велико было желание есть, что с какой-то обостренной точностью стреляли и попадали. Маленькие взъерошенные комочки тут же ошипывали, жарили на костре...

Весной детдом эвакуировали через Ладогу. Плыли по чистой воде — лишь кое-где тянулись серые льдины. Навстречу попался буксир с баржами, груженными мешками. Вдруг из-за облаков вынырнули немецкие самолеты. Они устремились к баржам. Буксир отцепил трос и рванулся в сторону. Безлюдные баржи величаво покачивались на волнах. Первая бомба угодила в середину каравана. В небо взметнулся белый столб — в мешках везли муку осажденному городу. Еще один заход — и снова взлетела мука в воздух, оседая на всей водной шире.

Коська смотрел, как фашисты вспарывали мешки, и недетская ненависть перекашивала его лицо. Он-то знал, что в этих мешках заключены человеческие жизни.

Когда они пристали к берегу, их повели в столовую. Дежурный следил, чтобы дети не переели. Но Коська, проявив ловкость, сумел достать и съесть шесть порций каши. Потом долго сидел на скамье, отходил, прислушивался, как каша бурлила и перекачивалась в животе. Позднее удивлялся, что на том свете не оказался.

Детей отправили в Ивановскую область, в деревню. Первое, что сделали мальчишки, — это общипали молодой лук на колхозном поле. Наутро ждали расправы, но крестьяне слова не сказали, жалели их, знали — не от баловства они, а просто еще не отошли с голодухи.

Стал Коська родственников разыскивать. Отец родом из Ярославской области был. И нашел.

Распрощался с детдомовцами, тронулся на ближайшую станцию, чтобы к родным ехать.

На станции выстоял длинную очередь, протянул в кассу мятые десятки.

— Командировку, — не глядя сказала кассирша.

— У меня нет.

— Без командировки билет не продается, — буркнула кассирша.

Коська в растерянности отошел от кассы. Хотелось есть. Еду, которую ему выдали в дорогу, он съел, выйдя за околицу деревни. В углу зала ожидания трое подростков доставали из домотканого холщового мешка большие желтые лепешки, разламывали, смачно жевали. Коська не выдержал, подошел к ним и сказал с деланной небрежностью:

— Дайте кусманчик, пацаны!

Старший оторвал лепешку ото рта, сунул обратно в мешок и, прижав его к себе, спросил:

— Задарма каждый захочет. А ты нам что?

Есть хотелось нестерпимо. Коська вспомнил, что у него в чемодане есть бронзовый старинный компас — последняя память о доме. Он протянул его.

— Все части света указывает.

Ребята разглядывали компас, дивились, как стрелки движутся, потом старший сказал:

— Честь по чести. У нас десять лепешек. Все отдадим. Да еще медку пол банки. Пол банки себе оставим.

Возле вокзала, в кустарнике, Коська съел три лепешки, густо залив их медом. Сразу почувствовал себя решительней и сильнее. Подумал: «Пойду-ка пешком до следующей станции, может, там порядки иные...» Двинулся по железнодорожному полотну.

Перепрыгивая со шпалы на шпалу, подставляя теплomu августовскому солнцу лицо, радовался, что у него про запас есть еще семь лепешек с медом.

На новой станции повторилось то же самое. Кассирша взглянула на него и произнесла устало:

— Надо со взрослыми ездить.

— А у меня взрослых нет, — пояснил Коська.

— Я за нарушение проездного режима могу с работы вылететь... Пойди-ка ты в милицию...

Старшина выслушал его, повертел справку, выданную детдомом, махнул рукой:

— Заменяет командировочное. Кати, малыш!

Так Коська через сутки оказался в Ярославской области у родни. Жил он там всю войну, в школе учился. После войны дядька сказал ему:

— Ты у нас как свой сын. А только негоже тебе отцову площадь в Ленинграде терять.

Махнем туда да разберемся, что к чему.

В Ленинграде в его комнате поселился молодой научный работник по фамилии Бережков. Он вежливо встретил Коську с дядей, спокойно сказал:

— Судитесь со мной. Куда я выеду? Мой дом разрушен.

Четыре раза с переменным успехом судился Коська по все возрастающей инстанции; то он выигрывал дело, то Бережков.

Между тем Коська закончил школу, поступил в Политехнический институт в Ленинграде и, живя там в общежитии, все судился. Суд в последней инстанции решил оставить комнату Бережкову, поскольку Морев живет в общежитии и по окончании института как молодой специалист будет направлен на работу, где ему и предоставят жилплощадь.

Коська особенно не огорчился, потому что надоело ему сутяжничать, да и в институте стали на него косо смотреть: «Что, мол, за студент — все судится да судится...»

Написал Коська диплом. И надо же было так случиться, что оппонентом у него оказался тот самый научный работник Бережков. Защита прошла отлично, и не без содействия Бережкова Коську направили в Петрозаводск.

Двадцать лет живет он в этом городе. И нисколько не похож на довоенного Коську: волосы потемнели, на макушке лысина, в уголках рта — продольные морщины. А начнет говорить — и сквозь уже немолодые черты проступает прежний Коська: круглоглазый, и наивный, и очень сосредоточенный...

— А где сейчас ты работаешь? — спросил я.

— Главным инженером... — Он назвал одно из предприятий Петрозаводска.

Путь через всю жизнь

Июль сорок первого. Меня со школой эвакуировали на юг Ленинградской области, в деревню Фелистово, что под Боровичами. Там я прожил около полумесяца, а потом приехала за мной мама и увезла обратно в Ленинград.

Немцы наступали. Кольцо вокруг города замкнулось. Началась блокада.

Всего две недели провел я в Фелистове, но воспоминания об этих днях живут в моей душе и поныне.

Не раз собирался я поехать в те места. Откладывал. Отвлекали дела. Жизнь уводила по другим дорогам.

И вот наконец вместе с женой и товарищем, у которого своя машина, я еду туда.

Осенняя пасмурная погода. В придорожных канавах вода пузырится, как будто ее кипятят. От сильного дождя леса оголяются мгновенно, сбитые листья падают в лужи и плавают в них, растерянно тычась один о другой. Даже вороны кричат хрипло, простуженно, а когда слетают с кустов, то сначала стряхивают с крыльев тяжелые капли.

Зачем я еду?

Жена не очень задумывается над причиной поездки, она привыкла к моим неожиданным маршрутам.

Товарищ вежлив и подчеркнуто бодр, но я чувствую — он мысленно ругает себя, что решил ехать по расплывшимся проселочным дорогам.

В Фелистове меня никто не ждет, я никого не запомнил из местных жителей, но меня тянет неудержимо в эту дальнюю деревушку.

Я еду из-за мамы. Она умерла восемь лет назад.

Мое детство до войны было безоблачно и прекрасно. Мама работала врачом и обычно с середины весны до осени уезжала со мной в какой-нибудь южный санаторий, где лечила больных, а я жил вместе с ней. Поэтому из довоенного детства мне больше всего запомнились темные стрелы кипарисов, устремленные в небо; магнолии в нежном цвету; море, фосфоресцирующее ночью; плоские камушки — я швыряю их навстречу волне; студенистые медузы, выброшенные на берег. И рядом со всем этим богатством — мама, улыбающаяся, веселая, сверкающая восточной красотой, она из семьи горцев, из деревни Бист, что гнездится среди скал.

Война изменила жизнь бесповоротно.

В один из летних дней нас, школьников, посадили в поезд и под присмотром учителей повезли от бомбежек и войны.

В Фелистово машины не могли пройти по расхлябанным дорогам, и последние километры шли пешком, а вещи погрузили на подводы. Мы радовались всякой новизне. Мельницы, еще сохранившиеся у реки; густые леса, подходившие к воде темной чащей; гуси, такие важные, будто их «предки» взаправду спасли Рим, — все завладевало мальчишеским воображением.

Расселили нас по крестьянским домам. По несколько человек в избе. Никому особого дела до нас не было — только что взяли в армию мужчин, и женщины обостренно тоскливо переживали разлуку.

Мы бродили по окрестностям, ловили раков, помогали полоть свеклу на полях и с несокрушимой верой ждали дня, когда наконец наши войска повернут и погонят фашистов.

Однажды, лакомясь молодым горохом, я ушел далеко от деревни и, свернув за речную излучину, встретил Тоню. Она училась вместе со мной, но поступила в нашу школу недавно. Ей исполнилось четырнадцать лет — она была на два года старше меня. Говорили, что она уже целуется с мальчишками, и я смотрел на нее с каким-то чувством робкого любопытства.

И вот она — не в стайке подружек, а одна, тоненькая, с прямыми темными волосами, с глазами лукавыми и насмешливыми. Я остановился. «Ты чего?» — по-женски капризно

спросила она. Я молча стал выбирать и срывать раздутые от горошин стручки. Тоня стояла в стороне и покусывала травинку. «Тебе уже пора убрать челку. Ты вырос», — спокойно, словно над чем-то раздумывая, произнесла она. Я вздрогнул от ее голоса, и слова ее словно не дошли до меня. Я сунул ей пригоршню стручков, моя рука коснулась ее ладошки, и она слегка пожала мне пальцы. «Давай вместе есть», — предложила Тоня, но я покраснел и, буркнув! «Я уже поел», — пошел вдоль реки обратно. «Ну и дурак!» — звонко крикнула она вслед. Я даже не обернулся. Я шел как потерянный, потому что чувствовал — девочка одержала верх надо мной, а почему одержала, понять не мог.

Еще мне запомнился пожар. Горел сарай у реки, люди вытянулись цепочкой, передавая от берега ведра с водой. И Тоня была рядом, раскрасневшаяся, быстрая, бадейки мелькали в ее руках, и она, поворачиваясь ко мне, кричала! «Ну, давай! Чего ждешь!» — хотя я и не задерживал ведра. Мы потушили пожар до того, как на конях прискакали пожарные. Им осталось только растащить баграми дымящиеся бревна. Начальник их хлопнул брезентовыми рукавицами и сказал негромко, глядя на нашу Тоню: «Ну, девчата, вам теперь самим и тушить, и...» Он недосказал, пошел к лошадям. «А вы куда же, дядя?» — спросил я. Он посмотрел на меня и ответил серьезно: «На фронт мы...»

Через несколько дней я простудился и заболел. У меня поднялась температура, я лежал на матрасе возле русской печи, глотая взятые из дома таблетки. Состояние мое не улучшалось, и тогда моей маме написали, что я болен.

Она вымолила у главного врача больницы отпуск на несколько дней и отправилась ко мне. Ехала в теплушке, в кузове дребезжащего грузовика, потом на крестьянских подводах, брела пешком...

Она явилась в Фелистово вечером. Я лежал, кутаясь в одеяло, и смотрел снизу вверх в окно, где бледнело и исчезало солнце. Мама вбежала в избу, упала на колени, потому что я лежал на полу, обняла меня, заплакала и сказала только: «Сын мой!» У нее осунулось лицо, рукав платья разорвался, на ногах были грубые и крепкие башмаки, и пахло от нее не тонкими духами, которые она любила, а чем-то крестьянским — свежим сеном, домотканым холстом... Она улыбалась мало, словно потеряла свою улыбку на дорогах, пока ехала ко мне, и в ней почти ничего не осталось от той солнечной молодой женщины, какой всегда была до войны. Она выглядела суровой, посидела со мной недолго и пошла искать подводу, чтобы наутро мы смогли отправиться на станцию. Она привезла с собой сахар, за который тогда в деревне отдавали что угодно, и вскоре договорилась о лошади.

Утром, едва сошел туман с поля, к избе подъехала возница, и мама принялась укутывать меня, заматывать шарфом горло, налила в термос горячее молоко.

Все еще спали, когда мы тронулись. У одной избы скрипнула калигга, и тоненькая фигурка появилась у дороги. «Здравствуйте!» — сказала Тоня. «Здравствуй, девочка!» — ответила мама, быстро взглянув на нее. «Вы его увозите? У вас очень хороший мальчик», — совсем по-взрослому сказала Тоня. «Да-да...» — как-то рассеянно проговорила мама, видно занятая своими мыслями. Тоня махнула мне рукой и пошла обратно в дом, придерживая на ходу небрежно накинутое на плечи пальтишко. А я только поморгал ресницами, потому что, скованный шарфами, не мог пошевелиться.

Лошадь оказалась заморенной, тощей, и возница разрешил сесть на телегу лишь мне. Сам он пошел рядом с лошадей, а мама — сзади, положив руку на край телеги. Она была маленького роста, моя мама, и шаг у нее был мелкий, поэтому ей приходилось иногда бежать, особенно когда лошадь спускалась с холма, но на это мама не обращала внимания.

Она смотрела только на меня, когда телегу на ухабах качало, спрашивала голосом твердым и ровным; «Тебе не хуже?» — трогала мой лоб и зачем-то откидывала мне волосы со лба.

Иногда она спотыкалась о твердые куски глины, но, даже теряя равновесие и хватаясь двумя руками за край телеги, чтобы не упасть, смотрела на меня.

У меня горело лицо, я дремал, но, несмотря на дремоту, на болезненное состояние, с каким-то недетским удивлением думал о маленькой женщине, которая шла за подводой.

Она была так не похожа на ту, с которой я ездил на юг, ходил в цирк, ел в кафе слоеные пирожки. Мама — рядом, и мне становилось покойно, меня не пугали ни болезни, ни бомбежки, столько силы излучало ее лицо. «Ты ничего не бойся, — говорил ее взгляд, — я с тобой, и значит, все в порядке». — «Я ничего не боюсь», — отвечал мой взгляд, и мне хотелось спать потому, что слаб, и еще потому, что верил в ее оберегающую силу.

Я заснул. Сколько спал — не знаю, но когда проснулся, все так же покачивалась телега, шумели леса вдоль пути и все так же, не отрывая от меня глаз, шагала мама. Прядь ее черных волос прилипла к потному лбу. «Мама, — сказал я, и мой голос был, наверно, так необычен, что она встрепенулась и спросила тревожно: «Что с тобой?.. Тебе хуже?..» — «Нет, не хуже... Знаешь, мне очень хорошо... Я тебя очень, очень люблю...» — «Ну что ты! Ну что ты! — скороговоркой произнесла она, впервые отворачиваясь от меня в сторону и шепча: — Ты еще потерпи... Скоро станция...»

...Машина выскакивает из хвойного леса, и на покатых холмах виднеется вдали Фелистово. Я выхожу из машины и иду пешком.

Дождь перестал, небо не в тучах, а в матово-бледных облаках, и земля лежит утомленная, спокойная. Избы стали еще темней от влаги. Я иду медленно, вглядываясь в каждый кустик, деревцо, дом. Вон в низине река, а там, где сейчас черные глыбы вспаханного поля, наверно, рос горох, тот самый горох...

Две пожилые женщины, присматриваясь, идут навстречу.

— Здравствуйте! Не сродник ли кому?

— Нет... В начале войны ленинградских ребятишек у вас селили...

— Как же! — восклицает одна. — Я еще для них матрасики сенцом набивала — трудодни за это писались...

— Вот я один из них...

— Милой, — всплескивает руками женщина, — жив остался!

Объясняю, что жил во втором доме от околицы.

— Ну! Ну! У Анны Сивцевой! Избы-то уже нету. Хозяева уехали. Сруб продали и свезли его, а годы землю пригладили.

Я все-таки иду туда, к месту, где стоял дом Анны Сивцевой.

Два клена, могучих, с обшарпанной и пористой корой; полынь, пожухлая, осенняя; чертополох, жесткий, еще крепкий; какая-то сорная неумная трава... Я не отрываю глаз от земли и вдруг различаю узенький бугорок, крохи кирпича, чуть прибеленные известью. Конечно, здесь высилась печь! Вот здесь, у ее правого угла, лежал мой матрас, а там, где сейчас ржавая мокрая крапива, стояла на коленях мама.

Здесь было крыльцо. С какой порывистостью вбежала на него мама, зная, что в двух шагах ее больной сын!.. Слезы навертываются на глаза, и, чтобы скрыть их, я смотрю в сторону и спрашиваю женщин:

— А начальник пожарной команды тут жил, где он?

— Петруша-то, Петруша, племянничек мой, и он не возвратим шксь. Всего-то четверо мужиков ошамшились у нас от войны...

— А я вроде бы вас припоминаю... Вы и тогда такой полненький были, — неожиданно говорит другая женщина.

Я пожимаю плечами.

Вечером в клубе главной усадьбы отмечали праздник урожая. А заодно привечали и меня. Радушно и сердечно. Не только меня, но и мою жену посадили в президиум, и она сидела там чинно и деловито, как будто всю жизнь провела в президиумах.

...Я проснулся на рассвете, оделся и вышел на улицу. Было сухо, ясно, ветрено. Я прошел по тропке вдоль села, выбрался за околицу и оказался на той самой проселочной дороге. Мне казалось, что она не изменилась. Такие же глинистые увалы по ее бокам, такая же она норовистая — то вверх, то вниз. Колеи старинные, глубоко ушедшие в землю.

А кругом прозрачная осенняя даль. Рыжие острова лесов, вымытые дождями ели. У самого выезда из деревни — береза, старая, с тонкими оголенными ветками, которыми беспомощно трясет она в прохладный утренний час. У нее, наверно, уже много годовых колец, у этой березы. И если бы кольца ее, как долгоиграющая пластинка, могли издавать звуки, я бы просил березу дать мне услышать звуки давнего июльского дня: скрип телеги, шуршание глинистых комочков, размолотых колесами, понукание возницы, мое хриплое дыхание. И стук низких твердых каблуков моей мамы... Но береза молчит, а я с беспощадной ясностью вижу маму, ее волосы, разметавшиеся по плечам; чувствую теплоту ее пальцев, поправляющих шарф. Я иду по дороге все дальше и дальше, вглядываюсь в камушки, лужицы, глинистые комки — может быть, ступаю по маминым следам...

Я, наверно, далеко бы ушел, но услышал, что меня зовут. Повернул обратно и, возвращаясь, думал, что, несмотря на свою немалую жизнь, все-таки не испытал в ней главного — я ни за кем не шел так, как шла по этой дороге моя мать, с такой полной самоотдачей сердца.

Вера. Надежда. Любовь

Они жили вдвоем, мать и сын. Мать работала в больнице врачом, а сын учился в школе.

И когда началась война, а потом ленинградская блокада, внешне в их жизни мало что изменилось: сын ходил в школу, мать на работу.

Но позже, когда вместе с суровой стужей, обстрелами в город ворвался и голод, люди, обессиленные и удрученные, стали искать свое спасение во всем, в том числе и в надежде на чудодейственную медицину.

Первым зашел к матери домоуправ Павел Иванович. Он стерег полупустое здание, в котором жило уже лишь несколько семейств. Квартиры, полные мебели и всякого добра, обезлюдели, их хозяева — кто умер, кто эвакуировался.

— Спасайте, — взмолился Павел Иванович, — хоть пианино из третьей, хоть красного дерева трюмо из шестой возьмите, дайте порошков каких. Ноги у жены опухли, как столбы... Ступить не может.

Человеческое отчаянье застилало порою людям глаза, и мать не обижалась на предложение домоуправа. Она знала: водянка — следствие голода, и никакие порошки не помогут. Но в мать верили, хватались за ее науку, как за спасательный пояс.

— Дайте ей теплый хвойный отвар. Вы же сами знаете, Павел Иванович, не в порошках дело...

Управдом кивал высохшей пегой головой, а назавтра, страдая при виде изнемогшей жены, снова стучался к матери и умолял:

— Ну что-нибудь, ну что-нибудь — кровь бы ей разогнать, чтоб кровь задвигалась...

Учительница немецкого языка из школы сына пришла к матери в больницу. Она едва передвигалась, кожа лица напоминала старый пергамент. Учительница просила положить ее в больницу, хотя проживала в другом районе. Стараясь задобрить мать, она жалко и беспомощно повторяла:

— У вас такой способный сын... Я вот чуть-чуть оправлюсь, и мы с ним так займемся, что он лучше меня говорить станет... Право, лучше, — убеждала она, и оставшаяся энергия еще вспыхивала искоркой в глубине ее глаз. Что могла сделать мать, когда палаты были переполнены и больные, истощавшие до крайности, в большинстве своем пополняли морг.

Мать переживала за своих больных, лежавших в палате, как за родных людей. Она вставала чуть свет, прибиралась ло дому, готовила скудную еду сыну и еще затемно отправлялась на работу, потому что трамваи, вмерзшие в сугробы, стояли. Продрогшая, невыспавшаяся, закутанная в одежду, она приходила к себе в кабинет и, не раздеваясь,

протягивала руки к печурке, оттаивая и набираясь сил. Потом она медленно раздевалась, доставала из шкафа белоснежный халат, накрахмаленный и хрустящий, и надевала его. Она садилась за стол и, наклонясь, принималась массировать лицо, стараясь придать ему оживленный вид. Через минуту она должна была войти в палату к больным, и в мгновения мать преображалась: у нее появлялось веселое, задорное выражение лица, брови энергично вскидывались и вся ее небольшая фигура в белом халате излучала какую-то уверенность. Щелкали дробно каблучки, она распахивала дверь палаты, и ее голос звенел:

— Доброе утро, голубушки!

Больные уже ждали ее прихода, они неуклюже ворочались, высвобождая лицо и руки из-под одеял и вразнобой тянули:

— До-о-о-ктор... Здравствуйте... — и кто-нибудь обязательно добавлял слезливо: — Спасительница наша...

Их можно было лишь условно называть больными, они были просто люди, доведенные до порога смерти голодом. Их можно было спасти усиленным питанием, но такого не имелось, и мизерные добавки к положенным порциям только оттягивали их конец. Мать знала, что они могут увеличить срок своей жизни, а увеличить — значит, может, и спастись, если не опустятся душевно, не падут духом, если в них не померкнет вера и надежда. И она старалась вдохнуть в них надежду, заставить взбодриться.

— Потеплело на улице, скоро и весна, — склонялась она над безнадежной, — будем вас щами свежими крапивными кормить. От крапивы-то сразу душа запылает. Стегали вас крапивой-то?

И спешащие голоса в разных углах палаты поддакивали:

— Стегали, матушка... Да еще как...

Серые лица под серыми одеялами. Тусклый зимний рассвет. Тяжелый запах человеческого тела, лишённого упругости и красок. И сквозь эту безрадостную атмосферу, как солнечный луч, высвечивающий и золотящий пыль, кружил, взвивался, трепетал, прикасался к заложенным немощью ушам голос, голос матери, наполненный жизнестойкостью, жизнетворящей энергией.

— Волосы приberi... Что космы распустила... Ведь кавалер, наверно, под окном дожидается, — с грубоватой нарочитостью обращалась мать к бледной девушке. И девушка пыталась улыбнуться, а соседи по койке, словно принимая игру и желая поддержать мать, поддакивали:

— Да уж непременно дожидается.

Все эти разговоры были так бесхитростны и просты, но с этими словами и лекарства, которые выписывала мать и которые — она знала — принесут мало пользы, приобретали особое, магическое значение.

— Ну, голубушка, веселей смотреть, — прощалась мать, заканчивая осмотр.

После ее ухода женщины долго не могли успокоиться.

— Хороший доктор у нас, — начинала одна.

— Да уж как порошки пропишет, сразу легчает...

— Ие выкарабкаться нам без нее...

— Я как выйду отсюда, свечку за нее богу поставлю...

И действительно, главный врач отмечал, что в палате у матери меньше летальных исходов, да и больные выглядят поживее, чем у других врачей.

В самом конце зимы случилось несчастье: во время обстрела убило сына матери.

Обстрел застал мальчика на улице, и мальчик спрятался в открытую щель. А когда вой снарядов поутих, он высунулся, стряхнул с пальто труху и снег. Щель находилась неподалеку от дома мальчика, и он решил, не дожидаясь отбоя тревоги, добежать до парадной. Его удерживали взрослые, оказавшиеся в щели вместе с ним, но он, крикнув: «Да тут рукой подать!» — выскочил и стремглав бросился к дому.

Он вскочил на каменные ступени, толкнул деревянную дверь парадной и услышал оглушительный разрыв за спиной. Осколки рванулись в сторону, а один, острый, с рваными зазубринами, легко пронзил фанерную перегородку и догнал мальчика уже на пятой ступени лестницы. Осколок ткнулся в розовую мочку мальчишеского уха и, разорвав ее, вошел в глубь черепа. Казалось, мальчик поскользнулся, — с ходу вытянулся на лестнице. И вот сейчас вновь поднимется и юркнет в свою квартиру. Но мальчик не поднимался, а возле уха красные пузырьчики крови собрались в капли и густо стали падать на истертый гранит.

С какими только словами боли, отчаянья, веры не обращалась мать к распростертому тельцу сына! Она прижималась губами к ранке, в беспомощности надеясь, что ее живая плоть сможет остановить неумалимый ток крови. Мальчик лежал безмолвный, и когда до затуманенного сознания матери дошло, что он не встанет больше, она оцепенела, и собравшиеся люди долго не могли заставить ее оторваться от своего сына.

Все, что было связано с похоронами, делали ее родственники. Мать безучастно и отрешенно сидела на стуле, и окружающие стали опасаться за ее разум.

Мать просидела дома и первый, и второй, и третий день. А в больнице ее в эти дни замещала молоденькая врач. В первое утро больные спросили:

— Где наша докторша?

— Она заболела.

И больные заволновались, — а как не придет к ним, а что сделается тогда с ними, а никто лучше ее их огорчений не знает, а кое-кто из старых больных понимал, что слово она ведает такое, мало кому известное.

Им давали порошки, мерили температуру, больные выполняли процедуры добросовестно, но почти все пребывали в беспокойстве и ожидании — когда же она явится, чтобы взаправду их на ноги поднимать.

На вторые сутки состояние больных в палате матери резко ухудшилось, и растерявшаяся Молоденькая врач вынуждена была доложить о происходящем главному.

— Психологический сдвиг... Чем мы ее лечить можем, дистрофию... Только мобилизацией всех внутренних возможностей организма... Верой — как бы сказали идеалисты, — попытался улыбнуться он.

Главный поехал к матери домой. Они работали вместе давно, и главный помнил мать еще хохотуньей-практиканткой.

Он, не произнося слов, обнял ее за плечи и с удивлением отметил про себя, что мускулы ее тела так напряжены, что тело кажется окаменевшим. Он не стал ее утешать — какие слова утешения могли дойти до ее сознания? Он сказал тихо, твердо, повторяя одно и то же по два-три раза, словно вминая слова в ее мозг:

— Слушай меня. Им очень плохо без тебя. Всем твоим. Вчера вечером непредвиденный летальный исход. Им очень плохо без тебя.

Он не называл больных «больными». Он говорил «им», стараясь, чтобы мать сама своим сознанием материализовала общие понятия.

Она повернула к нему голову, и главный снова повторил свои слова.

Они возвратились в больницу вместе, и мать, не здороваясь ни с кем, молча прошла к себе в кабинет. Она долго смотрела на себя в зеркало, провела расческой по волосам, пригладила взлохмаченную бровь, привычными движениями надела белый халат и, постояв мгновение на пороге кабинета, двинулась к палате.

— Добрый день, голубушки! — ровно и весело, как всегда, сказала она. И больные, словно действительно при виде любимой матери, суетливо зашевелились, задвигались, заулыбались, заговорили о том, что было в эти дни, запричитали по покойной соседке, заставили мать рассказать о ее недомогании... И снова, как всегда, мать склонялась, поправляла подушки, прописывала лекарства и внимательно выслушивала все, что ей говорили...

А потом, помахав рукой на прощанье больным, она твердо и весело вышла в коридор, опустив лицо, влетела в кабинет, заперлась и, стискивая зубы, зажимая ладонями рот, зарыдала безысходно, страшно, надолго.

— Не трогайте ее, — сказал главный, — это ее единственное лекарство.

...Вскоре прибавили паек, наступила весна, а там и лето; и те, кто пережил зиму, уже не боялись умереть.

Однажды мать, войдя в палату и оглядев своих подопечных, сказала:

— Здравствуйте, больные!

И с ней все обыкновенно поздоровались.

Она была очень хорошим врачом и хорошо лечила, но никогда больше не здоровалась с больными так, как в ту зиму: «Добрый день, голубушки», Потому что это были не просто слова, а в них таилась великая, всепобеждающая, волшебная вера в силу жизни, и она не могла больше эту веру нести в себе, передавая другим, как свою кровь и свое счастье.

Немецкий язык

В сорок втором году наш класс называли «сводный шестой класс», потому что в районе моих сверстников оставалось мало и нас — всех из разных школ — объединили в одном классе. Учились мы в старинном доме на Большом проспекте. Ах, как не везло нашей школе! Начнется сильный обстрел Петроградской стороны, и непременно достанется школе: то стекла выбьет, то двери выдавит... И каждый раз после налета мы забивали окна фанерой, убирали мусор, битое стекло...

И в тот памятный день, когда мы явились на занятия, нам пришлось прежде всего разбирать кирпичный завал: рухнула от воздушной волны стена. Противное дело таскать колотый кирпич, — руки от острых краев в ссадинах, едкой, сухой пылью надышишься... Одним словом, настроение у нас к третьему уроку сложилось препоганое. Завал разослал, а третьим уроком должен был быть урок немецкого языка. Тут Семенов и сказал:

— Да какого ляда мы силы свои на этот язык проклятый гробим! Что нам, делать больше нечего!

Все загалдели:

— Точно!.. — и отправились в класс возбужденно-протестующими.

Мария Ивановна, учительница, обыкновенно опаздывала минут на пять, влетала запыхавшаяся и еще две-три минуты приходила в себя. Поэтому мы к началу урока не только успели сесть за парты, но и настроить себя на сосредоточенно-суровый лад.

Мария Ивановна влетела раскрасневшаяся, на ходу сдернула шарфик, пригладила волосы, раскрыла журнал и произнесла:

— Гутен таг!

— Здравствуйте, — мрачно ответили мы.

Она слегка вскинула брови, так как требовала, чтобы мы ей отвечали по-немецки.

— Сегодня мы познакомимся с плюсквамперфектом. Откройте ваши тетради.

К тетрадям никто не прикоснулся.

— Что такое? — удивилась Мария Ивановна.

Семенов, самый прямолинейный из нас, ответил за всех:

— Мы решили прекратить изучение немецкого языка, на котором отдаются фашистские команды.

Мария Ивановна растерянно обвела глазами класс.

Володька Обольянинов, задававшийся оттого, что его предок был в фаворе у Павла I, сказал высокопарно:

— Я, как русский патриот, поддерживаю Семенова.

— А ты, Мокроусов? — взглянула Мария Ивановна на нашего комсорга.

— Есть нынче в изучении немецкого не те политические акценты, — туманно, но с намеком отвечал Мокроусов.

— Но его изучение утверждено министерством, — вконец растерявшись, воскликнула Мария Ивановна. Она была молоденькая выпускница университета и втайне гордилась своим берлинским произношением.

— Утверждалось до войны, — парировал Миша Кац, наш отличник.

Теряя терпение, Мария Ивановна обратилась к Шивочкиной, послушной и застенчивой девочке:

— Почему у тебя не открыта тетрадь?

— Я со всеми, — прошептала Шивочкина и, потупясь, покраснела.

— Значит, вы всерьез, — протянула Мария Ивановна, и все отметили, что она не знает, как ей поступить. Ведь лично с нею мы жили дружно.

— Но ведь это язык Гете и Шиллера! — не сдалась Мария Ивановна.

— Но ведь это язык наводчика дальнобойной пушки, — закричал Семенов, и Мария Ивановна не одернула его: она знала, что в прошлом месяце погиб его младший братишка во время обстрела.

Она взяла себя в руки.

— Сообразите: немецкий язык — это и оружие борьбы с фашизмом.

Здесь даже Шивочкина улыбнулась, — больно нелепы показались слова Марии Ивановны.

Мария Ивановна, не замечая улыбок, продолжала:

— А вы знаете, что такое контрпропаганда? Почему я к вам на уроки опаздываю? Да потому, что я бегу к вам из радиокомитета, где веду беседы на немецком языке для населения Германии. Разъясняю им сущность фашизма. А еще есть радиоустановка прямо у передовой... Хотим заронить искру сознания в одурманенную голову немецкого солдата.

— Что-то в Кельне и Мюнхене после таких бесед не вспыхивают восстания, — строго рассудил Миша Кац.

— Не вспыхивают, — согласилась Мария Ивановна, — но ведь у тех, кто нас услышит, может, и забрезжит в уме что-то...

— «Забрезжит!»! — даже присвистнул Семенов. — Их бить надо! С меня и «хенде хох!» хватит.

— А по этой контрпропаганде и песни наши передают? — неожиданно спросила Шивочкина.

Мария Ивановна в своей девичьей непосредственности стала объяснять, что слушать такие передачи в Германии — это уже подвиг, фашисты без пощады расстреливают тех, кто ловит наши передачи.

Мы молчали, но Мария Ивановна внутренним чутьем почувствовала, что урок продолжать бесполезно.

— На сегодня достаточно и вам, и мне. Займитесь спокойно своими делами. Завтра у нас сдвоенные уроки.

— Ну, что? — спросил Семенов после ухода Марии Ивановны.

— Неубедительно, — констатировал Обольянинов, — у нас есть свое мнение и свой довод. Мы не дети. Се ля ви, — добавил он по-французски, который изучал самостоятельно.

На следующий день Мария Ивановна вошла в класс, но пальто не сняла:

— Сегодня у нас особые занятия. Я договорилась с радиокомитетом, и вы будете присутствовать при контрпропагандистской передаче...

Мы обрадованно зашумели. Никто из нас не думал в этот миг о немецком языке, но попасть в таинственное обиталище Радио — вот здорово!

Мария Ивановна предъявила пропуск, дежурный милиционер отдал ей честь, и мы гуськом проследовали за нею по каменной лестнице. Потом мы все вошли в большую комнату, и Мария Ивановна, улыбаясь, обратилась к седому сутулому человеку:

— Вот привела моих ниспровергателей, Карл Иванович.

Карл Иванович зорко прошелся по нашим лицам, дружелюбно махнул рукой и повел нас в другое помещение, тесное и темное.

— Встаньте у стен и не шевелитесь!

А Мария Ивановна опустилась в кресло перед микрофоном, напряженная и недоступная. Лишь на секунду она оторвалась от пульта и попросила Карла Ивановича:

— Дайте им хоть пару экземпляров перевода моего выступления.

Загорелся красный свет, и раздался звучный, высокий голос Марии Ивановны: — Граждане Германии!..

Мы, вытянув головы, следили по тексту. Мария Ивановна говорила о положении на фронте, о зверствах, чинимых фашистами, о гибели культуры под фашистским сапогом. И вдруг, даже не заглядывая в текст перевода, мы поняли, что речь идет о нас.

— ...Фашизм уничтожает простые человеческие отношения. А недавно группа ленинградских школьников, переживших блокадную зиму сорок первого года, отказалась изучать немецкий язык, потому что на нем говорят фашисты. Тень от свастики падает даже на великий немецкий язык. Мы верим, что они одумаются, эти школьники, эти гуманисты, вступающие в непобежденный мир...

У нас даже дыхание перехватило от осознания, что мы — «гуманисты». Переговариваться нам запретили, но я успел заметить, что даже «русский патриот» Обольянинов приосанился.

Мария Ивановна закончила выступление. Мы не успели обступить ее, как раскрылась дверь, и на пороге возник военный с двумя шпалами в петлицах.

— Машенька, — нежно склонился он к Марии Ивановне, — Ирму осколком задело у радиоустановки... Да нет, нет — не пугайся — легко задело. Но тебе завтра придется ее заменить на участке обороны Ижорского батальона под Колпином.

...Так же, гуськом, мы проследовали мимо милиционера и на улице окружили Марию Ивановну, прощаясь с нею. Семенов нахмурил лоб и спросил баском:

— Какой параграф подготовить к завтраму?

Мария Ивановна посмотрела на Семенова, на нас и обратилась к нему тихо по имени:

— На завтра, Валя, ничего не готовьте. Я приду, а там подумаем...

Наутро мы собрались в классе за полчаса до урока. Мы толпились у распахнутых окон, а Вальку Семенова послали на угол — следить за появлением Марии Ивановны. Он влетел взъерошенный:

— Идет!..

Мария Ивановна вошла, как обычно, стремительно, скинула пальто, села, открыл: журнал и сказала:

— Гутен таг!

И мы ей ответили:

— Гутен таг!

— А теперь откройте тетради, и мы будем знакомиться с плюсквамперфектом.

И мы открыли тетради.

А когда Мария Ивановна выходила из класса после урока, мы заметили, что каблук у нее сзади облеплены глиной с вьевшимися сухими травинками и к полам пальто прицепились три серых комочка репейника.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Аз есьм

О счастье

1

Я шел из Азербайджана в Армению через горы. Дорога трудная, но день не жаркий и идти не утомительно. Высота около четырех тысяч метров, сильно бьется сердце. Через три с половиной часа я достиг Капеджуха — горного перевала, разделяющего две республики. Вышло солнце, заголубело небо. Но когда поднялся и глянул с перевала вниз, я ничего не увидел. По ту сторону все застилал густой, тяжелый туман. Спуск крутой. Он весь изрезан глубокими щелями, забитыми снегом. Когда снег начинает таять, становится рыхлым, путники, переходящие горы в это время, нередко проваливаются в пропасти. Сiju на вершине, жду — может, разойдется туман. Жду час, полтора — туман гуще и гуще. Подумал я, махнул рукой — была не была! — и стал спускаться.

Сначала палкой пробовал снег, потом осторожно переставлял ногу. Снег все мягче и мягче. Иногда он начинает подаваться под ногой. И я поспешно делаю шаг в сторону. Я взмок, капли пота стекают в рот. Жую снег, чтобы освежить пересохшие губы. Иду так медленно, как будто только что научился ходить. Вдруг впереди показалось темное пятно. Оно начинает увеличиваться, и сердце сжимается от радости — земля! Уже видны темные глыбы. Остается шесть-семь шагов, но снег оседает, одна нога проваливается — я валюсь на бок, осторожно ее вытаскиваю, чтобы не потревожить пласт. Еще три шага — я делаю прыжок и впиваюсь в землю.

Это была обычная горная земля, в обломках скал, с низенькой остролистой травкой. А потом я увидел такие родные цветы — незабудки, лютики, колокольчики.

Я стоял на земле, и она не проваливалась, не ползла, а была влажна и упруга. И мне показалось тогда, что счастье — это просто твердо стоять на земле.

2

Дрезина, не спеша, покачиваясь, плыла по рельсам железнодорожной времянки. Девушка стояла, прислонясь к кабине, отмахиваясь от комаров густой сосновой веткой, а они назойливо липли к ее голым ногам, и тогда она колко хлестала себя. Она была обаятельной в своей юной нетронутости, в крапинках комариных укусов, в белой кофточке с коротенькими рукавами, стягивающими полные плечи. Она думала о чем-то своем, не замечая нас, смешно перебирала губами, словно считала убегающие вдаль березовые нетесанные шпалы. А мы полулежали у ее ног. Головы были тяжелыми после лихо встреченного местного праздника. Накануне нас угощали брагой из широкогорлой кадки, в которой, заглянув, можно было увидеть свое лицо, темное и смутное, как раскольничий образ. А потом уже нельзя было увидеть лица, а только ворсистое и склизкое дубовое дно... Мне почему-то хотелось встать, посмотреть в глаза девушки и увидеть там себя, ставшего точкой, берестяные облака и зелень ольшаниковых зарослей.

Она, застенчивая и молчаливая, казалась каким-то редким деревцом, которое везут в дальние края, чтобы посадить там и радоваться его цветению и шелесту. Она казалась мне счастьем, которое долго ищут и взять которое может себе насовсем только гордый и чистый.

Потянулся лес, от пожара рыжий и заскорузлый. Уцелевшие кое-где у обочин подорожники были вялы и шероховаты, тонкие побуревшие листья свернулись в кулечки и потрескались от жары. Вороны около пней чернели головнями, и становилось не по себе, когда они вскидывались в воздух. Но лишь кончилось пожарище, как ветер погнал зеленые волны еще не выкошенной травы. Трогательные в своей доброте ромашки

широко раскинули лепестки, встречая утро, а в сердцевине цветка, как медовая капля, желтело солнышко. Травы разноцветной гурьбой бежали к реке, но у самого обрыва словно опомнились, остановились, зашептались и потянулись худенькими стебельками, заглядывая вниз, где весело и причудливо сверкали прозрачные зернышки песка. В воздухе, пьяном от малины, гудели мудрые пчелы-сладкоежки.

Как нужно быть всегда достойным счастья!..

В давнюю летнюю ночь

Алексею Гребенщикову

Это происходило в 1947 году на берегу речки Лидь в глуши Ефимовских лесов, где мы, студенты, строили колхозную ГЭС.

Мы купили с моим другом Ленькой Петушковым бутылку красного вина и сидели вдвоем в разросшемся ивняке, отмечая его девятнадцатилетие.

Ленька — сказывалось последствие голодной блокады — напоминал подростка: долговязый, по ребрам воды, как по клавишам, волос на лице вроде бы и не пробивается пока.

— По-моему, ты нравишься Вале, — сказал я.

Ленька смутился.

— Думаешь, нравлюсь?

Валя работала продавщицей в сельмаге в пяти километрах от стройки. Мы часто к ней наведывались. Она вскидывала свои прозрачные глаза, спрашивала: «Вам леденцов, архитекторы?» Почему-то она нас звала «архитекторами». От леденцов становилось во рту свежо и сладко, но покупать их у Вали нам представлялось несолидным, и мы брали ржавую селедку, многозначительно подмигивая: мол, рмотри, какие хваты — закуску выбираем подо что-то.

Судя по всему, мы не производили на Валью впечатления, и когда входил Боря Тигин из плотницкой бригады, она, сразу забывая о нас, спрашивала кокетливо: «Боречка, где вы пропадали?» — и протягивала ему пригоршню леденцов. Он молодецкато облакачивался на прилавок, смотрел на нас неодобрительно: «Опять разлагаться замышляете», — кивал он на селедку, а Валя поддакивала жестоко: «Такие молоденькие, совсем мальчишки, а употребляют, как наши мужики». — «Да...» — тянул Борька и оглушительно трещал леденцами.

— А чего в Борьке есть? Круглый сам, как блин, а чуб, что конский хвост, виснет!.. А леденцы ему дает, чтоб тебя раззадорить, — горячился я.

— Они, женщины, коварны, — произнес Ленька тоном сердцеведа и добавил вдруг: — Вытянем ее на пляс, а?

— Кого? — не сразу сообразил я.

— Ну да Валью.

Мы оба почувствовали прилив смелости и вскочили из-под куста, где праздновали Ленькин день рождения.

— Она, может, оттого и злится, что ждет, когда пригласим...

Ну конечно! — подхватил я.

— И в этом Борьке вправду ничего нет!

— Ничего нет! — поддакивал я.

На дверях магазина висел замок. У крыльца стояла бабка и ворчала:

— По субботам чай вприглядку пей, посуду песком чисть — ни мыла, ни сахару купить... Сбегает Валька с лоботрясами плясать!

— В клубе она? — спросил Ленька.

— А где еще! С такими, как ты, выкаблучивается, — отводила душу старуха.
— В клуб по какой тропе? — обратились мы к бабке. — Нам чтобы поскорей.
— Аль я туда шаркать лазаю? — огрызнулась старуха.
Мы решили идти в клуб напрямик.

Начало смеркаться. Дорога пролегла в редком осиннике, его матовые листья багровели на позднем закате. Бревенчатые мостки, склизкие ото мха, глухо звенели от наших шагов. Птичьи гнезда темнели возле самой дороги, они качались с ветвями, кудлатые и раздерганные. Лес сгущался, рябина коричневой гроздью задевала березу, сосны вторгались в болотистые чахлые заросли. Колеса подернулись травой, и лишь кустарники, тянувшиеся справа и слева, обозначали путь.

Но вот появилась дорога, распластанная и размякшая от людских следов, и перед нами предстал дом на лугу, тихий, с занавешенными окнами.

У дома на растянутых веревках сохло белье, похожее на паруса. Возле крыльца стояли рядом резиновые сапоги.

Мы поняли, что забрели не туда.

— Ленька, — остановился я как вкопанный, — да ведь это Бабий дом!

О Бабьем доме — такое ему прозвище дали — услышали мы, как только на Лидь приехали. Так называлось женское общежитие леспромхоза. А в леспромхозе в те послевоенные годы почти лишь одни женщины и работали. По вербовке приезжали.

Разные слухи ходили о Бабьем доме. Деревенские кумушки судачили, что крали там искусные насобраны, да только не для стоящих мужчин, потому как порченые. А в чем их порча — помалкивали.

Шум прокатился по окрестным деревням, когда в пристанционном буфете загуляли несколько леспромхозовских бабок с демобилизованными мужиками. Дым коромыслом шел — сидели в обнимку, водку пили, песни пели навзрыд.

Вечером за мужиками жены пришли. Леспромхозовские жен прогнали. Мужики, вконец осоловевшие, твердили: «Бабы дерутся — вечну миру быть! Примета, значит...» — и из-за стола не поднимались.

История эта долго не забывалась, и деревенские молодки грозились разделать ухватами «расхожих», как они называли своих соперниц.

Однажды в магазине я встретил одну из леспромхозовских работниц. Женщина покупала конфеты. Она выглядела усталой, лицо загорелое, мужской ватник внакидку. Мальчонка, вертевшийся под ногами, попросил: «Теть, дай Тянучку!» Женщина нагнулась к мальчугану, улыбнулась ему, погладила по волосенкам: «Балуйся, карапуз...» Мальчик потянулся, но мать его — она стояла у прилавка — крикнула визгливо: «Не трожь, Панюшка, ихнего! Подколотная у их сладость!»

Другой раз я увидел женщин на берегу речки, когда пробирался по лесу в поисках малины. Их было человек пять, они полоскали белье и пели по-украински. Смысл я разобрал: казак плывет в челне, а дивчина слышит его голос, и сердце у нее замирает.

Женщины казались задумчивыми, будто за словами песни вставала для них какая-то иная и далекая жизнь. Статные фигуры их красиво изгибались, когда они склонялись над водой, и я подумал — какие они все особенные, непохожие на тех женщин и девушек, что жили вокруг меня.

Мы с Ленькой поднялись на крыльцо. В сенях задели пустые ведра, опрокинули их с грохотом, ткнулись два раза в бревенчатую стену, потом попали на дверь и ввалились в комнату.

— Кто там? — слышались женские голоса.

— Да мы, прохожие, — неловко объяснил Ленька.

Кто-то прошлепал босыми ногами, засветил на фанерном столе керосиновую лампу, припустил фитиль.

Женщины только что легли спать, они жмурились от света. Свет выхватывал их распущенные на ночь волосы, оголенные руки, плечи... Облик комнаты их был беден и неуютен: в два ряда железные койки, на которых они лежали под серыми тонкими одеялами; бачок с водой; несколько тумбочек. На подоконнике в граненом стакане гроздь рябины.

Мы застыли, ошарашенные.

Сбились с дороги, — деревянно объяснил Ленька.

— Почаще б такие сбивались, — сказала одна.

— А уж вежливые — жуть! — засмеялась другая. — И приблизиться боязно им.

— А вдруг мы их целоваться научим!

— Они еще этого самого в школе не проходили!

— Я б с чернявым познакомилась потесней, да уж очень положительный.

— Попить можно? — спросил Ленька.

— Отчего же? И попить можно...

Ленька пил воду, а я, постепенно приходя в себя, разглядывал женщин.

На кровати передо мной лежит девушка, разметались черные косы, падают на подушку. Она чуть приподнялась, ляжка сорочки опустилась, и налитая грудь, полуобнаженная, рвется наружу...

Наискосок от нее вскинулась на локотки женщина лет двадцати пяти, кудряшки шестимесячной завивки топорщатся в разные стороны. Она переводит взгляд с Леньки на меня и бросает шуточки, от которых подруги ее хихикают, а мы переминаемся с ноги на ногу.

У окна проснулась немолодая, лет за тридцать ей, волосы лоснятся на свету, она не шевелится, но зорко следит за тем, что происходит в комнате. Потом встает неожиданно и проходит мимо нас в сени в одной короткой рубашке, полыхая толстыми белыми ногами. Проходя, потрепала меня по щеке, подмигнула товаркам: «Ничего кавалерчики...»

— Да подойди же ты сюда, — прозвучало вдруг спокойно и ласково.

Я взглянул по направлению голоса и увидел в углу, в простенке между двумя окнами, девушку, темно-русую, с блестящими глазами. Я пошел, петляя между кроватей, не понимая толком, зачем к ней иду.

— Ну, садись, — сказала она.

Я сел на краешек кровати и смотрел ей не в глаза, а на ее ключицы, открывшиеся из-под ворота рубашки, острые и беззащитные. Она перехватила мой взгляд, сказала с усмешкой:

— Понравилась?

Я ничего не ответил и чувствовал себя глупцом.

— Со студенческой стройки?

Я кивнул.

Ленька, попив воды, подался в сени, бросив на ходу мне:

— Жду.

Женщины поутихли, собираясь снова заснуть, поправляли кровати, а я все еще сидел на койке. Девушка высвободила из-под одеяла руку и поправила мне воротничок куртки, касаясь теплыми пальцами моей шеи.

— А ты оставайся у меня, — совсем просто сказала она.

Меня даже в жар кинуло. Ни одна женщина никогда мне так раньше не говорила. «Как мне остаться здесь, — лихорадочно думал я, — когда кругом женщины. Что я буду делать при них с ней и что вообще она хочет от меня?...» Мысли ошеломляюще проносились в моей голове, и в то же самое время какое-то сладкое томление мешало встать и уйти.

— Чего тебе люди, — словно отгадала она мои мысли, — такие ж все, как я. Они поймут, — серьезно сказала девушка.

Она положила мне руку на плечо, и я ощутил, как горяча ее рука.

— Лампу погасим, — шепнула она, — ты мне нравишься.

— Да ты вправду не бойсь, — откликнулась та, что была в кудряшках шестимесячной, — мы бабы ученые, протеста не выскажем...

— Из-под одеяла не выдернем, — засмеялся кто-то.

— Доля наша горькая, чего хлопчика смущаете, — вмешалась самая старшая, — половчей здесь надо, неспособно ему еще так... Он не Васька-топор...

Я знал, что не смогу ни за что в жизни обнять сейчас девушку на виду у всех.

Она прочла на моем лице все переживания.

— Молоденький ты еще... Пойдем, я тебя выведу.

Я пошел, не прощаясь, к двери.

Я огляделся.

Ленька стоял у крыльца.

Девушка, не сойдя со ступенек, высилась в длинной белой рубашке, в пальтишке, наброшенном на плечи. В ночном сумраке она мне казалась другой, чем в комнате, — повзрослевшей и неприступной. Я спросил:

— Как вас зовут?

— Надей.

Неожиданно наклонясь, она шепнула:

— Ты все ж подожди, — и скрылась в доме.

— Я пойду, — независимо сказал Ленька, — вставать рано.

И мне захотелось, чтоб Ленька ушел. Я стеснялся его.

— Догоню тебя, — поспешно сказал я и фальшивым голосом добавил: — Мне-то ведь неудобно сразу отвалиться.

Он ни слова не произнес, повернулся и зашагал своим быстрым шагом.

Снова скрипнула дверь, и Надя появилась на приступочке, в платье и тапочках.

— У меня вино осталось. Пьешь его?

— Давай, — лихо сказал я.

Мы прошли за дом и сели на сухие сосновые бревна. Надя налила в граненые стаканы, улыбнулась:

— Не спится...

Мы чокнулись, выпили, и какая-то доводящая до слез внезапная нежность хлынула ко мне. Я прижался к Наде, чувствуя ее голые и холодные коленки, теплоту плеча, коснулся груди, мягкой и маленькой. Она сидела тихо и безучастно. Потом обернулась ко мне:

— Хочешь, про себя расскажу?... Со Псковщины мы... С матерью и еще двумя братьями жили... Батя наш на заработки уехал, да и пропал. Как началась война — братьев в армию взяли. Позже узнала, что обоих нет ныне. А к нам фрицы еще в первую осень нагрянули. Обжились они у нас, полицаев своих завели... Через полгода, в мае, прошел по избам, где молодые девки жили, Ванька-полицай, объявил, чтоб всем сходиться назавтра в большом селе Крючине — немцы устраивают праздник для женщин. Пошли мы — и подневольно, потому что приказано было, и по охотке, оттого как уж больно Ванька словами льстил... Там собрались в бывшем клубе все, приехали немцы, офицера главно, стали нас оглядывать да разбирать по себе, откровенно так... Девки плачут, а они спокойно, как поленницу, разбирают нас да ведут с собой по разным местам. А меня Ванька-полицай для себя приберег, в чулан схоронил. Фрицы схлынули, он и заявился, зубы скалит: «Давай должок за укрытку... Все ж со своим земляком». С тех пор он все меня к себе выволакивал... Самогон заставлял пить, с захмелевшей что хотел делал. А всего-то мне семнадцать стукнуло... Партизаны, когда в деревню ворвались, меня у него застали. Он канючил: «Ради любви моей меня оставьте!» А командир меня спросил: «Любовь промеж вас?» — и смотрит строго, как учитель. Ванька моргает белесыми ресницами — мол, выручи. Злоба меня взяла за жизнь мою, сказала я, на Ваньку глядя: «Снасильничал меня девушкой... По сей день мыкает...» Командир рукой махнул, вытащили Ваньку...

А потом мне и Ваньку стало жаль. Ходила на могилку его за прудами, ревела, первый он у меня был, — ведь он, может, в душе своей любил меня по-своему. Когда наши от немцев деревню отбили, Ванькину могилу плугом перепахали, как изменника, а меня всякими словами называли. Потом разное случалось... Да и заботы о себе у меня уже не оказалось. Померкла. А после от осуда-пересуда решила уйти, по вербовке сюда залетела... — Она горько усмехнулась. — Ты прощай, что в комнате наговорено. Такие уж мы подобралась: кто вдова, кто сорвиголова, кто от зла мертва... Васька-топор тут есть с лесосплава, ходит к нам, как выпьет — спит у нас...

Она замолчала и сидела на бревне, опутив голову, словно высматривая что-то в мокрой и темной траве. Колени обхватила руками и стала точь-в-точь девочкой, невесть отчего опечаленной, будто и не было за ее плечами горестей человеческих.

Я тоже молчал. И возникала во мне к ней какая-то жалость и обида на что-то.

— Закурить у тебя есть? — спросила она.

Я никогда не курил.

Надя поскущела, словно злясь на себя за то, что мне рассказала.

— Ну, ты иди... Иди...

— Куда? — не понял я.

— А к себе... Хватит кинофильма...

— Но почему?.. — упорствовали.

Она еще раз взглянула на меня:

— Ну, что ты понял? От тоски душу открыла. — И добавила спокойно: — Да я и лет на сто старше тебя...

Ранние птицы уже ворочались в своих гнездах, они еще не пели, но как-то странно вскрикивали впросонье и хлопали крыльями, разгуливаясь; медленно, но неотступно светлело небо где-то па горизонте, и все четче проступали на фоне синевы мохнатые ветви сосен и елок; стали видны капли росы на траве, земля сразу похорошела, сбрасывая тьму.

Я шел по дороге. За бревенчатым мостиком расстился широкий луг в стогах сена. Когда я подошел поближе к стогам, то с ужасом заметил торчащие из сена ноги. Длинные и тощие. В Ленькиных синих туфлях.

— Ленька! — заорал я.

Стог зашевелился, вылез хмурый Ленька, позевывая и протирая глаза.

— Чего кричишь! Тебя дожидаюсь. Ну, как?

— Да никак.

— А что?

— Да ничто.

— Зря до Вали не добрались, — рассудил Ленька.

Я ощутил внезапно какое-то непонятное раздражение к этой чистенькой продавщице с прозрачными глазами. — Леденцов захотелось? — мрачно буркнул я. Ленька только с удивлением посмотрел на меня и ничего не сказал.

Аз есмь

Километрах в семидесяти от тургеневского Спасского-Лутовинова в селе Клейменово похоронен Афанасий Фет.

Из Мценска на старенькой «Волге» мы поехали туда втроем — инспектор роно Иван Александров, мой спутник поэт Петр К. и я.

Иван приходился мне ровесником, но привольная жизнь среди теплых орловских просторов сказалась на нем, и он, загорелый, русский, выглядел моложе меня.

Петр воевал всю войну, лет на семь постарше нас был, но прирожденная «цыгановатость» — темные глаза, прямой черный волос, крутые, слегка отяжелевшие плечи — делала его мужчиной броским; женщины поглядывали на него не без интереса.

Мы ехали по асфальту, а потом свернули направо от шоссе и затряслись по пыльной проселочной дороге. Как плотно ни закрывали окна, как ни осторожно ехали — пыль проникала в машину, скрипела на зубах и неприметно превращала волос в конскую щетину.

У нас вырвался вздох облегчения, когда вскоре блеснула перед нашим взором Ока — здесь неширокая, но быстрая. С моста ныряли мальчишки, мы отъехали поодаль и, раздевшись, блаженно вбежали в прохладную воду, ощущая ногами вязкий ил у берега, а потом упругое песчаное дно. Течение на середине было сильным, но мы приноравливались к нему и, упираясь ногами в песок, словно падали вперед на воду. В речном песке прятались ракушки, плоские и скользкие. Мы доставали их, распахивали створки, и изнанки створок отливали перламутром. В нем отражались солнце и косматые облака, наплывающие на него, и даже, казалось, само дрожание воздуха.

— Как бы в дождь не попасть, — сказал Иван.

Миновали деревню, где Иван учительствовал когда-то и где во время нашей минутной остановки нам разрешили нарвать яблок.

Иван высыпал их на заднее сиденье, и свежий аромат белого налива обволакивал нас.

Перед нами расстилалось поле, необъятное, переходящее на горизонте в холмы. Поле рассекалось тремя дорогами, и мы, по-былинному, остановились на разъезде, гадая, куда пуститься.

— Заедем в Нифоново, — решил Иван, — у Анны Егоровны спросим, как ловчее двигаться. Анна Егоровна — учительница, — пояснил он.

Свернули на одну из дорог и, проехав метров двести, очутились перед домиком, невзрачным на вид, густо заросшим цветами и яблонями.

Из дома вышел старик, такой классический старик — сухой, с седой бородой, в фуражке, ситцевых штанах и ботинках на босу ногу.

Он очень обрадовался Ивану и к нам проявил живейшее внимание и не показывал дорогу в Клейменово до тех пор, пока мы не пообещали у него остановиться на обратном пути. Он был один. «Анна у соседей, старуха корову пасет...» — объяснил старик.

Сказать по правде, он не возбудил моего интереса, — я думал о Фете, о его могиле, затерявшейся среди южнорусских полей, о его стихах, порой таких щемяще-радостных и полных света.

Помните?

Я пришел к тебе с припетом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало...

Склеп Фета находился под охраной местных властей, но заботились о нем холодно, казенно и, значит, вообще никак. Снаружи склеп побелили, прикрепили памятную доску, но стоило спуститься по ступенькам вниз, в холодное и сырое помещение склепа, и делалось не по себе: там валялись битые бутылки, сухие ветки, мусор... Стена подтекала, еяло затхлостью, и хотелось на волю, к солнцу, которое Фет так вдохновенно воспел.

На обратном пути зашли в сельский магазин — не появляться же у старика с пустыми руками.

Продавщица, молоденькая и шустрая, стрельнула глазами и на наш вопрос, что есть у нее хорошего, лукаво протянула:

— Яблоки да селедочка... Смотря подо что...

Мы взяли бутылку водки и тронулись дальше. Но ни славная девочка в магазине, ни предстоящий отдых у старика — ничто не могло нарушить того грустного настроения, которое возникло при встрече с фетовской могилой. Теперь уже и поле с куцей щетиной

стерни, и темный лес, над которым суматошно клубились тучи, и даже солнце, прохладное и затуманенное дальним дождем, — все вызывало раздумья о суетности и тщете.

Остановились на маленьком лужке прямо перед избой Егора Михайловича.

С крыльца сбежала женщина.

— Припозднилась я, — ласково улыбнулась она сначала Ивану, а потом с тем же радушием и нам. — Анна Егоровна, — протянула она руку Петру и мне.

Я ехал из Клейменова и почти не думал об учительнице, которая, как говорил старик, «вот-вот явится». А когда на секунду приходила мысль о ней, мне казалось, что она должна быть сухонькой и юркой, с нелепой и редкой косой, в черном на лямках стародевическом платье и в круглых очках. Впрочем, если я и пытался представить ее себе, то скорее затем, чтобы отвлечься от невеселых мыслей после посещения усыпальницы Фета.

Анна Егоровна совсем не напоминала ту, что нарисовало мое воображение. Нет, она выглядела вовсе не красавицей. Ей, наверное, за сорок перевалило. Черноглаза, возле губ, когда она улыбалась, возникали наискось две резкие морщинки, но, странное дело, они не портили ее, а лишь придавали серьезный вид. Ноги обуты в чеботы домашней работы, и она ступает в них с милой вкрадчивостью; платье, ситцевое, светлое, в синих цветках, просторно сидит на ней; но она идет, поворачивается, и так ощутимо тогда ее сильное тело.

— Вы уж посидите минуточку, картошка закипит — и к столу пожалуйте...

Мы расположились на старой скамейке, отполированной и блестящей от многолетнего сидения на ней. Егор Михайлович засуетился, принес по крупному пупырчатому огурцу и все повторял:

— Вот и добре, что навестили... Скука хуже старости заедает. С соседями обо всем на свете переговорил... Дед Алексей еще и рта не раскроет, лишь трубку вынет, а я наперед знаю и о чем начнет, и чем кончит... Иногда к маку-цветку подойду, стану с ним говорить, а он все молчит, сердечный... Разум не дан ему богом, значит...

Говорил он почти шепотом от старости.

Мы с Иваном прошли в глубь сада, я спросил его об Анне Егоровне.

Жизнь ее оказалась обыкновенной и трагичной в своей обыкновенности.

Она жила с родителями. Замуж никогда не выходила. И еще известно, что жених ее, любимый ее, убит в начале войны, двадцать пять лет тому назад. Что же она, семнадцатилетней девочкой потерявшая жениха, хранит до сих пор ему верность? Это казалось мне умильным, но никак не правдоподобным и просто неестественным.

— А отчего же она замуж не выходила? — спросил я Ивана.

— Пожалуйста, — громко пригласила Анна Егоровна, прервав наш разговор.

Анна Егоровна чуть раньше вошла в избу, и я увидел в окно, как освобождает она стол от тетрадок и школьных учебников и на выцветшие чернильные потеки ложится хрусткая скатерть. «Не часто, видать, пировать приходится», — подумал я.

Мы ели и пили с охотой истинных путешественников. Громко смеялись, громко разговаривали. И от гула наших голосов словно вздрагивал дом, привыкший к тишине, так неожиданны были для его стен, потолка, окон раскаты здорового мужского смеха.

Дед выпил стопку и принялся рассказывать, как получил Георгия в русско-германскую войну.

— Привезли нас в Польшу, там войну с германцами начинали мы. Долго в окопах сидели, у меня аж насекомые завелись, а смены белья нет. Обрадовался, как вперед двинулись, думаю — разживусь исподним. Входим в деревушку — разбитую, покинутую, одну рубаху женскую нашел. Ну, хоть ее натяну — решаю. Разделся, натянул, а мне рукава до локтей, но в ширине хорошо, — видно, баба что надо носила. И только я себя в обновке человеком почувствовал, как такой обстрел учинил немец, что небо померкло.

Гляжу — наши солдаты бегут из деревни вовсю. Бежим, земли не чуем, а немец лупит. И вдруг навстречу нам генерал Шишкин на коне. «Хриstopродавцы! — кричит. — Мошенники!» Тут я опомнился и думаю, как бы только генералу в нижнем белье и дамской рубашке на глаза не предстать. Укрылся в кусточках. А солдаты тем временем назад поворачивают. Ну, и я за ними. Пришел в избу, а там все целехонько — и шинелька моя, и оружие. Вот такой мой первый бой и произошел...

— А мы, Егор Михайлович, может, в одном месте с немцем сталкивались, — перебил Петр, — я тоже по Польше прошел...

— Да ну! — обрадовался дед.

Анна Егоровна, склоня голову, прислушивалась к речам, но иногда взгляд становился столь неспраздничным и отдаленным от нас, будто прислушивается она к чему-то иному, нам неслышному. Анна Егоровна немножко раздумянулась, локотком оперлась о край стола, а другую руку бросила по спинке стула, синий шелковый платок небрежно слетел с одного плеча.

Мы с Иваном оказывали всяческие знаки внимания Анне Егоровне, с ней первой чокались, передавали закуску, произносили тосты...

Но она сказала неожиданно:

— Петр Григорьевич, а отчего ж картошечку?

И сама ему в тарелку насыпала со сковороды самую румяную и сочную. Не нам всем, а только ему! Мы переглянулись, я подумал успокоительно: «Это уж ему так, потому что он стеснительный...»

Анна Егоровна, словно заметив свою неловкость, поспешила и нас угостить, но мы-то видели — и картошка уже не та, и порывистости никакой...

А его, Петра, после этой картошки как подменили: застенчивость слетела — разговорился. Он обращался сразу ко всем, но больше всего смотрел на Анну Егоровну.

— Меня и ранило в Польше! — оживленно говорил он. — Молоденьким совсем был, навыка-то военного еще мало скопил...

Он повел плечами с юной бесшабашностью, словно в нем воскресло что-то от того далекого младшего сержанта Петьки.

Я не выдержал и вставил:

— А вот когда я был в Италии...

По Анна Егоровна взглянула на меня строго, как будто я ее ученик, а не гость.

Я замолчал, занявшись жареной свининок, всем своим видом показывая, что для меня это и есть самое важное.

Дед был тут как тут.

— Так слушай дальше, — прошептал он. — ... Назначили меня телефонистом. Помню, встали на позицию под Варшавой, километров за десять от города. Там завод какой-то, и труба при нем высоченная, скобы наверх ведут. Вот там я сидел, вернее, трое нас торчали, посменно наблюдали и по телефону докладывали. Уж немцы по трубе били! Бывало, и попадали, да труба здоровенная, а снаряды из-за дальности часть своей силы теряли. Тогда за то сидение на трубе, начальство меня благодарило, но Георгия мне позднее дали...

А за столом возник крупный план, как на экране, и на этом крупном плане выделялись они двое — Петр и Анна Егоровна. И я уже напоминал себе зрителя. Вглядываясь в них обоих, замечал, как до странного похожи они друг на друга: оба темноволосы, с блестками редкой седины, еще налитые, а вот-вот начнут грузнеть, и главное — глаза одинаковые, не по цвету, а по напряженности во взгляде и беспокойству.

Между ними разговор шел быстрый, со стороны мог бы и суматошным представиться. И я почувствовал внезапно: то, о чем они говорят, — это внешнее, неважное, обыденное, но за этим разговором намеками, недомолвками они — люди одного возраста — объясняют друг другу нечто удивительно важное для них, которое никто иной, к их поколению непримечательный, не поймет, может.

«Ты видишь, — словно говорила Анна Егоровна всем своим видом, взглядом, жестом Петру, — и ты поймешь меня в моем одиночестве: пустоцвет взять в мужья, абы муж был — лучше в омут, а тот, что меня из огня смог бы вынести, не вышел на мою дорогу. А ты, мой ровесник, какой?..»

Наверное, нет на земле женщины, которая — сколько б лет ей ни исполнилось — не живет в надежде на высокое и красивое.

— Дождь близится, дорога разойдется, — сказал Иван, взглянув в окно.

— Да что вы, Иван Александрович! — встрепенулась Анна Егоровна. — Чай поспел, свежего варенья отведайте!

Я не знал, что переживал Петр, но я видел, что сидит он серьезный, не хмелея от вина. Может быть, он, как никто, понимал ее, но видел и то, что никакой радости ей не принесет.

С Петром я общался давно. Жизнь его шла размеренно и добротнo, и самому ему, наверное, никаких перемен вносить в нее и не желалось. Но ведь бывают такие минуты у человека, когда со странной обнаженностью способен он увидеть и себя и не придуманно, а истинно оценить глубину своих чувств, утверждений, правил. Любил ли он свою жену? Пожалуй, нет. И эта почти незнакомая женщина, сидящая перед ним, своей чистотой, трепетностью, горечью, может быть, касалась его сердца, заставляя думать не о ней, не о ком-то другом, а прежде всего о самом себе — какой же все-таки аз есмь.

Петр провел ладонью по лбу.

Звонко ударил гром, словно горшок упал с полки и разбился.

— А если за молнии? — скороговоркой произнес Петр.

— Что? — не поняли мы.

— Да еще по одной...

— Это грех, — убежденно молвил дед, — давеча вот овцу ею пришибло... А с немцами, значит, так, — встрепенулся он, — потеснили они нашу дивизию. Местность ровная, и широкая река ее пересекает. И очутился штаб дивизии за рекой, а полки незнамо где, поскольку всякая связь с ними нарушилась. Заверещал мой телефон. «Кто говорит?» — спрашивают. «Телефонист Цветков». — «Говорит генерал Шишкин. Сделай, телефонист Цветков, — приказывает, — все возможное, чтобы полки отыскать и связь телефонную наладить». Надо мне в неизвестность через реку вплавь переправляться. Снаряжения много не возьмешь — одна катушка двенадцать фунтов весит. И тогда размотал я катушку, взял в рот конец провода и поплыл. Пробрался к нашим окопам, подполз, а там — свои. Оказывается, сперва два полка отступили, а потом снова на прежних позициях закрепились. Тут же звоню генералу. «Ваше превосходительство! Все в порядке!» — докладываю. «Молодец, телефонист Цветков», — обрадовался генерал. А через два месяца вызвали меня в штаб, и сам генерал Шишкин крест Георгиевский мне вручил. «Большое ты дело сделал, телефонист Цветков».

Анна Егоровна говорит, словно не слыша отцова повествования:

— Нет, отчего же, давайте за молнии, — и улыбается отцу, — вы, папа, слишком суеверны...

Мы допили чай, доели варенье, дослушали военные истории Егора Михайловича.

Анна Егоровна провожала нас.

Петр выбрал из машины самое спелое яблоко, протянул ей.

— Нет, нет, спасибо!..

— На счастье возьмите...

— Какое уж там... — медленно произнесла Анна Егоровна, и я заметил, как на глазах она меняется. Лицо поскучнело, углубились морщины возле рта, словно наступило отрезвление, не от вина — от волнения души. Она посмотрела на Петра пристально и вздохнула вдруг, вздохнула не жалостно, а будто освобождаясь от чего-то. Мне показалось, что чувствует она сейчас Петра таким, каким он и был в действительности, не

приподнятым ею до мечты своей, — покладистым, звезд не хватающим, довольным той колеей, аю которой жизнь его пустила...

А Петр все держал в руке яблоко и протягивал ей, теперь уже растерянно, потому что сам ощущал какую-то неловкость, и улыбка у него дрожала и исчезала, как исчезают постепенно круги от брошенного в воду камня.

Я смотрел на Анну Егоровну до самой последней минуты; на фоне закатного алого неба она долго-долго выделялась четко и темно, а потом коротко махнула рукой и пропала в глубине сада.

Петр не оглядывался, тяжело навалившись всем телом на спинку переднего сиденья.

Иван гнал машину.

Небо темнело в клочковатых тучах, но в разрыве между ними выглядывало вечернее солнце, озаряя белые цветы гречихи, аистов на заброшенной ветряной мельнице, покатые холмы, набегающие один на другой, тургеневские, южнорусские земли, в их неизъяснимой прелести. И я снова повторял строки Афанасия Фета, прозрачные и возвышенные:

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало...

И в них скрывался уже иной, совершенно конкретный для меня смысл, и когда я произносил «к тебе», я видел мысленно Анну Егоровну, юной, ничем не сломленной, с припухшими губами, которые целовал ее мальчик, будущий солдат Великой войны.

«Златая цепь на дубе том...»

Мои дед и бабка доживали свой век в костромских краях, неподалеку от райцентра. Жила с ними еще сестра деда, Варвара Сергеевна. В тридцатых дед и бабка умерли, а Варвара Сергеевна, прихватив свой нехитрый скарб, иконы, поселилась по приглашению в крестьянской избе. Пригласила ее тоже старуха, Анна Андреевна, женщина вдовая, ласковая, душевная. Был сын у нее, Леонид, печник, мастер золотые руки, второго такого по округе не сыщешь, от отца ремесло усвоил. Одна беда — пил жестоко. Домой язлялся с остекленелыми глазами, рыжие кудри топорщились, как пакля. Мать пыталась женить его — противился, дескать, нет нам нужды в указаниях. И однажды с бабенкой к матери заявился, — щуплой, горбатенькой, хромоногой и с нехорошей цыганской чернотой в лице. «Вот родственница будет, — хлестанул пьяно, — женился». Мать руками всплеснула, не сдержалась, запричитала: «Куда ткнулся, соколушка мой...» Бабенка молча теребила платок, слов не произносила, лишь глазами поводила без суеты и страха. Позже выяснилось, что и прижитой ребенок у нее есть, где-то в Сибири. Стала Анна Андреевна обвыкать с невесткой. А та по хозяйству верткая, угодить норовит, но все молча, словно с тайной какой.

В те времена, двадцатипятилетним, и прибыл я к Анне Андреевне на пепелище своих дедов. Уже и Варвара Сергеевна умерла.

В бумагах моей матери сохранилось письмо, которое я послал ей из деревни. Вот строки из него:

«...Дорога шла очень живописная, то поднимаясь в гору, то сбегая вниз, среди голубеющего льна и низкой повымокшей ржи. Кое-где в гуще буйной зелени деревьев виднелись остатки разрушенных усадеб. Неожиданно лес пропал, и за чахлым бугристым полем вскинула свой поблекший крест церковь. Я прошел через все село. Мне показали серую, покосившуюся избу, и вскоре я стучал в дверь. Хозяйки дома не оказалось, но меня радушно встретил ее сын Леонид. К обеду пришла Анна Андреевна, и был я окружен таким вниманием, что мне приходилось только сдерживать хозяйку.

На следующий день Анна Андреевна повела меня на кладбище. Оно было вконец заброшенным, могилы без крестов, потому что мальчишки из озорства ломают их. На самом краю кладбища — невысокий зеленый холмик. Он густо зарос осокой, алой каплей выглядывает из-под листка земляника. Здесь покоится Варвара Сергеевна. Тропинка, выющаяся среди исчезающих могил, привела нас к холмику, также поросшему травой. Это могила бабки. А где лежит дед? Анна Андреевна показала на длинное зеленое надгробие. Горькая тоска охватила меня. Неужели когда-нибудь и мой сын, и мой внук забудут тропу к моей могиле, она постепенно затеряется среди других безымянных могил, порастет бурьяном. Коровы и лошади будут топтать землю над моим гробом и хрустеть травой. А потом исчезнет бугорок совсем, станет могильщик копать здесь яму, наткнется лопатой на полусгнившие доски гроба, вытащит и выкинет его — и ничье сердце не дрогнет...

...Вечером в память о деде, бабке и Варваре Сергеевне устроил я застолье. Взял в магазине ликера, водки, закуски, прошло все хорошо, но я жалел, что все-таки не было должного размаха...»

Пожалуй, последняя фраза письма не соответствовала истине: размах-то был! В молодом и хмельном кураже поднялся я за столом, воскликнул покаянно:

— Нет мне прощенья оттого, что дед мой и бабка как беспризорники на погосте! Я совершу эксгумацию и перехороню их в городе!

Тут Леонид притих и переспросил:

— Чего удумал?

— Вырыть покойников и с заботой в городе похоронить.

— Ну, даешь! — закрутил головой Леонид. — С тобой не соскучишься. — Глаза его шало заблестели. — А давай выроем и в город!.. Вот народ-то обомрет!

Анна Андреевна лицом побелела:

— Да нешто вы нехристи: покойников из земли освященной изымать! Да уж вы, батюшка, — церемонно обратилась она ко мне, — думу такую оставьте. Нерадостно потом вспоминать будете, коли совершите.

Ее степенная речь охладила наши головы. Я провел у гостеприимной Анны Андреевны три дня и, прощаясь, зашел в ее маленькую горенку, чистую и светлую. Домотканые кружевные накидки покрывали одеяло, подушки, сундучок и прялку, отполированную прикосновением ладоней. В углу комнаты светилась икона. Я не мог оторвать взгляда от нее.

— Красота, — вымолвил.

— Варвара Сергеевна завещала мне перед смертью...

Я поспешил отвести глаза. Подумалось, что мое усиленное внимание неловко, словно я, как родственник, предъявляю права на эту икону.

Я уехал, и покатила огромная жизнь и радостью и горем, надеждой и разочарованием, с поиском истины и глубоким неудовлетворением собой. Мои впечатления о поездке в деревню потускнели, словно все происходило не в моей жизни, а где-то вдалеке от меня. Иная жизнь гнала меня по своему кругу и не давала возможности помыслить о возвращении «на круги своя».

Пришел срок, и я с душевной боязнью подумал о том, что живу только в днях и годах, которые меня окружают, утрачивая память о прошлом. Неужели мне навсегда дано видеть перед собой лишь то, что было со мной повседневно: ванную с цветной керамикой, быстроходный лифт, блестящий паркетный пол?.. Нет! Нет!.. Я должен узреть картины пожелтевших полей с поседевшими хвостами иван-чая; леса, на окоме сливающиеся в одну черную линию; желтобрюхих птиц, раскачивающих росные веточки малинника; тот бедный и жалкий оплавленный временем бугор, под которым плоть предков.

Видением приходили ко мне далекие и яркие картины моей поездки в деревню. Оказалось, память о них не исчезла, а как бы подернулась пеплом. Однажды мелькнула мысль и стала потом навязчиво являться ко мне, — мысль о том, что необходимо мне занять ту давнюю икону, поразившую меня своим свечением. И я живо представил себе,

как благословляли этой иконой молодого поручика, моего деда, уходящего на русско-турецкую войну. Старческие руки держали потемневший оклад, и икона, следуя в движении начертанию креста, поднималась вверх, опускалась, двигалась направо, налево, а вместе с нею двигались небо, поле, ослепительные яркие мазки природы. А может быть, в том смертоубийственном бою у села Голяма Мечка, возле дунайского берега, когда дед в белом кителе поднимал свою роту, сквозь жестокий блеск турецких выстрелов привиделась ему, как последняя надежда, икона в отцовских перстах? А, может, — и сердце у меня странно замирало, — она провожала кого-то из моего рода и на Бородинское поле? Нет, не религиозное чувство владело мной, — я увидел в иконе символ: она смогла бы материализовать связь различных напластований неумиряющей жизни.

Я написал письмо старинному другу и попросил его съездить в деревню, разузнать, кто остался в живых из семейства Анны Андреевны, цела ли икона и не согласятся ли нынешние хозяева продать мне ее.

Друг мой отправился в один из своих свободных дней выполнять мою негаданную просьбу. Он без труда нашел то место, где когда-то стоял покосившийся дом Анны Андреевны. От него не осталось и следа. Высился там нынче крепкий пятистенок. Друг вошел в дом и, как в сказке, застал за столом сразу и Леонида и жену его. Обедали. Леонид поседел, облысел, но голубые глаза смотрели молодо. Жена его раздалась, отчего кособокость скрадывалась, лицо округлилось и провалившиеся темные глаза выглядели по-совиному из глубины лица. Друг мой, учитель и большой умелец по технической части, известен был в окрестностях своего города, потому его и приняли не как чужака, а как знакомого и пригласили к столу.

— Як вам по необычному делу, — начал друг, — помните... (и друг назвал мое имя)?

— Как же! — воскликнули муж и жена. — Земляк вроде! Да не заявляется к нам сюда.

— А нынче, — подхватил друг, — затосковал с годами по родным краям.

— А чего тосковать? Сел бы да приехал!

— Собирается приехать... но с целью.

— С какой? — живо заинтересовались хозяева.

— Просил меня выяснить, не продадите ли ему икону Варвары Сергеевны.

— А чего так? — недоуменно переглянулись хозяева.

— Каждый по-своему думает. Как мне за него ответить? Только понимаю, что теперь, перевалив за полета, хоть какое-то напоминание о предках своих пожелал иметь, — рассудил мой друг и добавил: — Он в заслуженные люди вышел, по заграницам ездит, недавно в Париже был...

Хозяева молчали, размышляли.

— Так что ж он, специально за иконой приедет?

— Приедет.

— Ну, что же, приедет — потолкуем, — негромко сказал Леонид.

Жена его забегала глазами и без надобности стала резать хлеб над хлебницей.

— Потолкуем — дело ясное. Но ехать ему не ближний свет. Могу ему сообщить, что готовы продать?

— А чего? — улыбнулся Леонид. — Я его, как помню, человек веселый... Можно и уважить. Я в бога не верую, эвон у меня целый сундук иконок от матери осталось. Пищи не просят — пусть лежат.

— Ну, добро, — встал мой друг и отправился домой. А через день прислал мне телеграмму, мол, все в порядке, приезжай.

...Я вглядывался с романтической и нежной грустью в каждую полянку, в каждый взгорок, следил за кратким кружением птиц, испуганных машиной; сквозь открытые окна врвался запах, настоящий на зрелых полевых травах. Неизъяснимое чувство сопричастности к этой земле заставляло по-молодому биться мое сердце.

Остановили машину возле дома Леонида. Друг мой отправился искать хозяев.

— Незадача, — сказал он, вернувшись, — хозяйки нет, а хозяин где-то печь кладет в деревне. Девчушка соседская объяснила.

Пошли деревней, разыскивая Леонида. Поспрашивали встречных и узнали, что кладет печь в начальной школе.

Еще издали услышали неторопливые постукивания мастерком. Леонид, голый до пояса, клал кирпичи. Он увидел нас, улыбнулся, засуетился:

— Счас, счас я, ополоснусь только.

Тронулись к дому, отворили калитку, и во дворе Леонид еще больше засуетился:

— Яблоня хороша, рвите налитые, я-то зубами страдаю, не могу. А вы рвите!

Потом повел меня к бане, растекаясь скороговоркой:

— Баня-то, баня — огонь! Сам выложил печь, а уж кому, как не себе, толково сделать хочется. Потрогай кладку-то!

Казалось, ему очень хотелось отложить разговор о деле. Но я не стал тянуть:

— Знаешь, зачем приехал я?

С простоватой деревенской хитрецей Леонид выговорил:

— Ни в жисть!

— Друг мой с тобой ведь говорил... Чтоб икону купить.

— Да чтоб икону за деньги продавать! — вытаращил он глаза. — Я хоть и не верующий, а грех. Нельзя, — протянул Леонид.

— Но я за тем и приехал.

И тогда, кося глазами на окна избы, прошептал опасливо:

— Что я!.. Я завсегда... Старуха заупрямилась... Языком меня молотит... Это ты с ней поладь.

— А где она?

— На кухне. Позову сейчас, — заспешил Леонид и уже с крыльца, словно отделяясь от всего, что было, спросил простодушно: — Ты нонча по заграницам зачастил, чего они там, всё угнетают бедных?..

Я взглянул на моего друга:

— Значит, прячется от нас старуха.

Друг был смущен.

Позже окольным путем друг мой узнал, что при первом его приезде, едва лишь захлопнулась за ним дверь, как налетела клухой жена на Леонида:

— Из ума выжил... Икону продать. Коль он в такую даль приехать норовит, — знать, цены нету иконе...

Леонид морщился, махал руками, а старуха нагнетала страсти:

— Не слышал, что сказали, дескать, он за границу ездит, вона и в Париже был... Вот и повезет в Париж тайно икону, а милиция его по дороге спроворит, спросит: «Откель?» — он про тебя и выложит. Ты и станешь соучастником на старости лет.

— Отстань ты, — плевался Леонид, — что толка в ней! Получим деньги, найдем куда деть.

— Продешевишь, — шипела старуха, — эти ферты столичные ноне всему цену знают. Видишь ли, затосковал он! Да не затосковал, а мошну набить хочется. Дорогих родственничков вспомнил! А с чего б их раньше не вспомнить! Да мы с тобой лучше сами в Москву подадимся, в музей снесем...

— Так ведь человека вызвали, — не сдавался Леонид.

— Вызвали не вызвали, телеграмму не мы послали, сам по себе он...

— Да ну тебя, — швырнул в сердцах Леонид скамейку в угол.

...Мы ждали. Дверь распахнулась и, переваливаясь по-утиному, разгоряченная от плиты и внутреннего раскала, вывалилась старуха. Ноздри ее пористого, нашлепистого носа трепетали. Она словно коршуна отгоняла от цыплят. Не здороваясь, запричитала:

— Да как можно от родительницы покойной благословение уносить! Да нешто в зверя Левониду превращаться, в зверя безыменного!..

Я был ошеломлен, а Леонид стоял неестественно согнутым, шумно выдыхал воздух, скрипел голосом:

— Хватит уж, хватит...

И несмотря на нелепость всей этой сцены, я, взглянув на него, испытал к нему жалость.

— Ну, бывайте здоровы, — прервал я причитания старухи и двинулся к калитке.

Друг мой прихватил пакет с припасами, которыми мы надеялись покупку отметить, последовал за мной.

— Хоть бы воды, черти, вынесли попить, — обозлился он.

Завели мотор, сквозь шум донеслось:

— Ходют тут, ходют, а потом в Парыж... А тебе, старому, все ум не отполируешь!

— Останови у кладбища, — попросил я.

Я прошел по нему из конца в конец, распластанному, разбитому, с провалившимися крестами, замусоренному яичной скорлупой и бумажными затычками от бутылок. Ветер теребил мои поредевшие волосы, остужал душу, и я думал с пронзительной ясностью: нет, в жизни ничего нельзя забывать, ни детства, ни юности, ни молодости своей, потому что тогда рвется вся связь жизни... И как уж нам ни захочется зацепиться за что-то, чтобы в целостности жизнь свою обрести внове, — да не тут-то было, не зацепишься... А старуха что — у нес свой взгляд, и жизнь ее, крученная и ломаная, может, вся с нею.

Я горько усмехнулся:

— Ничего. Давай прямо в Парыж!

Мой друг, так трудно расставаться...

— Не приезжай завтра, — сказала она, хотя у них была твердая договоренность о его приезде.

— Почему? — спросил он с поднимающимся раздражением, что случилось с ним в последнее время.

— Умерла дочка моей подруги, маленькая девочка... Жду тебя через два дня... Похороны завтра...

Междугородный разговор прервался, но он уже знал, что отправится из Москвы в этот северный город завтра утром и приедет туда завтра днем.

...В течение года они любили друг друга страстно, тяжело, и вдруг оба почувствовали, что их любовь истончается, обволакиваясь недовольством и недоверием, желанием преобразить друг друга на свой лад.

Он выехал рано, еще до зари, и пустынные московские улицы распахивали свои гладкие дали только для него одного. Шуршали шины. Показались первые загородные леса, и перед его мысленным взором отчетливо и тревожно представала их жизнь.

Ивлев, немолодой художник, оторвавшись от служебных тягот, семьи и круга равнодушных приятелей, приехал в Ферапонтов монастырь и, ошеломленный, чувствующий со всей остротой свою незначительность, стоял среди толпы перед фресками Дионисия. Был солнечный день, и лучи, прорываясь сквозь верхние окна, как бы накладывали свои светлые оттенки на древние, весенние, желтые краски, и святые казались не нарисованными, а живыми людьми, которые вот-вот выйдут из камня стен и соединятся с восхищенно-почтительной толпой.

Взгляд Ивлева медленно скользил по сводам храма, опускаясь вниз, и вдруг он невольно вздрогнул: молодая женщина, рыжеволосая, с искрящейся прозеленью глаз, возникла перед ним, похожая по строгости и некрасивой выразительности лица на иконописные облики. Он проследил за ней: женщина вышла во двор монастыря. И Ивлев переступил порог вслед за нею.

Когда приезжие стали рассаживаться по автобусам, Ивлев набрался смелости и сказал женщине:

— Я могу вас подвезти. У меня машина.

— Спасибо, — просто ответила женщина.

И пока они ехали по шоссе, между ними возник разговор, не нарочитый, манерный, а неожиданный, естественный, сближающий их непонятно и завораживающе. Женщину звали Павлой, и само это редкое имя излучало для Ивлева дурманящий аромат. «Павла... Павла...» — повторял он про себя. Журчала женская речь, слова текли, как вода сквозь песок, но Ивлев запоминал главное: Павла разошлась с мужем, у нее дочь...

А когда они расставались перед въездом в город, Ивлев, улыбаясь, по-детски проникновенно воскликнул:

— А приезжайте ко мне!

— А приеду! — в тон ему с какой-то тайной радостной интонацией ответила Павла.

Так вот и началось.

Вскоре Павла появилась в загородном доме Ивлева на берегу озера с необитаемыми островами и вороньим граем на вечерних сосновых кронах. Ивлеву странно запомнился один миг, — может быть, и незначительный на первый взгляд, но заставивший его сердце щемяще сжаться.

...Павла бежит по лугу перед домом в белом платье. Высокая некошенная трава клонится от ее шагов налево, а по правую руку от нее — цветы: лютики, кашка, одуванчики... Цветы, вытянувшись, смотрят ей вслед со своим неведомым разумением. Вот она промелькнула мимо деревянного колодца, задев полою платья шершавую доску, и Ивлев ощутил Павлу в новом, сказочном облике: будто это и не колодец, а замшелая, старая бабка, зорко и всевидяще глянувшая на Павлу, а сама Павла почудилась ему птицей, скользкой по лугу наискось с поникшим, нежным, волочащимся по зелени крылом...

...Они сели в лодку и поплыли к острову. На пригорке, отделяющем сосновый лес от березняка и буйного кустарника, Павла празднично расстелила скатерть. Резала крупно хлеб и сыр, а Ивлев деловито выбивал тугие пробки. Сквозь листву проступала синяя, в полуденных солнечных блестках озерная вода, оглушительно трещали островные птицы, и казалось, что этот простой завтрак возник сам по себе как часть природы. Когда они поели, Павла по-крестьянски рачительно собрала крошки и высыпала их на широкий срез пня, приглашая пернатую живность. И было над ними только небо в узких полосках тихих северных облаков.

Стлался пряный, по-звериному острый запах земли, не тронутой здесь ни прохожими, ни туристами.

Через несколько дней после отъезда Павлы Ивлев, тоскуя по ней, отправился один на остров. Медленно всматривался в каждую травинку, отыскивая приметы их встречи. Точно так же свисали ветви рябины с зелеными, чуть заалевшими ягодами, топорщились серо-желтые шляпки опят. Трава, густо пестревшая кашкой, еще не успела подняться, придавленная и примятая их телами, кое-где всхолмленная впившимися в землю каблуками. «Вот и все, что осталось, а когда приеду в следующий раз, не останется уже и этих следов, — подумал Ивлев. — Но ведь следы в душе, сердце, сознании!..» Но нечаянная мысль болью пронзила его: «Ведь и там не навечно, не навечно...»

...Ивлев провожал Павлу в дождь. Он стоял на перроне, а струи дождя стекали по мутному, невымытому стеклу провинциального поезда, и от этих тонких серых струй лицо Павлы, застывшее за окном, казалось изборожденным горькими морщинами. Ее чудные

при солнечном свете глаза были словно подернуты пеплом, и чем-то древнеиконписным дышал ее напряженный, скорбный до слез, прощальный лик.

Поздней осенью они встретились в маленьком старинном городке, в котором провела свое детство Павла. Павла работала в краеведческом музее, и в этом городке у нее были свои рабочие интересы.

Ивлев терпеливо ждал, когда она уходила по делам. Он проводил Павлу в райком комсомола, а сам по булыжной дороге спустился к реке, сел на скамью у кромки воды.

Лениво текла река, высокие стройные камыши не подчинялись ее течению и не гнулись. На противоположном берегу однообразно звенел колокольчик на шее коровы, и, пожалуй, это был единственный звук в хрустальной, прозрачной тишине. «Вправе ли я желать чистой любви, когда сам так несовершенен? — размышлял Ивлев, и перебирал в уме, сколько ложного, поверхностного есть в нем самом, в его равнодушных улыбках, с которыми он зачастую обращался к собеседнику, спеша куда-то и заботясь о другом. — Но разве это суть моя? Ведь Павла обнаруживает во мне то, что делает меня личностью и душевным человеком...» Звенел и звенел колокольчик, и мысли Ивлева в этой земной успокоенности парили в воздухе, не сталкиваясь и не переплетаясь друг с другом.

Он вздрогнул от донесшегося с края обрыва голоса: «Заждался!» Ивлев вывернул шею, увидел Павлу и замер. Ивлев смотрел на нее снизу вверх, и женщина, вдавленная темной фигурой в голубизну беспредельного за ее спиной неба, казалась невещественной. Рыжее облако ее волос переливалось золотистыми оттенками. Это была не та женщина, которую Ивлев знал, целовал в теплые, мягкие губы. Он с обостренностью почувствовал, что это — видение, что оно готово к полету неведомо куда и к кому. «Да что же ты! Иди сюда!» — крикнула Павла, и видение исчезло. Живая Павла звала его. Но в течение всего дня он нет-нет да и вспоминал эти минуты, и они отзывались в нем тоскливыми ударами сердца.

Днем они поехали на лесокombинат — туда нужно было Павле. Подошли к проходной склада и с наслаждением вдохнули смолистый сосновый аромат. Ивлев остался в закутке у сторожа возле ворот склада, а Павла ушла в глубь складского двора.

Сторож был сед, гнут в спине, радушен. Он снял с плитки потемневший чайник и улыбнулся Ивлеву: «Погоняем, ожидаючи?» Работа его не отвлекала: лишь когда выезжали грузовики, он выглядывал из оконца и записывал в тетрадь их номера.

«Вот так и живем», — словоохотливо начал сторож для того, чтобы завязать беседу. «И давно здесь?» — поддерживая разговор, спросил Ивлев. «А я всегда здесь, — откликнулся сторож. — Отродясь и не выезжал отсель. Война заявилась, так нас на лесоповал толкнули... А там сам знаешь: мокрынь да наледь, под брезентом, ровно под листом березовым, ночевали. Ну, и пошли у меня в крестце прострелы. Ишиас, по-научному. В армию и не увезли. Тут же я, на месте, всю Отечественную волокуши ладил для собачьей упряжки. Чтоб раненых тащить с поля боя. Может, кака душа и моим ремеслом спасена была. Затем мир установился, и на распиловке год за годом усердствовал. Два раза на доску почетную попадал. А напоследок прострелы паче прежнего учинялись. Ну, и я в сторожа — работенка не така ершистая».

Дверь в сторожку распахнулась, и вошла пожилая женщина. Сторож ткнул обрадованно пальцем в ее сторону и сказал: «Во, бабка моя!» А женщина, не глядя на Ивлева, зачистила: «Иван навоз нам на коне привезти взялся. А как пьян был, всю телегу на колдобьях растряс. Навоз вдоль пути, аки стежка! Да что с ним, кобелем, делать-то?» — «Непорядок», — степенно согласился сторож, а жена выскочила и пустилась пробежкой — наверно, к незадачливому Ивану меры принимать. «Видишь, — с гордостью пояснил сторож, — рачительная особа, бабка моя. Что о курах, что о детях — обо всех в заботе. Одну ее при себе всю жизнь держу. Никаких таких у меня «ать-два налево» не случалось. А уж мастерица стол сочинять: и тебе грузди белые с хвойной иголкой для запашку, и картоха, да чтоб пар курился, да капуста — как хрустнешь, так окно бренчит, а посередочкн — вино-самоделочка», — сторож аж зажмурился от предвкушения. Ивлев молча прихлебывал чай: «Вот судьба человеческая — как дерево:

где упало семя, там и проросло, там и вызрело, и кроной зашумело, и свои семена по свету пустило... А я толком и не знаю, где же для меня самое дорогое место на земле. Всюду вроде родная земля! А ведь не всюду! А там, где ты из семечка вырос и сам семя бросил». Ивлев осознавал с неотстранимой душевной назойливостью, что через Павлу, через людей, знакомых ей, он приобщался к особым человеческим нравственным понятиям, в которых заложено, может быть, гораздо больше ценного, чем Ивлев мог постичь.

Ивлев очнулся от своих мыслей, когда на обочине шоссе взметнулась белая милицейская палочка.

— Превышаете скорость. Права.

— Да, надо бы медленней, — еще не отключившись целиком от своих воспоминаний, согласился Ивлев.

Милиционер удивленно взглянул на него и добавил назидательно:

— Из столицы. Следует показывать пример. И снова нескончаемая лента шоссе шуршала под упругими колесами.

...В тот день, когда они с Павлой от склада подходили к автобусной остановке, Павла сказала по-детски:

— Погоди, возле моей школь: такие пирожки продают!..

— На автобус опоздаем.

— Ничего, успеем!

Ивлев ждал ее, выйдя на мостовую, с нетерпением поглядывая на часы.

Павла выскочила из-за поворота улицы с большим кульком в руках, из которого рыжей макушкой высовывался пирожок. Она шла по-девичоночьи стремительно, при каждом шаге распахивались полы ее юбки и круглые коленки вылетали, как мячики. Сколько радости было на ее милом лице! У Ивлева похолодело внутри: «Господи! А я ведь ее теряю, и никогда мне в жизни не прикасаться к подобной чистоте...»

— На! — счастливо сказала Павла. — Какие вкусные! Мы всегда на переменках ели!

Ивлев не любил пирожки, да еще с повидлом, но он откусил плохо выпеченный, лоснящийся жирной пленкой пирожок и солгал:

— Вкусно...

— А давай вечером в ресторан сходим! — возбужденно воскликнула Павла.

— С удовольствием, — кивнул Ивлев, и тут он не лгал — рестораны он любил.

...Ресторан помещался в бывшем купеческом особняке, но, собственно, на этом и кончалась его респектабельность. Развеселый гардеробщик принял у Павлы и Ивлева плащи, хохотнул, подмигивая: «Глаз у меня наметанный — что взял, то отдам, а номерков нетути...» Они поднялись по темной лестнице, вошли в зал и сели за свободный столик у окна. Соседи — сплошь молодые — смачно звенели стеклянными графинами, шапок не снимали: скрежеща по тарелкам, нанизывали на вилки немудреную закуску, а выпив, бродили от стола к столу, шумно приветствуя знакомых и дружелюбно хлопая их по загривкам. Когда кто-нибудь стучался лбом в застиранную желтую скатерть, официантки выходили на площадку лестницы и окликали гардеробщика:

«Михеич! Васька прополовинился». И Михеич с ласковым приговором: «Слабак, малыш, а туда же...» — тянул парня из зала.

Подошла официантка. «Сухое вино есть?» — спросил Ивлев. «Да оно отродясь все мокрое, — серьезно ответила девушка, — есть у нас одно, только наши-то его не обожают». Официантка принесла в бутылках с продолговатыми горлышками редкий венгерский «Токай». Плотный слой пыли покрывал стекла. «Белое предпочтительнее, — объяснила официантка, протирая бутылки, — нате...»

Дубовые пробки были плотно загнаны в горла бутылок. «А пробочника нет, ни к чему...» — и официантка, наливаясь весельем, следила, как Ивлев, поднатужась, проталкивал вилкой пробки вовнутрь. «Мастер», — похвалила она.

Павла и Ивлев отхлебнули прекрасное вино и нежно поглядели друг на друга.

— Ты подарила мне чудесный день, — сказал Ивлев.

— Видишь, — грустно улыбнулась Павла, — мы с тобой способны только дни друг другу дарить, а единой жизни без подарков не получается.

В зале возникло легкое движение. По лестнице поднялся Михеич, орлиным взглядом обозрел «младое племя» и произвел некоторое опустошение в его рядах. Официантка застлала столик в углу свежей скатертью. Из-за занавески, отделяющей зал от внутренних помещений, выпорхнула директор ресторана. «Сказали, что с гостем заглянут», — важным шепотом сообщила она официантке.

Минут через десять в зал вошли двое: молодой мужчина с фарфоровым, бледным лицом, со светлыми волосами, будто припудренными желтой пудрой; спутник его был кругл, низок, ничем не примечателен. «Прошу, Виктор Федосиич», — прокудахтала директриса, и Ивлев уловил, что Павла словно поджалась — не вздрогнула, не смешалась, а именно поджалась.

Молодой человек заметил Павлу и, по-птичьи взмахнув руками, подошел к столику. «Какими судьбами?» — «Знакомьтесь, — сказала Павла, — художник Ивлев». Мужчины кивнули друг другу. «Интересуюсь очень живописью», — оживился молодой человек. Павла молчала. Ивлев не пригласил их сесть, и гости проследовали к своему столику. Пошущукавшись с Виктором Федосеичем и обслужив его, озабоченная директриса подошла к Ивлеву и заговорщически склонилась над его ухом: «Поступили севрюжка горячего копчения, раки и пиво «Пльзень». Желаете?» — «Нет, не желаем, — громко сказал Ивлев и добавил: — Еще по гуляшу и два «Токая».

— А кто это? — стараясь быть равнодушным, спросил Ивлев Павлу.

— Местный начальник, — усмехнулась она, и усмешка эта выглядела одновременно и жалкой, и вызывающей.

Ивлев много пил, и чем больше пил, тем чаще перехватывал взгляд Виктора Федосеича, который тот бросал на Ивлева. И вдруг почувствовал в этих мимолетных взглядах какое-то оценивающее бесстыдство, словно тот, из угла, примеривался к Ивлеву и прикидывал, чего он стоит. «Счет, — бросил Ивлев официантке и, не глядя на Павлу, произнес; — Пора, наверное...»

Они вышли из ресторана, и резкий влажный ветер ударил навстречу им. Они молча прошли половину пути, и Ивлев, мучимый подозрениями, внезапно остановился, повернул к себе Павлу, сжал ее запястья и выдохнул, стараясь разглядеть ее глаза:

— Он был твоим любовником?

С искаженным лицом, вырываясь из рук Ивлева, Павла выкрикнула:

— Да!.. Да!.. Был!.. — и побежала к гостинице.

Ивлев догнал ее.

— Ты любила его? — пытаюсь придать голосу спокойный тон, спросил он.

— Да нет же, — устало и обреченно возразила Павла.

Темное, дикое бешенство горячей волной обожгло Ивлева, и его больное воображение рисовало картины, картины...

— Я тебя люблю, как никого! Да сообрази ты!.. — истерически звенел голос Павлы.

— Конечно, конечно... — механически твердил Ивлев.

Это была их самая исступленная ночь, они ласкали друг друга, прощая и прося прощения, подсознательно чувствуя, что после такой ночи у них уже не будет счастливых ночей.

Ивлев неожиданно понял, почему так наперекось все у него пошло с Павлой. То огромное и прекрасное, что сразу явилось в его жизни с Павлой, казалось ему минутным, как всякое счастье, казалось какой-то осиянностью, у которой не может быть будущего. А если это будущее искусственно создавать, то никакой уже осиянности не будет, а будет одна лишь обыкновенность, так же как у тысяч других людей, такая, как и у него самого в жизни. Но ведь бывает душевное счастье, рожденное в муках? — спрашивал себя Ивлев. Бывает, отвечал сам себе, но редко, так редко — сто человек сломают прежнюю жизнь, а

одному лишь счастье выпадает... И он не находил ни воли, ни силы, чтобы, не оглядываясь ни на кого, сказать просто и мудро: «Я начинаю сызнова свой путь...»

Северный город проглядывался на горизонте домами, трубами, желтыми дымками в послеполуденном небе. За раздумьями и воспоминаниями незаметно промелькнул весь путь, и Ивлев удивился тому, что так быстро доехал. Вид города вернул его к реальному ощущению событий. Где искать Павлу? Как отнесется она — ведь она не ждет его сегодня?

Прежде всего Ивлев разместился в гостинице и спросил администратора: «А где у вас городское кладбище?» Администратор вскинула брови, но, видимо, ко всему привыкшая на своем посту, объяснила Ивлеву, как проехать на кладбище. «Ее надо искать там, подойду незаметно, увижу ее...» А что дальше делать, он сам не знал. Оставив машину на площади возле кладбища, Ивлев, оглядываясь, крадучись, скрываясь за спины идущих впереди людей, вошел на кладбище.

Выглядев, где хоронят, он осторожно пробирался среди могил, издали стараясь различить Павлу в темной толпе, окружавшей выкопанную яму. Люди были одеты в черное, тесно прижаты друг к другу, и он с точностью не мог определить, среди них ли Павла. Он замер возле покривившегося, обросшего зелено-желтым мхом гранитного памятника, решив дождаться, когда люди, похоронив, станут возвращаться. Стоять ему было неудобно, заслоняясь широким каменным крестом, он присел на цоколь памятника и с изумлением разобрал полустершиеся стихотворные строки о дожде, выбитые в граните. Его поразила последняя строфа: «Не спеши, прохожий, не страшись дождей, струи — кости тленных, вымерших людей».

Ему стало страшно от этих слов, и вся затея с поиском Павлы на кладбище показалась кощунственной. Вблизи раздался плач: «На кого, родимый, покидаешь сирот своих...» И он понял, что у той могилы Павлы быть не может. Он пошел к выходу и наткнулся невдалеке от кладбищенской ограды на свежую яму. Она была только что выкопана, глубинная земля, вывороченная по ее краям, еще не успела на солнце обсохнуть, и земляные черви, раздраженные обилием света, конвульсивно сокращали свои продолговатые тельца, стремясь скорее вновь уйти в глубь почвы. Взгляд Ивлева приковал мохнатый лиловый цветок на бровке могилы. Случайным взмахом лопаты он был срезан в полстебля, но следующий взмах отнес головку цветка чуть в сторону и воткнул его в рыхлую землю. Он еще казался цветущим, еще шевелились налитые ворсистые лепестки, но со срезанного, обнаженного стебля, медленно набухая, скатывались тяжелые капли сока... Навстречу шел молодой мужик, ситцевая рубашка плотно облегал мускулистую грудь, сапоги по-хозяйски вминали траву, на плече колыхалась лопата. Лицо было открытое, радушное и даже веселое. «Могильщик», — сообразил Ивлев и спросил, не хоронили ли маленькую девочку сегодня. Могильщик, словно обрадовавшись собеседнику, с готовностью ответил: «Почитай, третий день детишек не хоронят. И нонче никакой маленькой девочки не случилось». И добавил с некоторой гордостью: «Я ведь тут каждую ямку сам обделяю». Он пнул ногой в кромку ямы: «И эта моя... Для Иван Прохорыча с хлебозавода... Достойнейший, скажу, был человек... Сосед мой. Пропускали мы с ним с устатку». Могильщик вздохнул, печалась о компаньоне, которого он лишился, и еще раз добавил: «А чтоб девочек нонче, — так ни в жись...»

И тут Ивлев подумал: а не хоронят ли дитя на каком-нибудь окрестном сельском кладбище? И Павла там. А подумав так, решил ждать вечера.

Вечером, дозвонившись до Павлы, Ивлев встретился с ней возле городского парка. Осунувшаяся, с бледным и поблекшим лицом, она хранила в себе все тягостные минуты дня.

— Зачем ты приехал сегодня?

— Приехал, — односложно ответил Ивлев.

— А где остановился?

— В гостинице.

— Слушай, Ивлев, — она продолжала смотреть на него так же сурово, и ее светлые глаза были матовые, холодные, — женись на мне. Я буду хорошей женой.

Она произнесла эти фразы резко, выделяя каждое слово.

Опешивший Ивлев, собираясь с мыслями, молча глядел на нее.

— Ну, хорошо, — невесело усмехнулась Павла, — позвони мне завтра. Я сегодня сама мертвая от усталости...

Она повернулась и пошла прочь. Ивлев постоял, пока Павла не скрылась, сел в машину и тронулся в сторону выездного шоссе...

Когда он отъехал километров тридцать, остановил машину у обочины, вышел на опушку леса, залитого прозрачной вечерней белизной. Он охватил голову руками, вновь и вновь воскрешая каждый жест и слово Павлы в момент расставания. А ведь горе человеческое, с которым прожила она весь день, открыло ей прямую, необкатанную правду жизни, и она сказала то, что в иной миг никогда бы не сказала! Но в этом ведь заключались ее внутренние мысли о жизни, ее стремление к неразделимости с тем, кого она любила. А иного в жизни не надо ей, не надо, потому что все так кратко, быстротечно, и раздавать себя по частицам, украдкой — значит самой надругаться над тем чувством, которое посетило ее.

Ивлев вспомнил, как в один из своих первых приездов к Павле они ходили в гости к молодой поэтессе, удивительной девушке, прикованной болезнью к постели. У нее были лучистые, извергающие сияние глаза. Ивлев слушал ее бесхитростные стихи, размягчаясь и печалась:

Листку с ветвей легко ль срываться,
лететь неведомо куда?

Мой друг, так трудно расставаться,
не зная, свидимся ль когда?

Тревожно, бережно и тайно
я буду думать про тебя,
а ты, вдали безвестно тая,
живи, не мучась, не скорбя.

«Не мучась!», «Не мучась!» — и отчаянье, и брезжущий свет надежды проникали в мозг Ивлева, и Ивлев осознавал, что уже не сможет ни жить, ни работать так, как жил и работал прежде.

Печальюсь и улыбаюсь

Памяти В. В. Т.

Может быть оттого, что я родился и вырос в городе и все военные, блокадные дни круг моей жизни был ограничен городской чертой, во мне в юношескую пору зрело томящее душу желание увидеть русскую землю с ее дорогами, деревнями, цветущими полями, влажными еловыми лесами, услышать песенное и старинное слово.

Но осуществить мечту я смог едва ли не на двадцать пятом году своей жизни, уже выпустив первую книгу и числясь среди молодых поэтов.

Поезда, попутные грузовики, подводы увозили меня в самую сердцевину костромской земли. Названия мест, где я появлялся, звучали для меня музыкой: Шарья... Шабалино... Верхняя Вохма... Нижняя Вохма... Я обращался с людьми доверчиво и ненасытно. С кем только не перекрещивался мой путь! С крестьянами, еще не утратившими чувствования всех таинств земли; с молодыми пылкоглазыми следователями, разбирающими пьяные драки в леспромхозах; с замшелыми старцами, чьи окладистые бороды воскрешали эпоху

протопопа Аввакума; с веснушчатými девами, у которых от налитых грудей лопались сарафаны... Переполненный красотой, красками, запахами отчей земли, я в конце концов очутился под Галичем в старинном поповском доме. Вдова-попадья доживала свой век, переписывалась с моей бабушкой, женщиной глубоко религиозной, — посему я был принят с особой ласковостью. Я не хотел застревать у попадьи, но нежданно задержался на несколько дней. От мужа у нее остался ворох церковных документов, служебных бумаг, начиная с девятнадцатого столетия. Часами сидел я в кладовке, где были свалены бумаги, разбирал их, вчитываясь в непривычный строй речи, удивляясь выразительности языка. Мне попались листы, помеченные 1825 годом. Это были расходные записки. Расчеты велись тщательно:

«...за сто железных гвоздей теснопетельных, купленных в городе для приколочения крюков и петель, заплачено семьдесят пять копеек».

«...за шесть бутылок красного вина, купленного в ярмонги по два рубля каждая, итого заплачено дванадцать рублей».

Я обратил внимание на дату: 14 декабря 1825 года, то есть в день, когда на Сенатскую площадь вышли мятежные гвардейские полки. Как неожиданно и странно я приобщился к той великой эпохе! Моя романтическая фантазия работала необузданно. И я уже видел сам себя бравым гусарским поручиком, волею случая занесенным в снежное захолустье, тоскующим по столице, друзьям, духовному единению с ними. И словно откликаясь на мятущееся предчувствие молодого гусара, слышится звон колокольца. «Господи! — вопрошает гусар. — Да никак кто едет!» Он выбегает на крыльцо. Навстречу из саней выпрыгивает разгоряченный товарищ, и его прерывистый шепот жжет сознание: «Скорее в дорогу!.. Промедление нетерпимо... Император умер... Готовится приведение войск к присяге...» И вот они уже оба мчатся и день, и ночь, меня лошадей, восторженные, высоко возносящиеся мечтой.

Кровь ударила в лицо от картины, созданной воображением, и я не сразу уловил и скрип шагов хозяйки по рассохшейся лестнице, и осторожные постукивания в дверь. Когда же дошло до моего сознания это старческое постукивание, я вздрогнул, бросился к дверям и сам распахнул их.

— Прости, что побеспокоила, — молвила попадья Таисия Петровна, — да только срочно телеграмму тебе принесли... — Лицо ее было слегка испуганным.

Я чуть не вырвал полоску бумаги из ее рук, впился глазами в краткие строки: «Приезжай Ярославль праздновать приняты Союз писателей...» — и подпись товарища.

— Что-нибудь случилось? — с беспокойством вглядываясь в мое лицо, спросила Таисия Петровна.

— Нет! Просто я сейчас счастлив! — и, полный нахлынувшего озорства, еще не расставшись окончательно со своим видением, крикнул: — Таисия Петровна! Велите заложить тройку!

Таисия Петровна, боязливо моргая, перекрестила меня.

Товарищ уже ожидал меня на вокзале. Мы обнялись и какие-то мгновения стояли друг перед другом, смотрели друг другу в глаза, не двигаясь, и без слов по янтарно блестящим зрачкам товарища я чувствовал его необыкновенный душевный подъем, счастье и от жизни, и от того, что мы вместе. Нам искренне представлялось, что произошел важный отсчет в нашем жизненном времени и впереди лежит дорога удивительная, нежданная и оттого щемяще-волнующая.

— Пойдем, — сказал товарищ, — я и номер нам снял, в таких номерах мы с тобой не жилали.

Номер состоял из спальни и гостиной, а гостиную занимал длинный стол, принесенный или из какого-то учреждения, или из бывшего купеческого дома. Мы уселись за стол и улыбнулись. И в этих улыбках снова ощутили подтверждение радости, охватившей нас, — ведь мы дружим, ведь мы славно идем по жизни, ведь нам обоим одновременно

светят удачи. Совпадали звездные минуты наших жизней, и мы были преисполнены добра и доброты ко всему, что нас окружало.

— Нет, — сказал товарищ, — ну, зачем мы с тобой сразу за стол, успеется... Пойдем, я тебе покажу древнерусские иконы в Ильинском соборе — диво...

Ильинский собор был превращен в музей, и, поднявшись по ступеням, мы увидели будку, в которой сидела кассирша и продавала входные билеты. Я достал мелочь и протянул в окошечко. Но лишь кассирша подняла голову, как я оторопело замер: передо мной находилась девушка с поистине ангельским фарфоровым личиком, голубыми, как ранние незабудки, глазами и вьющимися белокуроыми локонами. Показалась она мне не от мира сего, а существом, залетевшим на миг в это обшарпанное фанерное сооружение, чтобы встретить нас и ввести под своды храма.

— Бог мой! — воскликнул я непроизвольно. — С первого шага и сразу искушения!

Мы стояли у будки, не прикасаясь к сдаче и билетам.

— Пожалуйста, — словно пропела девушка.

— Подожди, — сказал я товарищу. Вышел из собора и, вновь поднявшись по ступенькам, подошел к будке и протянул деньги на билеты.

— Вы уже брали, — удивилась девушка.

— Мы хотим, чтобы вы еще раз взглянули на нас, — с долей развязности выпалил я. Девушка посмотрела мягко, но с укоризной.

— Здесь не место для игр. — И мне стало неловко.

Мы вошли в собор. Золотисто-матовый солнечный сноп, прорываясь сквозь верхние окна храма, трогал лики святых, и нетленные краски икон вспыхивали, сияли желтизной. Охватывала какая-то неосознанная боязнь, потому что при вглядывании в древние образы улавливались в них черты, мимолетные человеческие движения, свойственные тем людям, которых мы знали и которые были живы. Поражала богородица с младенцем на руках. Художник писал женщину восточного облика, с глубокими темными глазами, не полнолицую, а с опавшими щеками, с крутым изгибом бровей... Но был взор. Не просто чернота зрачка, а откуда-то из глубины веков шел взор, живой, печальный, нелегкий. Как будто за старинной иконописью просматривалась неведомая крестьянская русская мать. До боли в глазах хотелось запомнить это совершенное творение, и предположение, что, может быть, больше никогда в жизни мы не попадем в эти места, удерживало нас, не позволяло повернуться спиной и тронуться к выходу.

Но когда мы все-таки двинулись к выходу, я, выйдя на паперть собора, с изумлением отметил, что взгляд мой упирается в окна нашего гостиничного номера, — невидимая нить соединяла сверкающие на закате стекла и гранитные ступени. Ничего не объясняя товарищу, я вновь подошел к девушке и сказал с задушевностью, в которую она вроде поверила.

— Мы приезжие, вон окно наше, — я указал на гостиницу, — можно, мы вам завтра ровно в девять из окошка помашем? А вы нам ответите тоже...

— Хорошо, — застенчиво кивнула девушка, — я вам помашу.

Наступал вечер. Вспомнилась девушка, и то, что наутро мы поздравим друг друга с новым днем, наполняло душу ясным и ровным светом.

— Давай чаю попьем, — сказал товарищ.

— А если...

— В другой раз, я хочу стихи писать...

Я не мешал ему, и он, склонясь над большим столом, углубился в свои думы, изредка набрасывал что-то карандашом на листке бумаги.

— Послушай-ка! — оторвался он от тетради. И прочел стихи об Ильинском соборе.

...С небес сошедшие святые на поле жнут...

Я, возвращаясь к своим переживаниям в храме, когда святые предстали передо мной в образе людей, знакомых мне, заметил:

— А может быть, лучше «как смерды, жнут»?

Он согласился.

Хорошо просыпаться, когда с первой мыслью приходит чувство, что тебя ждет радость. С таким чувством мы проснулись, умылись, надели свежие рубашки, повязали галстуки и, весело переговариваясь, стали ждать девяти часов. А около девяти шумно распахнулись створки окна, и к нам ворвались солнце, ветер, живой шум города. Мы стояли у подоконника и приветственно махали белокурой девушке, которая отвечала нам слабыми всплесками рук.

Позже мы узнали имя девушки. Ее звали Тоней, она училась в медицинском институте. На следующий день у нас собиралась солидная компания: Николай — редактор молодежной газеты, его друг военный, — и мы решили, что пригласить в гостиницу Тоню вполне пристойно, Ярославские друзья приносили за нее тосты, а Тоня, едва пригубивая, сидела молчаливая, строгая, как на экзамене. А потом мы распрощались с гостями, проводили Тоню и пошли вдвоем прогуляться по городу.

Мы шли, и нам думалось, что все встречные смотрят на нас с душевным расположением. Но вот навстречу нам из-за угла вынырнула ватажка парней, разухабистых, в клешах и тельняшках. Я увидел знакомые морские рубахи и вмиг вспомнил свою Балтику и свой морской город.

— Братцы! С Балтики! — завопил я, обращаясь к парням, желая проявить к ним свое душевное участие. Парни, видимо, только и ждали повода, чтобы развернуть вширь свои натуры.

— Может, кто и с Балтики, а мы с Волги, — произнес их предводитель так мрачно, словно ему нанесено было смертельное оскорбление.

— А мы с Балтики! — по-дурачки восторженно закричал я. Судя по всему, сидение в застолье не прошло бесследно.

— А мы... — начали парни и, грозно запнувшись, стали медленно надвигаться на нас.

И тут мой товарищ совершил поступок, который потом вспоминал всю жизнь и которым подтверждал всегда при наших спорах свою рыцарскую поддержку меня. Он, не дожидаясь, пока к нам приложатся, сам размахнулся и врезал кулаком в скулу предводителю. Парни от неожиданности застыли, а предводитель покачнувшись на тротуаре и завалился на створку двери соседнего дома. Створка плавно отворилась, парень провалился в темноту парадной, и створка вновь встала на свое место.

— Бежим!

С какой ретивостью мчались мы по улице! За нами гулко звучал галоп преследователей, прохожие в испуге прижимались к стенам. Мы взлетели по ступенькам в нашу гостиницу, швейцар профессионально замкнул дверной крюк.

— Отдышитесь, отдышитесь, — покровительственно сказал он, — а отблагодарите меня, возражать не стану.

Наутро мы с товарищем в подробностях обсуждали происшествие. Он слыл очень сдержанным с людьми, и это был, по-моему, его первый и последний удар в скулу противника.

— Нет, ты знаешь, а вдруг я его убил! — возбужденно восклицал он. — А может, он так и лежит в парадной. Давай сходим!

Было абсурдно искать нашего недруга в парадной. Но мы отправились на ту улицу, и товарищ, сосредоточенный и напряженный, распахнул дверь. С лестницы спускалась женщина с ребенком. Труп поверженного нигде не виделось.

— Нет никого, — с некоторым удивлением сказал товарищ.

Моего товарища уже нет на земле. И общие знакомые рассказывали мне, что незадолго до смерти он вновь вспоминал эту историю и снова искорки удивления чуть вспыхивали в его утомленных болезнью глазах — как же там никого не оказалось. И я осознаю теперь, что, если товарищ должен был в своей жизни так по-мужски, проявляя силу, вступить за

кого-то, он должен был это совершить именно тогда, в Ярославле, в звездный час своего земного бытия.

Возвращаясь в гостиницу после обследования парадной, мы заглянули к Тоне и, слегка бравируя, рассказали ей о нашем приключении.

— Он, мальчики, — совсем по-девчоночьи с неподдельным волнением воскликнула она, — да это пристанские хулиганы! Они бы с вами все сделать могли бы!

Меня поразили не столько слова, которые она сказала, сколько беспокойство, сквозившее в интонациях ее голоса, в посуровевших чертах ее лица. «Что это с ней?» — мельком подумалось и растаяло среди других мыслей.

Тоня нравилась нам обоим. И в этом было как раз то, чего мы — может быть, даже неосознанно — боялись. Нет, ничего не должно быть, что могло бы смутить установившуюся гармонию нашей дружбы с товарищем. Мы, наверное, потому не ухаживали по отдельности за нею, чтобы не принести огорчения друг другу, и между нами и ею установилась, как мы считали, спокойная приятельская близость.

Я в эгоистическом ослеплении своим благополучием не стремился уразуметь, что ее общение с нами и нашими видными ярославскими друзьями сообщало жизни Тони, скромной студентки, подрабатывающей летом на «музейном объекте», завораживающий, щедрый настрой, о котором она и не подозревала ранее. Она перестала нас дичиться и, когда мы ее приглашали куда-нибудь, шла с нами.

Наступило время разлуки.

Товарищ уезжал из Ярославля раньше меня. Мы провожали его в вокзальном ресторане — Николай, Тоня и я.

Николай был нашим добрым гением в Ярославле. Когда мы звонили ему в редакцию, он сначала спрашивал: «Ну что, поиздержались? Несите бессмертные творения». Ненапечатанного у нас было много, и мы спешили в редакцию. Николай проглядывал стихи, водил пальцем, подсчитывая строки, затем открывал ящик своего стола и протягивал нам гонорар. «Ну, что ребята, — говаривал он, — я стимулирую ваше творчество?..» В городе его знали, в чем мы еще раз убедились в вокзальном ресторане.

Официантки порхали возле столика, закуски подавали свежие и ароматные, а водочка содержалась в запотевшем графине. Перед отходом поезда, с которым должен был уезжать товарищ, Николай подозвал официантку и сказал просто:

— Все, что на столе, — в купе молодому человеку. Чтобы не скучал...

Официантка соображала, что в накладе не останется, и потому спросила игриво:

— Со скатертью, Николай Иванович?

— Со скатертью, — серьезно подтвердил Николай.

А потом мы стояли на перроне и смотрели вслед уходящему поезду. Товарищ свешивался со ступеньки вагона и все махал и махал нам, улетаая в прекрасную и огромную жизнь. В этом никто из нас не сомневался.

Я возвращался в костромские края, и Николай вознамеривался отвезти меня до Волги на редакционной машине. Тоня тоже поехала с нами.

Добрались до речного переезда, вышли из машины, обнялись с Николаем. А потом он вдруг, мельком глянув на меня и на Тоню, отстраняясь, бросил нам:

— Теперь прощайтесь сами. У меня дела, — и стал подниматься по взгорью к деревенскому дому.

Мы с Тоней растерянно переминались с ноги на ногу.

— Проводишь до парома? — спросил я.

Она кивнула головой, и мы пошли, выбирая сухие места, огибая лужи и оттого то сходились, то расходились с нею.

Плескалась волжская вода, и на берег надвигался неуклюжий паром, заставленный машинами, повозками, каким-то багажом. А за Волгой раскинулась Кострома с белыми домами, судами у берега, с сияющими куполами.

И вдруг я услышал едва произносимые слова Тони:

— Возьми меня с собою в Кострому... Я там никогда не была...

Уж не почудилось ли мне? Я взглянул на Тоню и по румянцу, залившему ее щеки, понял, что она и вправду эти слова сказала.

Сбивчиво и торопливо, глядя в сторону реки, я проговорил:

— Я тебе напишу... Напишу из деревни... — и, подхватив чемодан, зашагал к парому.

Устроился на пароме и, когда паром тронулся, посмотрел на берег. Тоня не уходила с берега, она была в своем обычном голубом платье, и платье, по мере того как удалялся паром, все бледнело и бледнело, пока совсем не слилось с желто-зеленым откосом. Только черная машина Николая еще мерещилась вдали. В какую-то минуту мне стало не по себе, но я отогнал это неясное и краткое тоскливое ощущение, — ведь передо мной простиралась прекрасная и огромная жизнь.

В Костроме, в гостинице, я сразу лег спать. Сон мой сначала был тяжелым: я печалился во сне оттого, что не мог найти что-то потерянное, но потом повернулся на правый бок и улыбнулся во сне той торжествующей дороге, в которую я спешил, а кладбищенские кресты в конце ее мне еще тогда не снились.

Матушка

Дом был старинный, поповский, с чуланчиками, кладовушками. В жаркое лето рассыхался и поскрипывал каждой дощечкой, а в осенние дожди чернел и облезал.

Когда-то в нем было богато и шумно. Сына поп послал в Кострому, в семинарию. Да так и ахнул, когда весной восемнадцатого года вернулся сын не благолепным молоденьким священником, а красным комиссаром со звездами на рукавах и на потрепанной буденовке. На реквизированном тарантасе колесил по уезду, тряс душу из прыгунчиков и торжественно вручал красные знамена продотрядам.

Поп-отец не вынес такой обиды, стал хворать, хиреть, да и помер. А для матери Ванечка, как и прежде, был светом в окне. Работу его считала наваждением, верила — образумится, а пока еще — молод и зелен. Сын редко бывал дома, случалось, и месяцами не заглядывал, но под Первое мая всегда приходила от него открытка, где он поздравлял мать с «мировым революционным праздником всех трудящихся».

А в двадцать первом году постучались в ворота трое красных комиссаров, вошли во двор, не поднимая глаз, и старший сообщил, что утонул Иван Иванович Боголюбов в бурную ночь при переправе на Чухломском озере. Закликала, забилась при такой вести мать и с тех пор, сразу потемневшая и высохшая, захоронилась в своем доме.

Жить стала в горенке, заставленной горшочками со столетниками и иконами. Из остальных комнат выветривался жилой дух, даже клопы покинули порыжевшую обивку кресел.

Мать старела, выплакивала глаза и уже просила соседскую девочку наколоть дров, принести воды. В темноте вечера стали пугать шорохи, и пустила она к себе старуху пастушку, плутоватую, нечесаную, падкую на вино.

Праздники праздновала только церковные: говела, постилась, как-то и пособоровалась. Но один советский праздник праздновала в память о сыне — Первое мая. Теплила лампы, доставала из сундука открытки, где на алых конях мчались алые конники с запрокинутыми саблями, долго их разглядывала и гладила. Наутро, закутавшись в темный платок, шла в город. А Сенька-кузнец, успевший окосеть еще до восхода солнца, распахивал кулаком окно и кричал: «Аль на демонстрацию, матушка? Проняла, значит, революция?»

Она шла уже затвердевшими тропками, по которым ветер начинал гонять мелкую желтую пыль; от дождя и солнца наливались озимые; неласковым карканьем встречал ворон южных отошавших птиц, но они не смущались и мастерили на лето жилью в осиннике, по застрехам, в зашелестевшем кустарнике.

В городе мать стояла на площади, пока не проходила вся маленькая колонна демонстрантов, вглядывалась в молодые безусые лица, вслушивалась в буйный и праздничный шум народа, а потом шла к знакомому батюшке и просила исповедать.

Фома Гасай

Есть на границе Курской области и Украины местечко Гуево. Оно раскинулось в садах и рощах; вдали на полуразвалившихся мельницах гнездятся аистьиные семьи. Возле Гуева течет Псел, в тростниковой оправе у берегов. Стоит переплыть Псел, и ты уже на Украине. В жаркий день на реке зеленая ряска накаляется, выгорает, но бросается в воду гусиный выводок, и разворошенная ряска снова блестит на солнце нежно-зеленой влажной краской.

Сюда, на Псел, приезжают отдыхать из дальних краев, а курские жители, и особенно художники, давно облюбовали потаенные уголки, где живут в одиночестве неделями, разбив палатки.

Летом этого года два молодых художника добрались до районного города Суджи, а оттуда на попутной машине приехали утром в Гуево.

Центр Гуева был пыльный и неприбранный, но чем дальше уходили они от центра, тем в большей прелести представало перед ними солнечное южное утро. На плетни, хлопая крыльями, взлетали огненные петухи; высокие розовые мальвы чуть раскачивались на легком ветру, и прозрачные капли росы не скатывались с лепестков, а лишь радужно переливались всеми оттенками; шли на работу люди, и тоненько скрипели ворота, словно их тоже только что разбудили ото сна; хозяйки подметали дворики, брызгали из лейки воду на плотный покров... Такой успокоенностью веяло от этих хат, что младший из приятелей, Иван, замедлил шаг и сказал, раздумывая:

— А может, мне где-нибудь тут поселиться?

— Смотри сам, — ответил другой, Клим, и они оба пошли неторопливо.

У самого края Гуева стояла хата, увитая лазоревыми цветами, от нее так просторно и широко виделось окрест — и разрушенная княжеская мельница, столица местных аистов; и серебряный туман над полем; и бабы на реке, отбивающие вальками белье.

Иван потянул товарища, и они вошли в хату.

Хозяин и хозяйка, оба немолодые, завтракали. Вернее, хозяин пил чай, а женщина хлопотала около плиты, помешивая что-то скворчащее в латке. Она ничем не показалась приметной — в затрапезном кухонном платье, повязана ситцевым платком, с грубыми и потрескавшимися руками.

Муж ее шумно тянул чай с блюдца, хрустко кусая сахар. У него было странное лицо: кожа так обтягивала кости, словно поскупилась природа и в самый обрез отпустила ему кожи. Лицо имело какой-то аскетический и хищный вид, но глаза, светлые и круглые, смягчали это впечатление, и стоило подольше в них взглядеться, как хотелось сказать: «Да ты мужик не промах... На версту, видно, сеть умеешь плести...»

— Нельзя ли у вас остановиться? — спросил Иван.

Хозяин отхлебнул чай, осмотрел Ивана внимательно:

— А каким ремеслом занимаетесь?

— Художник.

— Малювати дело безобидное. Столкнемся. Фома Гасай величаюсь.

Он шумно встал, распахнул дверь.

— Комнату отдадим. Нам на сеновали привычно.

Но Ивану самому захотелось на сеновал, спать в пряных запахах свежего сена и слушать где-то под собой тяжкие и глубокие вздохи коровы. Он попросил хозяина не беспокоиться и его самого поселить на сеновале. Хозяин возражать не стал, еще раз оглядел Ивана и сказал:

— Панская воля. Спите, где охоче, — и неожиданно добавил: — Гроши имась?

— Есть, — удивился Иван.

— Да я к тому, что прячь, прячь глыбже или в хате положь — надежней...

Иван оставил чемодан, и весь день они провели легко и радостно: ладили палатку для Клим в тенистой дубраве, ловили рыбу, купались и варили уху... Лишь к вечеру, когда высыпали звезды, Иван возвратился в деревню, залез на сеновал и удобно расположился в шелестящем и пышном сене. Ноги гудели от усталости, сон отяжелил его веки, и он вскоре уснул.

Проснулся от тихого голоса.

— Ваня... Ваня... — звал кто-то.

Он открыл глаза. Сквозь щели сарая ослепительно врывались лучи солнца. «Значит, поздно уже», — едва успел подумать он, как снова кто-то прошептал:

— Ваня...

Иван стремительно вскинулся и разглядел за дверью сарая фигуру Клим.

— Ты что? — удивился Иван.

— Молчи, — прижал руку ко рту Клим. — Открой.

Иван спрыгнул вниз и пустил Клим в сарай.

— Я сейчас в деревне был... Узнал... кто хозяин твой... Полицай немецкий...

— От черт! — озадаченно сказал Иван. — Так что же делать?

— Уходи сейчас же!

— Подожди... Полицай, полицай, у него жена есть, неудобно так мгновенно. Может, она тоже от его прошлого мучается... Денек надо пожить для приличия. Ведь наказан он уже за свое, наверно...

Друзья ушли на Псел, но того бездумно-радостного настроения, что возникло и не покидало их накануне, уже не было.

Фома Гасай в молодости выглядел заморенным. Странное дело — вроде и высок был, и в плечах добр, но плечи сутулил, убавляясь в росте, и при его лице, обтянутом и острым, симпатии не внушал. Фома мечтал стать продавцом в сельмаге. Он видел себя в белом переднике, отпускающим крупу, сахар, жир... Но все это оставалось мечтой, а в жизни сущей возил он рядовым колхозником навоз на поле, пил с парнями самогон и в темноте щупал визжащих девок.

Перед самой войной заболел легкими, в больницу не лег, лечила его мать дома снадобьями, заговорами. И вышло так, что в армию его не взяли, с районной больницей не эвакуировали.

Немцы в первый же день у околицы расстреляли председателя колхоза, а остальных не тронули.

Поздней осенью Фома оправился от болезни. Он стал подолгу отлучаться из дому. А как-то сказал матери:

— В руководство намечают.

— Куда, родимый?

— Ну, вроде как по-советски милиционером.

— Смутно время, надкусят тебя да выкинут...

Фома разозлился:

— Кличешь зло, старая. Может, один такой случай мне выпал. Наши-то бегут, аж пыль за собой поднять не успевают...

Обещали Фоме крепкую одежду, казенную, продукт даровой, и власть, хотя какая, а будет. «Сразу за мной вприпрыжку потянутся: «Фома Игнатъевич, Фома Игнатъевич...» — а я на них строго погляжу, да и помолчу подольше, чтоб заездили». На кого «на них» — он ясно не представлял, — вообще на всех односельчан, которые не жалова ли его своим почтением и прозывали Фомка Волчья Пасть за внешний вид. Сулили еще платить новой

деньгой — марками. «Тоже очень впрок, — размышлял Фома, — дом вымахая, чтобы на все крыши с моей высокой плевать можно...»

Стал Фома полицаем.

Ему выдали китель, хлопчатобумажный, новый, и сидел он на Фоме ладно. Сапоги подкованные, голенища короткие, ремень с блестящей пряжкой, на которой выдавлено: «Got mit uns» — «Бог с нами». Мать запричитала, когда он вошел в избу в форме. Фома заорал, сдергивая пояс:

— Чего ты! Видишь, и божественное есть!..

Но магь не поняла, а, видя лишь ремень у него в руках и оскаленное в ярости лицо, бросилась в глубь избы.

По улице Фома прошел утром, стуча сапогами. Встречные здоровались с ним, глядели с любопытством и настороженностью, а если могли, то сворачивали в сторону, обходили.

Через неделю Фоме выделили лошадь. Хороша была лошадь. В серых яблоках. «Одно лишь — бабки слишком прямые. Сбить может при скачке», — отметил Фома, понимавший толк в лошадях.

— Чего-то пекутся так о тебе? — спросила мать.

— Мне вверено наблюдать за общим порядком, — заученно произнес Фома.

До Фомы дошли слухи, что лошадь в селе признают. Ездил-де на ней цыган Амвросий из украинского городка Мирополье. «Того Амвросия к ногтю прижали, — поговаривали крестьяне, — а кобылу Фома наследовал». Фома вызвал главного разговорщика, соседа своего Кузьму.

— По цыгановой тропе пройтись желательно?

— Нет, — испуганно выдавил Кузьма.

— Властью лошадь мне дадена. Не пыль пылить — службу нести. А ежели что не по твоей форме — возражай мне.

— Так оно, — покорно отвечивал Кузьма.

Как-то верхом догнал Фома Мотьку, «магазинщицу», разбитную и красивую молодку. Она весело толкала кулачком лошадь в морду, кричала Фоме с вызовом: «Отедь, стража огородная!» — а сама не уходила. А вскоре после полицейской пирушки пришел Фома к ней ночевать и остался до утра. Утром, сидя за кухонным столом в исподнем, сказал, оторвавшись от ковша с рассолом:

— Ты вот что, Мотя, узлы вяжи, заживем-ка на пару.

Окрестные места были безлесные, ровные. Партизан в округе не было, и потому жизнь Фомы текла спокойнее, чем у его соседей. Он научился говорить властно, стращать и выгоду от своей службы имел немалую.

Мать умерла по весне. Мотька совсем перебралась к нему, как жена сделалась, и вдвоем они стаскивали в свой дом все, что увезти или унести молено было: петуха дареного, велосипед старый, самогон, колесо к телеге, луковицы цветов, грибы соленые... Фома лично никого не убивал, не истязал, но его боялись — все-то он выглядывает коршуном, где бы уклонуть да карман свой оттянуть.

Когда немцев выбили из Гуева, он с ними не ушел, вернее, немцам не до полицаев было, бросили их по деревням, машины не пригнали. Фома явился к советскому командиру, оружие принес и форму свою, а сам оделся в бедняцкие лохмотья.

Получил он десять лет, поскольку смертоубивных грехов за ним не открыли, а односельчане подтвердили: «Сука сукой, за горло брал, а до конца не сдавливал».

Фома вел себя смиренно, лишь шепнул Мотьке, когда увозили его: «Хоронь чего удастся», — и в тот же миг осунулся, померк взглядом.

Десять лет — не десять дней. Всякое случалось на Мотькином веку — за это время: и гостей веселых привечала она под мужней крышей, а на базаре спускала иное приобретенное добро, когда нужда прижимала. Сама рыхлела, обабивалась.

Фома вернулся из заключения, оглядел дом, сказал глухо Мотьке, как нерадивой сторожихе:

— Погром истый... Опять с пупырышка огурец выводить.

Стал Фома работать на торфоразработках, километрах в четырех от дома. Односельчане не сторонились его, разговоры вели, закурить давали, но Фома чувствовал, что все равно они относятся к нему как к чужаку. В получку, когда собирались поспрашивать, Фому не звали; новостями не делились; не поджидали, чтобы в деревню вместе идти.

Фома привык ходить из дому и домой в одиночестве. Шел, попыхивая «козьею ножкой», вспоминал то малое и большое, что в жизни случалось. Лучшими днями жизни считал свою полицейскую службу — и молод был, и карман полнился, и Мотьку любил он все-таки тогда. Фома понимал, что не будь он с немцами — и не мытарить бы ему столько лет на севере и сейчас не испытывать бы равнодушия людского. «Да что мне люди, — сплевывал он, — кормления-поения от них не жду. А гроши будут — ничья хворостина не страшна, грошами законопачусь». Фома сил не жалел, чтобы лишнюю копейку выручить. Мотька иногда спрашивала: «Да на что копим-то?» — «На храм божий, — ехидно говорил Фома и добавлял со злостью: — Где понять — кацавейка у тебя наместо ума!» Выпив, порой делился с Матреной: «Капитал — это как ковер-самолет, всюду на нем слетаешь». — «Да на что нам летать-то. Вроде уж налетался». — «Скудная ты баба», — пьяно огорчался Фома.

Рыба у Ивана и Клина в этот день плохо клевала. Они переходили с места на место, но все равно не везло им. И в довершение неприятностей зацепился крючок за корягу, потянул Иван посильней и вытащил обрывок лески.

— Тьфу, — выругался он, — крючки-то и снасти все у меня в чемодане.

Клим остался на реке, а Ивану пришлось отправиться в деревню.

Он вошел во двор, распахнул дверь в избу, открыл чемодан. Матрена стояла у плиты.

— Редко бываете. — Он понравился ей еще сначала — скромный, чистенький. — Садитесь к столу, поспело у меня.

Иван растерялся, заторопился, пробурчал что-то неопределенное, но потом подумал: «Как же так! Ведь обижу ее, еще решит, что брезгаю их столом. Он-то нагадил, а она, может, несчастная...» Иван промямлил что-то и сел за стол. Он съел суп с бараниной, вкусный, с чесночным ароматом, кашу с жареным луком и даже стопку самогону выпил, которую ему поднесла Матрена. Он повеселел, раздумялся и еще больше понравился Матрене. «Жаль, старовата нынче», — вздохнула она.

После обеда Иван снова заторопился, ему стало неловко, и он растерянно протянул хозяйке два рубля.

— Вот день живу у вас, возьмите...

Матрена не отказалась, вытерла руки о передник и положила деньги в комод. Ивану хотелось забрать чемодан и уйти совсем, но опять он постеснялся и дал себе слово вечером явиться за чемоданом и перебраться в палатку к Климу.

Фома, вернувшись после работы, спросил подозрительно:

— А чего у тебя миска немытая? Аль не дождалась меня до обеда?

— Постоялец полдничал, — объяснила Матрена, не успевшая прибрать со стола.

— Полдничал? Ну что ж, а гроши даст ли? — раздумывая, произнес Фома.

— Да уже дал! — захотела его обрадовать Матрена. — Два рубля за сегодня.

Два! — Глаза у Фомы оживились, он вытащил листок, ткнул перо в чернильницу, поторопил Матрену: — А ну говори, чем кормила, подсчитаем.

Матрена вспоминала и перечисляла, чем потчевала, а Фома, хмурясь, писал.

— И чеснок, видать, — прибавил он, увидя шелуху, — и винишко, — указывая на стопку, — ныне в цене эти вещи. Да баранина молодая, ни тебе кооперативная падаль... А знаешь, стерва, что одной жратвы ему на руп восемьдесят по тутошним ценам

отпущено! — тихо, но яростно сказал Фома. — Мне власти не подадут! А жилье, а спаньем сена намял... На кой хрен мне малювателям безденежным пузо салить! Придумай что хошь, а как придет, чтоб назад повернул — все!

Он поел, завалился спать и захрапел, а потом вдруг перестал храпеть и крикнул с кровати:

— А деньги где?

Матрена вошла, сунула ему два рубля:

— На!

— А чего орать... Поохладись! Сторожи, как вернется, — сам я гол, чтоб голых холить... — Он повернулся на другой бок и заснул.

Матрена, накинув шаль, села на крыльцо и принялась тоскливо думать, как бы сказать человеку повежливей... Она думала, как сказать, но мысли невольно обращались к ее собственной жизни — неприкаянной, подневольной: приткнул дьявол к Фоме, и всю жизнь с ним волочись по колдобинам и трясинам. Если и светит радость, то болотные огоньком. «А куда от него? — спрашивала она сама себя и отвечала: — А некуда уже». Она вяло махнула рукой, свернула сигарку из доморощенного свирепого табака, поскольку городские папиросы Фома не разрешал покупать из экономии, и стала ждать постояльца.

Мать

Эта история началась в двадцатых годах.

У красного морского командира умерла жена. Остался сын Володька, семимесячный. Жил мальчик с бабкой, ма терью капитана, потому что часто бывал капитан в командировках, да и не мужское дело младенцем заниматься.

Приехал однажды капитан в Семипалатинск по делам службы. Застрял там на два месяца. Да пока жил в городе, влюбился в молодую казашку, слушательницу педагогических курсов, и женился на ней. Звали ее Зульфийа, по-русски получалось Зоя, и когда меняла она паспорт, ей так и вписали — Зоя.

Отец Зульфийи против женитьбы был, — специально из аула приехал:

«Сколько джигитов в горах, а твой и в седло не сядет с маху».

Позже, когда узнал, что свадьбу сыграли, вышел из юрты, соседей кликнул, объявил: «Дочери у меня нет. Поняли? Все». И соседи сказали: «Поняли, аксакал». И молча разошлись. Они уважали его за властный нрав и за то, что был он знаменитым чабаном.

В муже Зоя души не чаяла. Она гладила его русые волосы и всегда удивлялась их цвету. И синие глаза капитана тоже казались ей необыкновенными и единственными в мире. Сына Володьку взяли от бабки, и молодая женщина заплакала, когда малыш подошел к ней и впервые сказал: «Мама».

Время шло.

Мальчик рос.

И как-то она с беспощадностью поняла, что шестилетний белоголовый и курносый Володька ничем не похож на нее — черноволосую, кареглазую, смугловатую.

Она испугалась, что может наступить день, когда Володя усомнится, глянув в ее нерусское лицо, — она ли его мать. Или поверит толкам досужих людей: «Лицо у тебя, Володя, русское, а у матери твоей ничего русского нет. Да мать ли она тебе?» И она боялась, что тогда Володя не простит ей обмана, что он может отвернуться от нее или попросту охладеть. А для нее этот мальчик был всем: столько и бессонных ночей, и ласки, и заботы она отдала ему. И еще, он напоминал ей мужа. Когда тот уезжал в командировки, она в минуты особенной грусти вынимала мужнину капитанскую фуражку, надевала на мальчика и улыбалась радостно, — так он походил на отца.

Она долго думала и решила изменить — насколько возможно — свой казахский облик. Ей хотелось, чтобы люди находили в ней и в мальчике одни и те же черты.

Она отрезала у спящего мальчика прядь волос, пошла в лучшую парикмахерскую города и попросила покрасить ее именно в такой светлый цвет. А потом знаменитая косметичка научила ее так подводить глаза, что они теряли восточный прищур и продолговатость. Муж всплеснул руками: «Ну, теперь мне заново в тебя влюбиться надо!» — а мальчик сначала не узнал ее. Когда они переехали в другой город, соседи считали ее русской и «весьма привлекательной». Самое большое удовольствие она получала, если ей говорили: «Какие волосы у вашего малыша, ну точь-в-точь как у мамы!»

Так они и жили.

Когда Володе исполнилось пятнадцать, произошло событие, которое повергло мать в волнение.

Не раз она писала отцу, ответа не следовало, а тут пришло из Казахстана письмо — отец собирается приехать в гости. Пишет, что стар стал и тоска по дочери заставляет забыть обиду.

Зоя обрадовалась и растерялась, потому что из-за Володи опасалась пригласить его жить у них в доме.

Наконец решили с мужем поселить отца в гостинице. Сняли номер-люкс, но седобородый чабан остался недоволен:

— Куда поселили! Зачем пианино принесли, когда я только на домбре играю!

В ванной он путал краны с горячей и холодной водой: один раз ошпарился, другой раз окатился холодной водой и схватил насморк. На кровати ему тоже спать не нравилось. «Качает меня», — жаловался. И он устроился спать на ковре в гостиной. Дочка расстроила его своей внешностью — ни на кого из родни не похожа. По скулам только и можно признать, что течет в ней кровь джигитов Тарбагатая.

Объяснения дочки выслушал молча. Долго сидел, раздумывал, потом сказал наставительно и мудро:

— Мать — великое дело. Ты ему мать. Как ты поступила, пусть все так есть. Твой сын — мой род. Мальчик должен приехать ко мне, увидеть настоящие горы. Все.

И договорились на семейном совете, что на следующий год во время летних каникул отправится Володя с матерью в предгорья Тарбагатая, якобы к ее знакомым.

Они приехали на кочевье в горы весной. Старик их встретил с важностью и гостеприимством аксакала. Вида не подал, что родную дочь встречает, — как уговорено было, сделал.

Наутро к юрте привели лошадей. Володя неумело сел в седло, и дед учил его держаться в седле с выправкой, в такт лошади подпрыгивать при рыси, переходить на галоп и, всем телом подавшись вперед, вглядываться в одну дальнюю точку. Он раскрывал ему красоту гор, вместе с ним на заре отправлялся в долины, где сверкали алыми лепестками «марьяны коренья» в крупных каплях росы.

К середине лета Володя пил кумыс, как казах, и мог весь день покачиваться в седле, объезжая с дедом отары; мог, как истый горец, пустить в опор коня, пригнуться к его гриве и свистеть пронзительно и бешено при скачке. Он приезжал к юрте вечером, возбужденный, пыльный, черный от солнца, и кричал матери, расседывая лошадь:

— Мама, мы завтра поедем на соколиную охоту!

И мать смотрела на него нежнейшим взглядом, к горлу ее подкатывался комок, она стремительно обнимала сына и говорила:

— Хорошо, мой мальчик.

Уезжали они в конце августа. Дед зарезал барана, приготовили бешбармак и ели по старинному обычаю, руками, запивая темным чаем из высоких пиал.

Потом Володя с матерью сели в повозку, которая должна была их довести до райцентра. Дед, торжественный и печальный от предстоящей разлуки, протянул Володе

домбру, древнюю, из морщинистого и сухого дерева: «Ударь по струне и сразу вспомнишь наши горы».

Дед долго стоял посреди дороги, пока не скрылась лошадь за уступом скалы, и Володя все время махал ему рукой. И мальчик ясно осознавал, что этот край с его орлами, лошадьми, седыми аксакалами и звонкими домбрами становится частью его судьбы.

Ярмарка

«Лучший вкус в щуках бывает с начала весны, когда имеют оне голубое перо».

Я сидел с художником Вячеславом Ивловым в келье Кирилло-Белозерского монастыря, приспособленной под современное жилье, и листал поваренную книгу XVIII столетия, взятую из фонда музея. От книги шел аромат древних пиршеств.

«Взять хорошую щуку, — медленно читал я, — согнуть и опутать шнурком, положить в кастрюлю надлежащей величины с солью, перцем, луковицами, натканными гвоздикой, лавровым листом, корками белого хлеба, тремя бутылками вина белого и одной красного; присолить слегка. Варить на сильном огне, чтоб вино вспыхнуло и выгорел® столько, чтоб оказалось меньше бутылки. Положи тогда полфунта лучшего масла коровьего и составь кастрюлю на самую горячую золу. Приправь немного корицею и митонируй целый час. Подкладывай временно по кусочку масла, вымешивая, щуку вынь, соус поувари и облей оным щуку».

— Да, — протянул Вячеслав, и я заметил, как у него вздрогнул кадык, — умели люди поеть... Пошли на ярмарку, поглядим, чего там наготовили, — с тайной надеждой добавил он.

Еще накануне на площади, продолговатой и булыжной, соорудили деревянные лотки, будки; самодельные художники из Дома культуры расписывали их фанерные стенки — завитыми кренделями, сдобными пирожками, высокими круглыми хлебами. Сколотили и трибуну. Перед ней разложили автомобильные шины, насыпали в середину их землю и воткнули цветы.

Мужчины собирались в кружок, громко переговаривались друг с другом, а женщины толпились в гостинном ряду, выглядывая обнови, примеряя и прицениваясь.

Но вот усилитель разнес по округе: «Дорогие товарищи!..» Первых ораторов слушали внимательно, потом стали переминаясь с ноги на ногу, уставая от однообразия речей; толпа медленно зашевелилась, утекая в густой сад, который примыкал к площади. Там рассаживались на скамейки, беседовали вполголоса, изредка прислушиваясь к тому, что говорили на площади.

А тут еще выпал из гнезда вороненок, стукнулся мягко о цветочную клумбу, встрепенулся и пошел вперевалячку по саду, возбужденно озираясь и вскидывая клюв. Когда к нему подбежали, он взмахнул крыльями, открывая белые пушистые разводы, отлетел на несколько шагов и вновь пошел, гордо, независимо и воинственно.

— Гляди-ко — вороненок! — закричали люди, смотрели на него, как на что-то необыкновенное.

...На площади загремел аккордеон, дробно ударили каблучками плясуньи.

— Дают! — выдохнули восхищенно зрители.

Выступали девушки из культпросветучилища. Вячеслав некоторых знал и называл их по имени. Плясали они незатейливо, но так раскраснелись милые девичьи лица, так старательно кружились девушки, оправляя раздувающиеся подолы, что даже самые равнодушные начали притопывать в такт музыки.

— А вот и Гоня, — сказал он, когда вышла с подружками бойкая девушка и запела частушки.

— Тоня ничего, — заметил я. Она действительно выделялась: рослая, рыжая, лицо в веснушках, ярких, солнечных. Девушки спели, друг за другом, как уточки, нырнули со сцены вниз и исчезли.

Мы с Вячеславом двинулись вдоль торговых палаток, разыскивая необычные ярмарочные лакомства, но необычных лакомств не находилось. На лотках лежали ватрушки, пряники, карамели, петушки, и дети тянули к ним своих матерей.

— А не взять ли просто мяса и устроить пир по нашей книге? — предложил Вячеслав.

Я согласился, и мы отправились в магазин. Когда пробирались сквозь праздную, гуляющую толпу, снова увидели Тоню.

— Куда спешите, Тоня? — остановил ее Вячеслав.

— Никуда.

— А мы с товарищем хотим покухарничать... Пойдемте с нами.

— Что ж вы делать будете?

— Чудодействовать, — таинственно шепнул мой спутник.

Мы втроем зашли в гастроном и купили большой кусок мяса, перца, лука, чеснока, хлеба, вина, потому что у Вячеслава, как у настоящего холостяка, никаких припасов не водилось.

В келье у Вячеслава было прохладно и сумрачно. Стояла раскладушка, перед окнами — деревянный стол, заваленный книгами и рисунками. Сводчатый потолок торжественно нависал над нашими грешными головами. Вячеслав освободил стол, мы уселись, и он, важно раскрыв «Словарь поваренный, приспешничий, кондитерский и дистилляторский», прочел чуть нараспев:

— «Телятина по-птемонтски. Часть телятины, нашпековав крупным шпеком, упаривай в горшке. Когда поспеет, остуди, сними жир; остатки застывшего соку размажь по телятине и подавай холодную в числе антреме, или горячую в числе антре...» Вот так, — добавил Вячеслав, — или, может быть, желаете телячьи мозги по-матросски? Прошу: «...из двух голов вынув телячьи мозги, дай оным промокнуть в воде, а потом свари в белом вине...»

— Хватит, Слава, — перебила Тоня, — «из двух голов вынув мозги...» — это ужасно. Давайте я приготовлю что-нибудь попроще.

— Вернемся в двадцатый век!

Тоня разложила припасы на зыбком кухонном столике, вооружилась ножом и принялась резать, крошить, рубить... Но в последний момент обнаружилось, что нет соли.

— Действительно нет, — тоскливо сказал Вячеслав, облазив все полки.

Магазины в связи с праздником уже были закрыты, а соседей дома не оказалось.

— Пойду соль раздобывать, — вздохнула Тоня и оставила нас вдвоем.

— Ну, как? — спросил Вячеслав.

— Хороша.

— Тоня девчина замечательная. А жизнь у нее началась — врагу не пожелаешь. Она мне рассказывала кое-что... Да и от других слышал... Характер... — выразительно добавил Вячеслав.

— А что же такое? — заинтересовался я.

— Пока ходит она, послушай... Тоня далеко отсюда родилась, в глухомани. Мать больная, поясницу застудила, разогнуть порой не может, а отец, вечный неудачник, слабый и затюканный всеми; одно ему забвение случалось, когда стопку выпивал. А детей настругали — девятерых. Старшая Тоня, и за ней мал мала меньше. Яблоко порой от яблока далеко падает — Тоня красивой выросла. В школе училась, семилетку кончала.

Жил рядом с их домом электрик Василий Соловьев. К тридцати ему шло, но холост был. Зарабатывал хорошо — от конторы ставка да еще шабашки разные. Тоне шестнадцать исполнилось, когда он ей все на пути стал попадаться: то заговорит, то вроде обнимет в шутку, то конфетку из кармана вытащит... Ей-то он ни к чему, посмеивается, и только.

Как-то пришел Васька Соловьев вечером к ее отцу.

«По-соседски завернул, — говорит, — соседи не лаяться должны, а чокаться», — хотя никаких споров меж ним и Тониным отцом не водилось.

«Давай, Макар Иванович, пообщаемся», — и бутылочку на стол.

«Чего он хочет-то?» — спросила из-за перегородки мать.

«Капусты наложь», — сказал отец, и мать знала — другие им помыкать могут, но ей перечить ему нельзя. Сели они за стол, капустой хрустят, деревенские новости обкатывают. Отцу лестно, что Васька к нему пришел, — Васька-электрик, по столбам на кошках лазает, котелок у него но соломой крыт. Распростились они с бутылочкой, Васька выскочил в сени, где пальто повесил, — и другую на стол. Завеселел Макар Иванович.

«Хороший ты сосед, Вася», — прочувственно так говорит.

«А еще лучше быть могу», — со значением Василий в ответ.

«Это как же?»

«А так, что отдай Антонину мне — в добром родстве станем».

«Куда ей пока! Маловата. И закон в такие годы не позволяет».

«Наши-то бабки по тою пору отцов наших качали... А закон — не картина, чтоб на него все смотреть... И с законом обойдемся...» — сказал Василий, проворно налил по стопкам и, не дожидаясь ответа опешившего отца, о другом сразу заговорил, будто этой беседы между ними не было.

Макар Иванович капустой хрустит, разные истории выслушивает, дивится Васильевой смекалке. Подзахмелел, песни петь хочет, но Василий, трезво оглядев Макара Ивановича, снова тихо говорит:

«Так отдай, не пожалеешь. Нравится мне она. А через год-полтора и распишемся — тогда уж разрешат. А сейчас как хозяйка у меня станет, — все во власти ее...»

«А с ней говорил?» — спросил Макар Иваныч.

«Ты голова умная — тебе и решать. Что с нее возьмешь?»

«Это точно — ум есть во мне, — закуражился отец. Махнул рукой: — Берн! Судьба, значит!..»

Выпили они еще, Тоня входит с улицы. Поднял голову Макар Иваныч, молвит:

«Пойдешь, Антонина, с Василием, он тебе счастье укажет...»

Василий шапку в охапку:

«Идем, — говорит, — отец велит, идем сразу, все объясню и все очень хорошо будет».

Взял ее за руку и повел такую, какой она в дверь вошла, — в платье шерстяном, валенках.

...Мать скотину прибирала, вернулась, спит муж за столом, голова на руках лежит. Не стала будить. Когда пора наступила, растолкала, чтоб на печь лез, поворчала:

«Что-то Тони нет... Все гулянья на уме...» — прикрыла младших, разметавшихся в жаркой избе, повздыхала, припомнив дневные заботы, и уснула.

В половине шестого проснулась, глядит — муж уже за столом, понурый, а Тонина постель несмятая. Всплеснула руками:

«Антонина где?»

«Замуж... я ее вчера... выдал...» — прохрипел Макар Иваныч и голову сжимает себе, как тисками.

Как поняла мать, что случилось, — в крике зашлась. Откривалась, села против Макара Иваныча, смотрит, не мигая, — тому не по себе сделалось.

«Пошли, — говорит он, — шумом делу не помочь...»

Улицу перебежали, на крыльцо поднялись. Василий, верно, из окна их приметил, — в сенях встретил.

«Ирод ты, — сдавленным шепотом мать, — дите она еще...»

«С Макаром Иванычем полюбовно поладили, да и не дитя она, а девушка в полной форме...»

«Где она у тебя?» — рвется у матери.

«Удобно ей и хорошо, а выйти сейчас не может...»

Постояли отец с матерью да и ушли ни с чем.

Горевала мать, горевала, а дочку рассудила все же до мой не уводить, потому что ей, «порченой», как свою жизнь дальше устраивать? А тут, может быть, и наладится дочерина доля.

Василий в сельсовете просил, чтобы разрешили им расписаться. Ответили — в шестнадцать, мол, не положено, но ввиду исключительного положения сделает сельсовет запрос в вышестоящую инстанцию.

А сама Тоня первое время как во сне находилась. Школу оставила, седьмой не закончила, от подружек отбилась. Тоня, хоть и через улицу всего жила, в отцов дом не ходила: сильна была обида на родителей. Зато сестренки и братишки своих звала к себе, сказки им рассказывала, забавы выдумывала.

«Сестрица, — говорил братишка, — а мы с Колькой теперь в твоей кровати спим. Мягко».

Она улыбалась ему, но становилось ей щемяще-тоскливо, потому что оторвали ее от родного, а к новому не дано пристать.

«Тонечка, — спрашивала сестра, — а нынче я подсолнухи на твоей грядке посажу. Можно?»

И она снова улыбалась, а в душе плакать навзрыд хотелось, потому что, как она помнила себя, выхаживала стебельки подсолнухов под окнами, и к осени они, словно молодцы в праздник, тянули вверх свои головы, заламывали шапки.

Тоня старалась как можно реже показываться, но бывать на людях ей приходилось. Как-то зашла в сельмаг. Анфиса, продавщица, румяная и дебелая, стрельнула глазами:

«Здорово, молодая!»

И все кругом обернулись к Тоне, молчаливо и любопытно.

«Мне хлеба», — сказала Тоня.

Анфиса достала коричневую пропеченную буханку, спросила с улыбочкой: «Тушенку завезли. Не подкинуть ли баночку? А то от однова хлеба губы вялыми делаются...»

Кто-то хихикнул, а Тоня, рассчитавшись за хлеб, сразу ушла из магазина, хотя ей нужно было купить сахара еще и вермишели.

Наведалась вскоре и Василева мать, — она километров за сорок жила, старуха большая, внимательная и тихая. Они сидели втроем, пили чай, старуха мало говорила, лишь поглядывала пронзительно, словно до души добиралась. На прощанье погладила Тоню по голове, а в сенях сказала Василию, который вышел мать проводить:

«Махонька да шшупла... Не забижай ее, Вася...»

Тоня услышала, и ей стало жалко себя, недавней девчоночьей поры. Тоня чувствовала, особенно во время подобных встреч, что не выдержать ей такой не своей жизни, с нелюбимым и совсем старым, как ей казалось.

Ранними вечерами, когда случалось быть одной, она привыкла садиться у окна с краю подоконника; ее скрывала от взглядов занавеска, но она сама все видела на улице.

Заметила она как-то свою соседку по парте, Оленьку; шла Оленька не одна — с курсантом в золотистых погонах. Вгляделась Тоня, узнала — был это ее вечный вздыхатель, Пашка Ломов. Сколько раз дожидался он ее, будто невзначай, возле школы; бросал снежками зимой, а летом сказал вдруг, весь пунцовея: «Поедем с нами в ночное, — и добавил, видя, что Тоня вскидывает брови: — Там и сестренка моя в компании будет!..»

Оленька покусывала травинку, покачивалась на каблучках, скидывала жеманно Пашкину руку, которую он клал ей на загорелое, обнаженное плечо. Она была одета в короткое ситцевое платье — огромные красные цветы по белому полю, — шла у всех на виду, выделяясь, и чувствовалось, что радуется своей яркости и всеобщему вниманию.

Сердце сжалось у Тони: «Добился», — подумала она, вспомнив, как рвался Пашка в военное училище. Она отпрянула от окна, когда они поравнялись с домом, и заплакала, упав на кровать: «Ну, чем я хуже! Ну, чем!» Потом вскочила резко, подбежала к зеркалу, рассматривая свое мокрое от слез лицо, и сказала сама себе медленно: «А я ничем не хуже ее...»

... Однажды в газете прочла о приеме в культпросветучилище. И тут лее, не раздумывая, никому ничего не говоря, скрутив узелок, выбралась из дома, пробралась за полем да леском до дороги и на попутке — до станции. Василий в то время в леспромхоз уехал, движок ремонтировал.

В райцентр Тоня попала наутро, дала отцу телеграмму: «Не ищите, не ворочусь, Антонина», — и прямо в училище. Время к осени шло, отовсюду съезжались девчата. Спрашивают Тоню в училище:

«Где ж документ, что семь классов кончила?»

«Нету», — глухо говорит Тоня. Завуч, женщина немолодая, строгая, с седым пучком волос на затылке, удивленно пожала плечами:

«Что думала? Надо за семь классов сначала сдать, девушка...»

У Тони — красные пятна по лицу, не сдержалась:

«Не девушка я, с мужиком живу год скоро!..» — бросилась к дверям.

«В уме ли ты!..» — вконец опешила завуч.

На Тонину удачу, оказался в кабинете директор Павел Иванович, мужчина рассудительный и душевный.

«Постойте, Нина Петровна, — обратился он к завучу, — а ты, милая, успокойся да садись со мной потолковать...»

Нина Петровна еще решительней полсала плечами и, напряжинив свою негнущуюся спину, вышла.

Благодаря заступничеству и понятию Павла Ивановича, приняли Тоню в училище...

— А живет она на что? — спросил я.

— Стипендию двадцать три рубля получает, да коммуна у них девчоночья — помогают друг другу. Жизнь не малина, а все равно душа легкая сейчас у нее. Василий разыскал ее, требовал, чтоб вернулась. И у меня побывал, все рассказывал, какой он есть... Отец недавно наведлся, и с ним я в знакомстве... Да ни с чем...

— Вот и соль, — Тоня стояла на пороге. Я смотрел на Тоню новыми глазами. Невольно переносился мыслями на свою жизнь — сколько же я сделал на всем ее течении крутых поворотов? И насчитывал их немго, да и крутые ли они были? Я, наверно, гораздо больше потерял оттого, что, боясь что-то потерять, старался быть осмотрительным.

... Поздно вечером провожали мы Тоню в общежитие. Шли по городским улицам, через ярмарочную площадь, шли садом... Земля была матовой от ясного и сильного лунного света, и вдруг я на боковой аллейке увидел вороненка, того, что утром вывалился из гнезда и гордо шествовал навстречу судьбе своей. Он был мертв. Голова свешивалась набок, пленка накатилась на узкие и маленькие глаза и, казалось, дрожала еще. Клюв был чуть приоткрыт, как будто птенец стонал перед смертью и проговорил какие-то свои птичьи прощальные слова. Крылья распахивались широко, как для полета, и белые разводья крыльев, словно непричастные смерти, отливали благородным серебром. Отчего убили его? Играючи, кто-нибудь ткнул ногой? Или как еще?..

Сколько вопросов — и, наверно, нет им конца, как нет конца жизни и надежде.

Ночь на воде

Я плыл на небольшом теплоходе из Вологды в Кириллов. Удивителен и трогателен этот путь. После возникновения Волго-Балта разлились реки, ушли под воду деревни, леса, ушел кусочек жизни, обжитой многими поколениями. Я понимаю, как важно для страны то, что пролегла нынче мощная водная трасса, но — угадываешь кипевшую здесь когда-то жизнь, и невольно становится грустно: вот обрывается дорога, исчезает в реке, две ее натруженные колеи еще четки; колокольня высится из воды, камень ее замшел от непрестанных ударов волны; тянутся березовые, осиновые рощи, затопленные и нагие; черные вершины деревьев провожают нас, как древние погорельцы. Новые берега еще не успели осесть, вода их не подмыла, и совсем не береговые цветы растут на них.

Я стоял на палубе, и медленное движение теплохода не утомляло меня, наоборот, давало возможность как бы углубиться зрением во встречные предметы. И еще одно обстоятельство заставляло меня быть на палубе: вместе со мной в каюте ехала молодая пара, и мы, бегло познакомившись и не найдя общего языка, стеснялись друг друга. После одной из остановок, где сошло на берег много пассажиров, я спросил капитана, нет ли пустой каюты, где бы я смог провести ночь. С капитаном меня познакомили еще в Вологде, и он любезно пообещал выяснить и помочь.

Темнело. Начинался июньский вечер с мягкими белесыми сумерками, которые вроде и не скрывают ничего от взгляда, но окутывают в матово-серебристый цвет поля, леса, деревни... Плескалась рыба, кружилась мошкара, и чайки, плавно паря, стремглав ныряли. Меня кто-то тронул за плечо.

— Устроилось. Можете и переходить, — сказала женщина, которая выполняла на теплоходе обязанности горничной, уборщицы, дежурной. Она провела меня в каюту, сама постелила постель, по-домашнему взбив пышные казенные подушки, оправив простыню и одеяло. — Коли что, кличьте тетю Шуру... — улыбнулась и ушла.

Я заметил ее, когда еще сел на теплоход. Она была шуплой, с узким, обветренным, некрасивым лицом. Одета в голубенькое, горошком, платье, она могла показаться пассажиркой, севшей на маленькой пристани. Но стоило ей пройти по палубе — и в ее походке угадывался человек, привыкший к корабельной жизни. Я заметил, что и капитан разговаривал с ней уважительно, не как с самым младшим по должности членом экипажа, а словно с хозяйкой какой — «Александра Ильинична» да «Александра Ильинична». Она без распоряжений знала, что нужно сделать пораньше, побыстрей: мела салон, разносила белье и даже сама музыку выключила, увидев, что все от нее утомились.

В моей новой каюте было прохладно, я посидел за столиком, полистал газеты, но выглянул в окно — и очарование летней природы, такой благоговейно-спокойной перед своим ночным сном, повлекло меня на палубу.

Вода простиралась тихая, едва колеблемая течением. В ее светлом зеркале отражались деревья: стволы четко и ясно, а ветви и листья расплывчато-зыбко; между отражением каждого дерева пробегали дорожки более темные, чем сама речная гладь. Трава по склонам тяжелела, почти физически ощущалось, как на пыльные, примятые от дневного тепла стебли ложится роса. Луга выглядели в этот час особенно сочными и пышными.

— Отдыхаете? — Тетя Шура стояла у борта. — Красота какая! Я чуть не тридцать лет на воде и все не привыкну...

— Так уж тридцать?

— А и не меньше...

Мы облокотились о перила, глядя перед собой на реку.

Я удивился тому, что после трудного рабочего дня ей не спится, и почувствовал — что-то тяготит ее, хочет она выговориться, излить какую-то печаль. А то, что рядом оказался я, человек почти незнакомый ей, ну и не беда, — ведь мы, русские люди, не можем жить без излишней своей души на миру.

— Родом я из-под Вологды, из Вологодского района. Сиротой жила, отца-матери не видывала, в одном году померли, когда еще дитем была. У родни росла, да как себя помню, все работала, с шести лет, поди. А началась война — я уж в невесты вызрела. Да только женихов наших — в строй, а нас, девчат, по трудповинности — на лесоразработки, на сплав. Меня тогда капитан одного буксира присмотрел, да и оттягал к себе в команду — не для баловства какого, а потому, что я ему шустрой и жилистой показалась. Он меня помощником кочегара и поставил. «Знаю, деваху, сказал, долго не выдюжишь, а мне-то как? Матросов позабрали, а катерок должен двигаться. Шуруй». Ну, и стала я шуровать. Смен почасовых нет, стоишь, пока не валишься, там другой кто сменит; в чувство и силу придешь — опять ворочай. Дровами топили. Жрет топка дрова почем зря. Девять кубометров в час — как не бывало. Иной раз топливо кончится, из «ершей» — так плоты зовутся по-нашему — бревна вытаскиваем, к берегу пристаем, пилим, колем и снова суем

поленья в топку, тянем за собой по реке «ерши». А что делать? Война кругом, в каждом письме из деревни пишут — тот погиб, тот ранен... Всю войну кочегарила. Надорвалась изрядно, с той поры сделалась сухонькой да в спине неровной, а до войны тело каждой жилкой играло, хоть и еда проста была. К концу войны полегче стало — начали с фронта приходить по ранению отпущенные. И к нам мужик попал — Федор-сержант, контуженный, болезненный, да все ж не девка. Деревню его на Новгородчине немцы сожгли. Как перст остался, и завела его судьба на Сухону. Меня он подменил, а я попроще делом занялась на судне — стирала, готовила, убирала... Федора выхаживала, у пристанских баб парное молоко доставала; пил он, розовел, веселел — ему-то кочегарство не в такую тяжесть было. А однажды он и говорит мне: «Давай поженимся. Мне такую, как ты, надо — степенную, хлопотливую». — «А любишь?» — спрашиваю. «Одинокие мы с тобой», — отвечает. По правде сказать, обрадовалась я, парень видный, а разбираться особо мне боязно, потому как на десять девок — один, и покраше меня девки многие. Вижу, что характером я ему любя — и на том хорошо. Явились к капитану — так, мол, и так. Капитан одобрил: «Самый раз, говорит, войне конец настает, землю обновлять надо... Только вот что: вода вас свела, на воде и свадьбу сыграем». А нам и кстати — на земле нам и приткнуться не у кого. Ухи наварили, рыбы нажарили, напарили, даже заливное умудрились сделать. Бражку ядреную в деревеньке одной отыскали. Судно под вечер на якорь у берега поставили и за стол сели — капитан, помощник его, два сплавщика, Федор и я. Капитан стакан поднял: «Не забижай ее никак, Федор, она у нас лучшего ордена достойна, да только неприметны мы, сверху нас не видно. Вода чиста, на ней обман не положен...» Федор свой стакан о мою стопку стукнул: «Спасибо за твои заботы, Шура», — говорит и в губы целует, потому как «горько» закричали. Славно мы в тот вечер сидели, песни пели, мужики аккуратно пили, а я им все рыбку на тарелки подкладывала. Капитан нагл жить закуток приспособил, вроде отдельной каютки получилось, со своим входом. Я как родилась заново. Все мне на судне как братья стали, а Федор — как сокол ясный.

Вижу, однако, так через год, чего-то тоскует Федор, беспокоен стал. «Что с тобой?» — спрашиваю. «А ничего», — отмахивается. Теперь-то уж я понимаю — не любил он меня, а так лишь — уважение было. На буксире ни к дружку не сходить, пивка попить, ни долю иную приглянуть — все одно и то же. А парень-то он еще молодой — хочет, чтоб жизнь перед ним разворачивалась.

Как-то подвозили мы на своем катерке попутных пассажиров из Городищ. Вижу: Федор с ними уединился, оживленно чего-то беседует. Потом через пару дней капитану говорит: «Дай-ка мне отгул, дружков навещу в Городищах». Вернулся оттуда веселый, с похмелья, видать. «Знаешь, говорит, не рыба я речная. Ну, сколь можно по воде да по воде?» — «А куда ж, Феденька?» — «А мне завскладом предлагают в Городищах. Комнатой наделяют». — «А я как же?» — «А ты поплавай пока, обзавестись треба». Беременной я была, — может, он и прав, не стоит пока мне с ним ехать, думала. Долго от него вестей не следовало, наконец пишет: «С работой порядок, да комната сыровата, еще не обзаведена, так что потерпи...» Гадала я, гадала и, как к отцу родному, к капитану: «Потеряю я мужика, ехать мне к нему надо». — «Что ж, — размыслил капитан, — завсегда тебя примем от души. А то, что тебе к нему спешить нужно, — может, и верно оно...»

Прежде чем к Федору явиться, зашла в магазин, по коммерческим ценам еды хорошей купила, чтоб его порадовать, а самогон у меня заранее припасен был. Дом быстро нашла, по лестнице поднялась, позвонила. Открывает женщина: «Вам кого?» — «Федора Алексеевича, жена я». — «Ах, жена, — сказала и на живот мой смотрит. — Вот ключ их под притолокой, а вот комната». И все зыркает на меня, за один миг до самых косточек разглядела. Вошла я. Комната хорошая, кровать стоит, стол, два стула, шкаф платяной. «Смотри-ка, уж и обставился, а от меня скрывает». Прибрала я комнату, стол накрыла, села у окна, жду его, а сердце колотится: как встретит, ведь по первому взгляду узнаю, что

у него на уме. Соседка заглядывает: «Не желаете ли чего разогреть, у меня печь топится», — а сама глазами зырк-зырк... Поблагодарила ее, на кухню не пошла, думаю — дождусь Федора. К вечеру послышались голоса в прихожей, слышу, соседка сообщает: «Гости пожаловали к вам», — и Федор удивленно: «Кто ж такие?» Дверь распахивает и на пороге явился, не один — с женщиной. Растерялся на миг, но враз спохватился: «Познакомься, говорит, товарищ по работе». А «товарищ» этот мне в живот уставился, глядит, молчит и не двигается. «Вот что, Ольга Ивановна, мы с вами наш разговор завтра продолжим». А она так протяжно: «Да уж завтра продо-олжим...» — сама плечом дернула и — наружу. Федор за ней поспешил, слышу, что-то они там шепотом... Потом возвратился Федор, сел за стол и закуски мои коммерческие, ровно траву сухую, жует безучастно. Поел, недовольство высказал, что, мол, без письма приехала я, нет у него никакой подготовки к приему, на сносях, мол, я, на кровать вдвоем не поместиться, да и ни к чему сейчас — так он у товарища одного переночует. «Чтоб тебе давление на живот не оказать», — выразился. Тут я не выдержала, заплакала: «Знаю «товарища» одного, только что с ним разминулась...» А он мне строго: «Александра, оставь намеки, у меня служба серьезная». И ушел. Только ушел, соседка ко мне — стук, стук. «Вы не удивляйтесь, что я слышала, стены у нас такие. Вы к нему в местком сходите, — очень это на них действует...» Да разве пойду я. В местком — тем более. Я там раз путевку в отпуск попросила, не дали, велели очереди дожидаться, а тут просить их, чтобы мужа домой вернули?! Так они и принесут его мне на подносе алюминиевом.

На следующий день явился Федор, а на ночь снова под тем же предлогом исчез, и вся такая жизнь пошла, пока дочка у меня не родилась. Пришел он как-то и говорит: «Берег я тебя, Шура, пока не разрешилась ты, а теперь правду сказать должен: другая у меня на примете есть...» — «Не хитри, говорю, не на примете у тебя, а на кровати... А что берег, так у тебя от этих слов совесть полинять должна...»

Девочку отдала я в круглосуточные, а сама опять пришла на свое судно: «Примите, ребята, бесталанную, меня...»

Так и растила дочку. А с воды почему не ушла? Здесь мне и зарплата приличная, и надбавка, и еда... Что получу, то на девочку трачу. А на берегу с моим знанием тянуть — не вытянуть. К дочке по свободным дням ездила, одевала ее так, что меня за няню считали... Один московский художник в Ферапонтов монастырь ехал, меня с Машенькой увидел, хотел девочку срисовать, да я не дала — признак у старых людей есть: на полотно человека переведешь, он и зачахнет... А Федор с той своей и стал жить, кассиршей она у них на базе была, поженились позлее они, уехали. Помогал сначала мне на дочку, после замолк, — видно, та запрет наложила. Да мне и не надо евонного — хватает своего. Розыск мне советовали объявить, я посмеялась только. Чего это мужика непутевого, как зайца, травить. Дочка-то у меня комсомолка сейчас, и не простая — начальница над другими девчатами... Говорят, крепкая баба — из мужика веревки вьет. Я так скалеу — вьет не вьет, бог знает, а уж рубанком обстругает, коли какие сучки-задоринки не по ней. У меня-то такой крепости к нему не было, — любила я просто...

Замолчала женщина, и мы оба молчали, следя за бегом воды, думая...

— Он... сейчас тут, — глухо сказала она.

— Как — тут?

— Да, видать, на родину собрались. До Горицы билеты... В первом классе, — устало добавила тетя Шура, — с женой едут... Вот и не сплю я, подменилась до Горицы, чтоб не встретиться.

Прилег я под самое утро, но, подъезжая к Горице, проснулся и вышел на верхнюю палубу, чтоб увидеть пассажиров из единственной каюты первого класса.

Я увидел мужчину, немолодого, дородного, в соломенной шляпе, с крупным мясистым носом на полном, уверенном лице. Он нес чемодан, а за ним следовала женщина, такая же дородная, как и он, в плоских больших лаковых башмаках и в черных чулках со

сместившимися сзади швами. Она раскрыла сумку, вынула платок, стала обмахиваться, — солнце уже пригревало.

Я проследил, как по трапу они сошли на пристань, и увидел, как вдруг женщина схватила мужчину за руку и стала ему что-то горячо объяснять. Он вяло махнул рукой, и ее горячность удвоилась. Потом она решительно передала ему свою сумку и мужским шагом пошла назад, на судно.

«Чего она?» — подумал я и хотел предупредить тетю Шуру, которая, приступив к своей смене, начала убирать верхнюю палубу. Но энергичная пассажирка уже взлетела по лестнице, ринулась в свою каюту и через миг, торжествуя, выскочила оттуда, потрясая коробкой монпансье.

— Граждане оставляют, так надо сразу им сообщать... Небось успели уже проверить, не прихватили ли мы казенные полотенца!.. Да ты не серчай, не серчай, — кивнула она потускневшей тете Шуре, — я мать свою, может, десять лет не видела, еду к ней, надо ж мне ее чем-то городским одарить...

Дары искусства

Маня жила в районном городе, в доме, где внизу размещалась пожарная часть, а на втором — пожарные, холостые ребята. Маня никакого отношения к тушению пожаров не имела. А попала она в этот дом вот как.

Мане было двадцать пять лет, она уже успела и замуж выйти, и развестись, и находилась в трудной полосе своей жизни, снимая угол у одинокой старухи, переживая только что отгремевшие семейные неурядицы.

Маня писала стихи и работала корректором в газете. Стихи писала неважные, но искренние, от души, и никому их не показывала.

Она выглядела привлекательной — статная, сероглазая, с высокой грудью; Маня немножко шепелявила, точно у нее каша во рту, но кавалеры ей такую мелочь прощали.

Однажды Маню послали в Москву на семинар. Маня с радостью поехала, потому что у нее была тайная мысль собрать все свои стихи и показать одному столичному поэту, который ей очень нравился.

В Москве, в справочном. Маня узнала адрес поэта, а потом уже и номер телефона. Бледнея, меняясь в лице, Маня набрала номер Самсона Сергеевича — так звали писателя, — и когда он подошел к телефону, пролепетала, что она издалека, начинающая, мечтает показать ему стихи. Самсон Сергеевич тяжело повздыхал в трубку, что-то прикидывая, и назначил ей на следующий вечер.

Маня ушла с семинара пораньше, сделала прическу на улице Горького, маникюр, подкрасила ресницы и вдруг разозлилась на себя за эти приготовления, — ведь от них стихи лучше не станут.

Она добралась до нужного дома, поднялась на третий этаж и позвонила, сжимая свернутую трубочкой тетрадку.

Самсон Сергеевич открыл дверь и весьма оживился, увидев интересную женщину. Самсону Сергеевичу было за сорок, но его молодило то обстоятельство, что семья — жена, теща, двое детей — отдыхали на даче.

В тот вечер у Самсона Сергеевича собрались приятели. Приятели повскакали из-за стола, усадили Маню в центре. Ей сразу налили вина, положили закуску и заставили выпить. Она не знала, как себя вести, особенно когда ее сосед, чернявый и взъерошенный, с отчаянными цыганскими глазами, стал хлопать ее по бедру и провозгласил, что отныне она его муза. Самсону Сергеевичу это очень не понравилось, он сказал, что Маня пишет стихи и пришла к нему их прочитать. Все непомерно обрадовались тому, что Маня пишет стихи, и стали ее уговаривать читать сейчас же. Маня принесла из прихожей тетрадку, дрожащими пальцами раскрыла ее и слабым голосом, монотонно, принялась читать о природе, лесе, своем городе и любви.

— Гениально, — шептал взъерошенный, — я могу спокойно умирать.

Самсон Сергеевич, не желая упускать инициативы, театрально обвел всех рукой и сказал:

— Нам уже так не суметь. Слишком опытни.

Молодой человек неопределенного возраста, с пегой бородкой и услужливыми глазами, уронил голову на руки и повторил как эхо:

— Не суметь.

Самсон Сергеевич спросил бархатно:

— А как вы живете? Расскажите нам.

И Маня, видя, какие здесь искренние и благородные люди, поведала всю правду о своем житье-бытье.

— И вы живете, снимая угол! — воскликнул Самсон Сергеевич.

— Как Беранже, — добавил бородатый.

— Пойдите! — вскричал Самсон Сергеевич, загораясь. — Мы вам поможем! — Он выбежал в соседнюю комнату и через пять минут вернулся, размахивая письмом.

«Дорогой Коля!» — начиналось письмо к руководителю областного Союза писателей. Самсон Сергеевич с пафосом прочел письмо. Все ахали.

— Как это здорово: «талант гибнет»! — сказал бородатый. — Мы все подпишемся!

— Да я не гибну, — вставила Маня, но ее не слушали.

Письмо было подписано всеми в порядке значимости каждого, и бородатый, расписавшись последним, тут же выбежал на улицу и бросил его в ящик.

Потом чокались, отбирали стихи для большой подборки и наконец разделились на две спорящие стороны: одна предлагала передать стихи в «Наш современник», другая — в «Октябрь». За спорами о Мане забыли, и она, улучив момент, вышла в коридор, накинула плащ, отворила входную дверь и оказалась на лестнице.

Большого смущения Маня никогда еще не испытывала. «Милые, отзывчивые люди, — думала она, — но как они много говорят...»

... Стихи в журнале не появились.

Но как-то пришла открытка из местного Союза писателей, в которой просили ее выслать свои стихи.

Маня отослала.

Руководитель Союза — Николай Ильич — прочел стихи, крутанул головой: «Развернулись ребята!» — но поскольку было письмо, и за несколькими подписями, он, оказавшись в Манином городе, зашел к зампредрика.

— Думаете, может действительно стать явлением? — спросил зам.

— Все может быть, — уклончиво ответил Николай Ильич — он был человек добрый.

— Ну-ну, — озабоченно постучал карандашом зам.

А через неделю Мане предложили комнату в доме, где висела вывеска: «1-я профессиональная городская полярная команда».

Пожарных звали Андрей, Матвей, Федор, Павел и старший — Поликарп. Все они были молоды, после демобилизации сюда определились. В недалгих деревнях жили их отцы и матери. Когда удавалось, сыновья ездили к родителям.

Они походили друг на друга — коренастые, светловолосые. Лишь Поликарп отличался — и по возрасту (ему к тридцати шло), и тем, что носил усы, рыжие, густые, стриженные щетинкой.

Пожары случались редко, но службу они несли bravо и два раза в месяц на небольшой площадке перед домом устраивали учения.

Они рты разинули прямо, когда к пожарной части подкатил грузовик с легким скарбом Маши и из кабины явилась сама Маня, как диво дивное.

— Дева-аха, — протянул Андрей.

— Я в Германии однаж таку видел, — поддакнул Матвей.

Федор кашлянул в кулак.

А Павел, самый младший, покраснел, словно его уличили в чем-то.

— Дисциплина, ребята, — сказал Поликарп и потрогал усы.

Пожарные познакомились с Маней.

Дом их был построен не фундаментально, стены тонкие — все шумы слышны. Когда Маня просыпалась, начинала ходить по комнате, парни слышали и говорили:

— Ходит. Уже девятый, значит.

Сами они вставали раньше. Когда шаги Мани становились особо четкими и резкими, пожарные знали, что она надела туфли и сейчас покажется во дворе. Они выходили из помещения и встречали Маню.

— Здравствуйте, мальчики, — говорила она.

Они улыбались, — никто их так не называл, — и вперебой:

— На работу?

— Домой, как всегда?

— Наше дело — пожары ждать...

Говорили обычные слова, но такими радостными выглядели их лица, что Мане хорошо делалось на душе.

Пожарные знали девушек с соседней ткацкой фабрики, навевались к ним в общежитие, но девушки были словно сами по себе, а Маня отдельно. Маню они никогда не решались пригласить в кино или на танцы, да и поодиночке с ней не виделись — вместе все, обычно во дворе их дома. Маня радовала их. Они переживали какое-то неясно-счастливое чувство оттого, что рядом живет красивая и сердечная женщина, озаряя своим ежедневным приветом их обычную жизнь. А их служба, дежурства, редкие пожары, девушки с ткацкой фабрики — это и была обычная жизнь.

В апреле у Андрея женился старший брат. Жила родня недалеко от города, в колхозе работала, и брат просил Андрея непременно приехать. Поликарп рассудил, что Андрей и земляк его, Павел, на два дня отлучиться могут, Они собрались, купили подарок, и перед отъездом Андрей спросил товарищей:

— А что, коли я Маню приглашу?

— Как ее встретят-то? — спросили остальные.

— А как друга нашего, — нашелся Андрей.

— Ну, смотри, приглашай, коли согласится она. Только уж оберегай за пятерых, — решил Поликарп.

Маня согласилась ехать. Они тряслись на паровичке, Андрей и Павел старались развлечь Маню в дороге: это была их родина, а они гордились тем, что все здесь знают. Но Маня слушала их рассеянно. Она смотрела в окно вагона, любовалась сосновыми лесами, ручьями, темными от отраженных в них ветвей, первой, некошеной травой на болотистых низинах.

Бабы, возвращавшиеся с городского базара, разглядывали ее, пытались заговорить, но она отвечала односложно, и женщины обиженно замолкали. А одна, проходя к выходу и громыхнув пустым бидоном, бросила Андрею с Павлом:

— Хороша у одного из вас женушка, да только напрасно гордость в ней угнездилась.

Все рассмеялись и Маня оторвалась от окна.

В деревне мать Андрея руками всплеснула:

— Да никак и ты, Андреюшка?!

Андрей объяснил матери, кто такая Маня, какой она им товарищ. Мать поддакивала, одобряла, но, выслушав сына, повела все же Маню осмотреть хозяйство. Угощала свежей редиской, лук зеленый рвала. В избе она, несмотря на суету свадебных приготовлений, достала семейный альбом, дала его Мане, приговаривая:

— Вот Андреюшка совсем махонький... А вот на службе он...

Во главе свадебного застолья сидели жених, невеста, родня и председатель колхоза Максимыч, молодой и веселый. Когда свадьба разгулялась, Максимыч поднял стакан, обращаясь к Мане:

— А переезжайте к нам. На лучшую работу обоснуем!

Маня неловко пожала плечами, покраснелась.

— Нет, вы переезжайте, — закуражился Максимыч, — и жениха найдем... А хоть я сам, — стукнул он себя в грудь.

— Максимыча даем! — орали мужики.

Андрей встал и сказал раздельно:

— Не то говорите... Сергей... Максимович...

— Я к тому, — примирительно объяснил Максимыч, — что свадьба свадьбу должна рожать, как семя семечку...

Маня осталась свадьбой довольна. Наутро мужики бражничали, а она с девушками пошла в лес за щавелем, находилась по лесным полянам, как на всю жизнь.

Андреева мать журила:

— Носки домотканые хоть надела б. Так и ноженьки заохолодить недолго.

На прощание она заставила Маню забрать всякие домашние соленья-варенья. Маня простилась с ней ласково, а Андрей сказал на обратном пути:

— Вы уж извините ее, коли что не так...

...Когда Маня разобрала гостинцы, она пригласила на ужин своих соседей.

Парни пришли в праздничных костюмах, в белых рубашках с неразглаженными складками от долгого лежания в шкафу, в одинаковых галстуках — темных, в зеленую полоску; чувствовали себя неловко в парадной одежде и все время поправляли галстуки. Они уже знали подробности свадьбы, и им льстило, что Маня всех на свадьбе затмила.

Маня сама им рассказывала о поездке, и деревенская жизнь представляла с ее слов и красочней, и незнакомей. Восхищалась матерью Андрея — какая хлопотунья да мастерица... — и парням казалось, что Маня еще ближе им стала, потому что побывала в домашнем миру одного из них. Но потом им четверым — кроме Андрея — привиделось, что Маня как-то уходит от общения со всеми ними, как-то неуловимо предпочитает Андрея, и четверо сидели настороженные. Они, четверо, даже насупились, заметив, как слушает ее Андрей: глядит прямо в глаза, встряхивает головой, роняя на лоб русые пряди; слушает, не перебивая, и лишь когда Маня вспоминает о матери его, вставляет: «Вы уж извините ее, коли что не так». Маня принимается уверять — «все было чудесно», — и Андрей снова вскидывает головой, почти забубенно. Допили вино, Андрей предложил, оживленный:

— Может, сбегать?

Но Поликарп, не дожидаясь хозяйского слова, остановил сурово:

— Не надо, дежурство скоро.

Они пили чай с медом, Маня нахваливала мед, мол, какой прозрачный да ароматный, и Поликарп, не выдержав, уронил:

— А у нас меду в деревне — что воды в колодце, даже огурцы с медом едим.

...Парни пели песни своей юности, и им становилось грустно, потому что это было невозвратно позади. Поликарп попросил:

— Маня, вы нам спойте, что любите...

Маня отказалась:

— Мальчики, у меня голоса нет... — И, видя, что они не верят, добавила — Хотите, я стихи почитаю?

Стихи произвели на парней огромное впечатление: они никогда не думали, что можно знать так много на память. Стихи звучали звонко, красиво, текли плавно, завораживая.

Гости ушли. Маня, моя посуду и прибирая со стола, улыбалась каким-то своим мыслям.

После неудачного замужества Маня жила замкнуто, мечтая иногда, что еще встретится ей в жизни человек, которого она полюбит. И в этой своей затворнической жизни она ощущала ласково-уважительное внимание своих соседей и понимала, что без них было бы сиротливей. Внезапно она подумала, что если бы влюбилась в кого-нибудь из них, то,

наверно, в Павла. Она вспомнила его почти девическую застенчивость, синие мальчишеские глаза и поймала себя на том, что ей нравится его смущать — он так совсем не по-мужски краснеет. Во время поездки на свадьбу они беседовали между собой мало. Павел больше молчал, но она чувствовала, как может чувствовать только женщина, уже любившая когда-то, что за этим молчанием скрывается и нежность, и нечто братски надежное.

Однажды Маня, просматривая областную газету, увидела заметку. Под шапкой «Наши гости» была напечатана фотография Самсона Сергеевича, московского поэта, и сообщалось, что он совершит путешествие по области. Среди других райцентров, которые собирался посетить Самсон Сергеевич, был назван и их город.

А на следующий день уже местная газета извещала, что прибыл дорогой столичный гость и вечером в городском клубе состоится его творческий вечер.

После работы, не заходя домой, Маня отправилась в клуб. Она села в третьем ряду и, волнуясь, ждала, когда выйдет на сцену известный поэт.

Занавес раздвинулся, и она увидела Самсона Сергеевича. Он был в черном мешковатом костюме, стрижен, загорелый, брюшко чуть оттягивало пиджак, но при его высоком росте и широких плечах брюшко не портило, а лишь придавало некоторую солидность. Он откашлялся, выпил глоток воды и стал излагать цели своего путешествия серьезно и важно. Но потом, словно не выдержав такого тона, начал шутить, приводить смешные случаи из своей жизни и очаровал зрителей. И вдруг, оборвав байки, стал читать стихи, сильные, драматические. Слушали его напряженно, и когда напряжение достигло высшей точки, он внезапно прочел стихи лукавые и ироничные.

Самсон Сергеевич слыл опытным чтецом своих произведений, и публика внимала ему доверчиво и благодарно. Он кончил читать, грянули аплодисменты, а он стоял на сцене, чуть ссутулившись, утомленный, и поднимал руку, словно просил: «Не надо хлопать, все естественно, разве буду я читать то, что вас не заденет?»

Маня хлопала вместе со всеми, и сейчас ей Самсон Сергеевич казался недостижимым, величественным — кумиром.

Он ушел со сцены в артистическую, еще больше ссутулившись и волоча ночи, словно на него взвалили мешок. Маня вышла в фойе и встала около дверей, из которых должен был выйти Самсон Сергеевич. Она убеждала себя, что ждет Самсона Сергеевича, чтобы поблагодарить его за комнату, которую получила. Но где-то в глубине души — в этом она и себе не хотела признаться — рождалось желание побыть с ним, послушать, как он говорит, веско и умно.

Самсон Сергеевич вышел из артистической в окружении местных интеллигентов и твердым шагом направился к выходу. Маня растерялась и неожиданно произнесла:

— Здравствуйте. Это — я.

Самсон Сергеевич остановился, взглянул на Маню и сказал просто:

— Куда же вы тогда делись? — Обернулся к своим спутникам: — Значит, как договорились — завтра в двенадцать, — и взял Маню под руку.

— Я поблагодарить вас хочу: мне дали комнату.

— О! — воскликнул Самсон Сергеевич. — Я помню... Не подвел Коля... Ну, так с вас новоселье. Верно?

— Верно, — согласилась Маня, не очень понимая, что ей нужно делать.

Самсон Сергеевич, несмотря на свой литературный успех, скучал. Ему хотелось милого женского общества, а его окружали городские руководители и любознательные деятели культуры. И Маня, симпатичная и восторженная Маня, явилась ему в этот миг как подарок.

— Приглашаете? — еще раз спросил он.

— Да, Самсон Сергеевич, — пролепетала Маня и наивно добавила: — Но у меня дома пусто, я в столовой питаюсь.

— Это поправимо! — И Самсон Сергеевич сделал широкий жест рукой.

...Когда райкомовская машина, обслуживающая Самсона Сергеевича, подкатила к Маниному дому, пожарники сидели на лавке во дворе, и Поликарп, согласно внутреннему распорядку, проводил политбеседу. Они уставились на машину, из которой вышел грузный мужчина с бутылкой «бренди» в одной руке, а другой прижимая к груди какие-то свертки. Он вышел, и вслед за ним... выпорхнула Маня. Оба они — Маня чуть впереди, а мужчина за ней, — что-то рассказывая и похохатывая, прошли мимо пожарных, замерших, как на фотографии (Поликарп даже газету не свернул), и Маня, не глядя на них, сказала:

— Здравствуйте.

— Это и есть ваш особняк? — Самсон Сергеевич оглядел его. — Не палаты, зато какое соседство — не сгорите, — кивнул он на вывеску пожарной части.

Маня скрылась на лестнице. Самсон Сергеевич проследовал за ней. К пожарным вернулся дар речи.

— Что же так, ребята? — недоумеваю, спросил Андрей.

— На нас и не взглянула...

— А хоть бы и взглянула — тебе легче?

— Сама привела...

— Жизнь... — сказал Поликарп. — Слушай меня... — И все четверо устремили взгляды на своего старшего.

...Маня, когда она вышла из машины, мельком увидела обиженное, как у ребенка, лицо Павла, непроницаемо закрывшегося газетой Поликарпа, и Маня возмутилась: «Они меня своей женой считают, что ли! Никого и пригласить не могу!» Но возмущение в ней не разрасталось, а наоборот, ощущение какой-то вины не давало покоя, и она сердито говорила сама себе: «Что за ерунда! Разве я не свободна?..» Но все равно настроение у нее было испорчено.

Самсон Сергеевич видел Манину стеснительность и, предполагая, что это от робости перед ним, сам для простоты отношений стал хозяйничать: откупорил вино и налил по граненым стаканам, потому как хорошей посудой Маня еще не обзавелась. Маня пригубила, Самсон Сергеевич выпил полстакана и взял Маню за руку — из-под широкого и короткого рукава она открывалась белая, пышная, с ямочкой возле локтя.

— Ну, еще капельку, — воркующе просил он, и Маня подняла стакан... Но в это мгновение раздались прерывистые и пронзительные гудки сирены.

— Что это? — нервно спросил Самсон Сергеевич.

Маня подошла к окну и увидела свою маленькую пожарную команду, суetyающуюся вокруг красного автомобиля. Пожарники разматывали шланг, наставляли лестницу... У стены на стуле сидел Поликарп в каске и отдавал команды.

— Учебные занятия, — тихо сказала Маня, отходя от окна, — это бывает.

— Да, — успокоился Самсон Сергеевич, — а надолго?

— Не знаю.

Сирена наконец замолчала, и Самсон Сергеевич, вновь взяв Маню за руку, стал произносить красивый тост:

— Я хочу, Маня, поднять этот бокал за искусство, оно роднит лю... — Но под окнами что-то зашипело, и струя воды взметнулась в небо, рассыпаясь на брызги и опадая дождем.

— Черт возьми! — вздрогнул Самсон Сергеевич и извинился. — Не дают покоя жильцам. Надо пожаловаться. Закройте хоть окно.

— Да у нас еще паровое топят... Задохнуться можно с закрытым.

Пожарные поливали небо невозможно долго, словно все оно, вместе со своими тучами и облаками, луной и солнцем, пылало жестоким огнем. Когда они кончили поливать, Самсон Сергеевич торопливо допил вино и положил руку на Манино плечо.

— Не надо, Самсон Сергеевич, — вежливо сняла Маня руку.

Самсон Сергеевич почувствовал — никакого отдыха не получится и, стремясь изменить положение вещей, снова потянулся к бутылке.

Маня смотрела на его озабоченное лицо, бегающие сладкие глаза, хваткие пальцы и удивлялась, как не похож он на того величественного Самсона Сергеевича, который покорял сегодня сердца публики. Она ясно угадывала все его намерения, и ей было немножко жалко его — такого умного и слабого.

— Маня, ну, поцелуйте меня, — попросил он, вставая из-за стола и направляясь к ней. Но... завывла сирена, и Самсон Сергеевич замер, меняясь в лице: — Я запрещаю им!

— Они по плану проводят, — сказала Маня, — иногда и до утра.

— До утра? — почему-то спросил Самсон Сергеевич.

За окном гудела сирена, вздымалась лестница, пожарные лезли вверх и проворно спускались. Звучали команды, и закатные лучи солнца отражались на касках.

Самсон Сергеевич сел, покатал хлебный шарик, усмехнулся и посмотрел на Маню.

Маня, не поднимая головы, старательно водила мизинцем по цветной клеенке.

— Ну, пойду я, — устало сказал Самсон Сергеевич, поклонился и открыл дверь.

Маня видела в окно, как он вышел во двор, и пожарные смотрят ему вслед с пожарной лестницы, с автомашины... Он свернул за угол, и Поликарп махнул рукой. Опускается лестница, сворачивается шланг, машина медленно двигается в распахнутые ворота гаража.

Маня улыбнулась: ее мальчики устроили смешную игру, но она нисколько не сердилась на них. Она думала, что, если бы у нее были братья, они, наверно, походили бы на них. И только Павла, веснушчатого и курносого, она никак не могла представить своим братом. «Ему обязательно надо сдать за десять классов», — неожиданно подумала она.

Наутро она проснулась от солнца, заливавшего ее комнату. Она вышла из дома раньше обычного.

Пожарные уже были во дворе, проверяли свой инвентарь. Они увидели ее и склонились над инструментом.

— Здравствуйте, — сказала Маня.

Ей не ответили.

— А у меня барометр на великую сушь пошел...

Пожарные еще больше углубились в работу.

— А вчера у меня один москвич был, я ему когда-то стихи показывала, — растерянно объяснила она.

— Сушь — ничего, — отозвался Павел, самый отходчивый, и предательски покраснел. — Еще ветер, может, дожди натянет...

Нюша

Жил на одном из ладожских островов рыбак Петр, колхозник. Охотился он, рыбачил, исполнял разные крестьянские работы — тоже для колхоза.

Жизнь его была непроста. В двадцать пять женился на нелюбимой. Когда его спрашивали: «Как, Петя, женился?» — он разводил руками и отвечал: «Да так...» Зато сына Лешку любил по-редкому. Всю сбою любовь ему отдавал.

В Ладогу навещался в неделю раз: на сына посмотреть, продукты забрать, сдать выловленную рыбу, — да мало ли какие дела еще находились.

Немало лет тому назад, однажды в летнюю пору, в поселке Дубно, что на запад от острова, встретил Петр незнакомую девушку: невысока, круглолица, с длинной косой. Петр даже остановился. Спросил удивленно:

— А ты чья такая?

— А я своя собственная, — бойко ответила девушка.

Петр стоял перед ней огромный, в белой морской рубашке, кудрявый. И вдруг неожиданно:

— А если своя собственная, то моя будешь! — И это громко сказал, так, что улица слышала, бабки с голов платки посдирали, — только б слово не упустить.

И девушка пошла с ним.

И сели они в лодку.

И поехали на остров вдвоем.

Все Дубно переполошилось. Нюша — так звали девушку — недавно приехала работать в охотничье хозяйство.

— Вот ведь какая! — шамкали на скамьях у плетней старухи.

— Лиха девка! — перемигивались рыбаки.

И только молодые женщины молчали, порой круто ломая бровь и грустно прищуривая глаза.

А Нюша вернулась на следующий день. Шла по главной улице, посередке, гордо откинув голову, не глядя по сторонам. Взошла на крыльцо хозяйства, распахнула дверь, села за свой стол как ни в чем не бывало.

— Пава, — сказали мужики.

— Бесстыдница, — осудили старухи.

Она ездила к нему на остров каждый день.

Был июль. Шла косьба. И еще из лодки видела она его среди серебрящейся под солнцем осоки. Трава серебрилась почти добела, и его морская рубаха казалась одного цвета с осокой. Петр делал широкий замах, выхватывая полукруг травы, и сразу под скошенной травой открывалась темная земля. И Нюше издали чудилось, что он не косит, а просто идет и разворачивает от берега в глубь острова коричневую ковровую дорожку — ей под ноги.

Петр чувствовал ее приближение, но не смотрел на воду, а принимался косить лихо, почти забубенно, обходил стороной пырей, который трудно скашивается, и валил осоку, играя мускулами, наслаждаясь косьбой, и действительно в этот миг был прекрасен.

Она подходила к нему неслышно сзади, но он слышал малейший хруст веточки под ее ногами, и когда она хотела обнять его, швырял косу, оборачивался и скидывал ее на руки. И поднимал ее высоко, так, что закрывал ею от своих глаз полуденное солнце, и всю жизнь вокруг себя они воспринимали только в самом главном — были только Земля, Небо и Они.

Потом они лежали на стогу сена, притихшие. И хотя они лежали не шевелясь, их удивляло, что сено под ними звенит на разные лады, звенит неуловимо — лишь их слуху доступно. И они вслушивались в звон сена и смотрели друг на друга.

К вечеру он провожал Нюшу, сталкивал с песка лодку и шел за ней, пока вода не доходила ему до пояса.

Сколько дней или месяцев длились их встречи — они не знали, потому что люди сами придумали понятие времени, но жизнь человеческая гораздо богаче, и иногда время бессильно отмерять ее.

По серой осенней воде приплыла на остров жена Петра. Она сначала набросилась на него: «Потаскун!» — потом обмякла, заплакала, жалобно повторяла: «Сына пожалей, сына!..» Петр ни слова не сказал, посадил ее в лодку, завел мотор и отправил домой. Лодка ушла в туман, ее не было видно, и только глухие всхлипы долетали до него. И Петру стало так тоскливо и смутно, как будто вся жизнь кончилась.

В ту же ночь он ездил в Дубно к Нюше.

Назад вернулся почерневший, с внезапно прорезавшимися морщинками в уголках рта.

Больше они не встречались.

Годы шли.

Нюша уже работала в сельмаге, стояла за прилавком. Она располнела, обрезала косу к слегка румянила свои поблекшие щеки. Это не прошло без внимания, и ее стали прозывать в поселке «Помадихой».

Петр редко приезжал в Дубно. Пожалуй, только когда загуляет с дружками на острове, а вино кончится. Он приезжал с сыном Лешкой, оставлял его в лодке, а сам все в той же белой морской рубашке, латаной и застиранной, шел через весь поселок в магазин. Он входил в магазин, сразу заполняя собой небольшое его помещение, и случайные посетители, сами не зная почему, но чувствуя, что так надо, уходили поспешно. Нюша спрашивала:

— Что вам, Петр Владимирович?

И он отвечал:

— Вина, Нюша.

Это были простые слова, но у Нюши глаза наливались слезами и голос звенел щемяще, как в дни любви, и горестно, как в день разлуки. Петр мял кепку, совал в кошель бутылки, говорил:

— Пока, Нюша! — и шел, ссутулившийся, не оглядываясь.

Нюша стояла за прилавком, смотрела на часы: «Пять минут — значит, он дошел до школы... Семь — до охотничьего хозяйства... Десять — он садится в лодку...» И тогда она закрывала изнутри на засов магазин, взлетала, как девчонка, на чердак и смотрела в бинокль на озеро. И видела, как отчаливает лодка, как худенький большоголовый Лешка садится за руль, как белеет старенькая, заласканная ее руками моряцкая рубашка Петра, и еще она замечала, что смотрит он не на поселок, не на озеро, а куда-то вниз, в ноги себе, и сидит так долго, неподвижный и, наверное, печальный. Потом Лешка о чем-то спрашивает его, он поднимает голову и идет к мотору. А потом лодка исчезала за зеленой полосой льна.

И Нюша тут же на чердаке роняла бинокль и плакала беззвучно, тяжело, как плачут женщины, много нехорошего испытавшие на своем веку.

И вдруг вспоминала: «А ведь он, прощаясь, сказал мне: «Пока, Нюша!» Значит, он еще вернется, придет... Значит...» И она спускалась вниз, раздумывая над его последними словами, и в ней теплилась надежда. Она была ласкова с покупателями и даже выставляла на полки дефицитные товары, которые собиралась придержать до праздников.

Ранняя осень

Деревья еще зелены, но идешь по лесу, и вдруг вспыхнет перед тобой желтое пламя листьев. Таких деревьев пока мало, и потому невольно перед каждым останавливаешься. А когда в низине сорвешь сыроежку и увидишь тоненькие прозрачные льдинки, приставшие к ножке, сразу ощутишь приближение осени.

Небо синее, оно стало глубже, словно повзрослело за лето. Хорошо лечь на сухую хвою в редком бору и долго-долго смотреть в небо. И тогда особенно поймешь, как волнуется лес, ожидая чего-то нового. Вершины деревьев движутся, то сходятся по двое, по трое, то расходятся в стороны, и все время говорят, говорят... Красные плоды ландышей клонятся к земле, костяника на сухих длинных стеблях пламенеет ало. Я срываю ее и смотрю через ее ягоды на солнце. Ягоды становятся прозрачными, налитыми, багряными, и в серединке их темнеет зернышко. Сосновый кустарник густо зелен.

Я вижу, как из кустарника на песчаную лесную дорогу выходит женщина; на ней цветной платок, синяя кофта, на полных ногах невысокие сапоги из кожи. Она идет статно, чуть покачиваясь, с плетеной корзинкой в руках, и ветер оббивает полы ее юбки вокруг ног. Я смотрю на нее и всем своим существом чувствую в этот миг, что ранняя осень — это не увядание, а нечто щедрое и, может быть, щемящее.

Озарение

По узкоколейке ходил древний паровозик и тащил скрипучие вагоны. Поезд останавливался у каждого переезда, и все они были знакомы пассажирам до

подробностей, потому что пассажиры постоянные: рабочие с молокозавода, с лесоразработок. Лишь в летнее время появлялась новая разновидность пассажиров — «дачные мужья» из областного города, обремененные кошелками и свертками.

И природа тоже уже не поражала ничей взгляд, хотя из окон поезда открывались живописные виды: сосновые боры, шумные речонки в блестящих камнях.

Но в одном месте дороги, у разъезда «Шестьдесят семь», глаза пассажиров оживлялись, все льнули к окну и кивали путевому обходчику.

А дело в том, что звали путевого обходчика на разъезде Настей и считалась она самой красивой девушкой в селе Холмцы, что лежало километрах в двух от разъезда.

Настя стояла у насыпи, когда проходил поезд, в железнодорожной фуражке, из-под которой выбивались русые пряди. Она была красива той спокойной русской красотой, которая не часто встречается ныне, а если и встречается, то в местах, далеких от больших городов. Свой желтый флажок она держала так доверчиво и добро, словно сама про себя радовалась, что путь открыт и она об этом сообщает людям. Она скользила глазами по окнам и улыбалась знакомым.

И было так изо дня в день.

И вот произошло событие, которое привело в волнение постоянных пассажиров этого поезда.

В конце сентября, в синий и солнечный полдень, подошел поезд к шестьдесят седьмому километру, и вдруг ахнули все, потому что на деревянном настиле у сторожки стояла не Настя, а солдат. Он стоял, расставив ноги, в гимнастерке с распахнутым воротом. Его счастливое лицо пассажиры разглядели до малейших подробностей — и ровные белые зубы, и синие глаза, в которых дробилось солнце, и волосы, упавшие на лоб и рассыпавшиеся по нему. Но больше всего поразило то, что держал солдат в руке флажок, Настин, желтый, и он, солдат, открывал поезду дорогу. А держал флажок неумело, зачем-то руку согнув в локте. Он держал флажок с каким-то наивным торжеством и бесшабашной лихостью, и машинист даже на секунду притормозил, несколько растерявшись от столь необычной картины. А за спиной солдата на пороге сторожки, смущенная и взволнованная, стояла Настя. Она была все в той же своей фуражке и в тужурке с блестящими пуговицами, но весь вид ее казался таким юным и необыкновенным, что пассажиры покрутили головами, посмотрели друг на друга: «Ну и ну!» За этими словами они словно скрывали свою растерянность и, может быть, ревность. И тогда один выпалил:

— Да ведь это Колька из Холмца!

Все разом засуетились, закричали:

— Точно, он!

А кто-то высунулся и звонко, срывающимся голосом завопил:

— Привет, Коляня, шуруй!

Была в этом забубённая удаль, которой часто на Руси прикрывают нежное и чистое, что поднимается со дна души.

Я знал их историю.

Еще до армии встречались Настя и Николай на вечеринках. Провожал он ее, целовал у изгороди. О любви ни слова не говорил. А когда в армию призвали, гулял Николай два дня с ребятами.

А Настя его провожала и подарила ему кисет с махоркой, как всегда и полагалось на военных проводах, и махала ему, заплаканная, когда он уезжал.

Писем от него не приходило.

Месяца через три после отъезда Николая посватался к ней телеграфист с вокзальной почты. Он говорил:

— Вы увянете без мужской любви. А у меня есть и дом под городом, и у мамы моей корова отелилась.

Настя расплакалась и в слезах выпроводила его из дома. Он вышел на улицу, стряхнул соломинку с пиджака, сказал рассудительно:

— Вы все-таки поимейте меня в виду.

Через год осенью приехали студенты на уборку. И один из них, Вася, после работы преданно приходил к ней на линию. Он носил очки, щурился близоруко, когда их снимал, из кармана куртки у него всегда торчал учебник математики.

— Знаете, — говорил он, — с такой интересной теоремой познакомился сегодня!

Можно было подумать, что он встретил человека удивительной судьбы, — Вася говорил о теоремах, как о живых людях.

Настя плохо знала математику, но Васина горячность ее увлекала, и она слушала о тангенсах и гипотенузах, как рассказ о неведомом, но красивом мире.

Перед отъездом Вася пришел молчаливый, долго стоял в дверях, потом сказал:

— Настя, давайте каждый день писать друг другу письма.

Настя ответила:

— Вы очень хороший, Вася, но я не могу вам писать.

Вася протер очки, полистал зачем-то учебник и медленно пошел от сторожки вдоль полотна.

А Николай просто песню запел, когда к ее дому стал подходить:

— «Живет моя отрада...»

И Настя плеснулась к окну и увидела его с деревянным чемоданом в руке. Споткнулась о порог, выбежала, замерла. Колька в канаву бросил чемодан, пилотку зачем-то прямо в небо швырнул, схватил на руки Настю и не в дом понес, а на луг, что возле дома, и целовал ее под солнцем, среди мокрой болотной травы. Она лежала, тихая, у него в руках, потом встрепенулась, прошептала:

— Поезд восьмичасовой... Надо желтый...

И Колька бросился в дом, взял желтый флажок и встал у железнодорожной насыпи, такой богатый, словно всех пропускал в счастье.

Я тоже смотрел из окна.

— Дождалась, — сказал я, — самого главного.

— Чего самого главного? — недоуменно спросил сосед.

— Не знаю... У каждого оно свое, это главное.

И подумал, что главное — это, наверное, дождаться чувства, которое бы озарило всю жизнь до ее конца. И потом еще подумал с грустью, что совсем не просто его дождаться, ибо жизнь человеческая скоротечна, а человек так не любит ждать!

Васька

Ваську так и звали в поселке — Васька-моторист. Ему было лишь девятнадцать, а он уже четвертый год ходил по Ладоге на рыболовецком судне, и старые рыбаки говорили:

— Добрый капитан выйдет.

Но по виду оставался Васька — мальчишка мальчишкой. Во-первых, длинный и тощий, никакой представительности; во-вторых, в веснушках лицо, а это уж совсем несолидно; и в-третьих, рыжие Васькины волосы торчали вихрами в разные стороны, словно их разметал ветер в шторм, и они так и застыли.

Да и вел себя на берегу Васька не как взрослый: таскал яблоки с друзьями у деда Анисима и даже один раз поздно вечером ходил с огольцами на кладбище, там они выли, наводя страх на прохожих.

И вот этот самый Васька влюбился. В Зинку-буфетчицу. Она была лет на пять старше его, жила самостоятельно, одна, и зорко следила за ленинградской модой. А еще она обожала лузгать семечки, и осенью у нее на прилавке лежали желтые круги подсолнухов.

В буфете продавались бутерброды, запыленные от времени конфеты и пиво. Главное, конечно, пиво. И наливать его Зинка умела с шиком: она чуть наклоняла голову, кудри спадали на одну сторону, оттопыривала мизинчик, открывала кран. Потом она говорила:

— На здоровьице!

Разумеется, так она наливала не всем, а только начальству и тем, кто симпатичней.

Васька приходил в буфет и просто стоял у прилавка. Сначала Зинка не обращала на Ваську внимания, а однажды спросила:

— Тебе чего? — и удивилась, что он покраснел до корней волос.

Зинка воспринимала его любовь равнодушно, и только когда в буфете собиралось много народу, бросала Ваське:

— Отойди, мешаешь!

Вот почти все их разговоры и были.

Однажды приковыляло к берегу рыбацкое судно. Не местное. Дальнего колхоза. Поволокла его волна по камням, попортила. В поселке был судоремонтный завод, и решил капитан подправить судно, чтобы до дома добраться.

Команда — пятеро моряков, молодые ребята, — поселилась в доме для приезжих. Они ходили по поселку все вместе, чуть покачиваясь, и изображали на лицах грусть, — ведь они потерпели кораблекрушение. Заводилой у них был Семен. Плотный и чернявый, он выделялся тем, что у него на каждом пальце было вытатуировано по якорю.

В буфет они тоже пришли все пятеро.

— Зиночка, — сказал Семен, — пострадавшим на море по одной большой и одной маленькой.

Зина наливала пиво, оттопыривая мизинчик, а когда подавала Семену, то посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Моряки не уходили. Они пили пиво еще и еще... Семен, освоясь, уговаривал Зину «не бросать его на произвол судьбы, как морская стихия». Зина раскраснелась. Семен ей нравился. Она говорила воркующе:

— Ну «на произвол»! Да такие, как вы, в каждом поселке девушек имеют!

— Моя жизнь — море! — уже бил себя в грудь Семен, — Может, я из-за него и несчастлив...

В этот момент дверь раскрылась, и вошел Вася. Он до боли сжимал кулак, в кулаке — два билета в кино на «Трех мушкетеров». Ему было страшно, потому что он в первый раз отважился пригласить Зину. Он подошел к прилавку и выпалил:

— Два на «Мушкетеров», пойдем на семь!

Зина сначала не поняла, потом рассмеялась и, возбужденная мужским вниманием, жеманно прищурила глаза:

— На «Мушкетеров» мне никак нельзя, Васенька. — И, желая сказать что-то необыкновенное, что поразило бы всех, она протянула — А хочешь, я тебя поцелую в губы?.. А ты мне лосося добудь... Ну, лосося!..

Все сперва опешили, но, предчувствуя забавную игру, закричали:

— Лосося, Васька! И целуй ее до одури!

И Семен тоже кричал:

— Лосося, Васька!

А Зинка вдруг действительно почувствовала себя королевой, она повела бровью и спросила:

— Ну как, миленький?

Васька повернулся и выбежал из буфета. В ушах звенело: «Лосося!» — но он уже трезво соображал, что над ним издеваются, что сейчас не рыбий сезон и лосось разве что приснится. Но ноги сами несли к берегу. Отвязал свою моторку, прыгнул в нее и, скорее подчиняясь желанию куда-то ехать, бежать, чем на что-то рассчитывая, рванул на остров Княжно к знаменитому на все озеро рыбаку Николаю.

Гнал на полном газу, подлетел к острову, чуть на берег не выбросился. Николай стоял у прибоа.

— Дядя Коля! Выручи — лосося надо! — крикнул он.

— Ты что, парень, лыка не вяжешь? Опохмелки у меня нет.

Они вошли в дом, сели за стол, обо всем рассказал Васька.

— Крутит баба. Ломается. Плюнь, — отрубил Николай.

Васька твердил:

— Ну и пусть крутит. А все равно целовать должна, при свидетелях говорила. Лосося только за то просила...

— Васька, угомонись!

— Эх, дядя Коля, мне все одно поцеловать ее, а там что будет...

Васька встал, пошел к выходу:

— Махну через озеро, там рыбы богаче.

Николай вытащил из-под лавки высокие резиновые сапоги, сказал:

— Чаль свою лодку. На моей едем.

Они плыли вдоль льна, и Николай пристально вглядывался в озеро, словно отыскивал какое-то место.

— Подведешь меня под статью, ведь браконьерим.

— Дядя Коля, сам сяду, помоги...

... Часа через три в доме на острове Васька плясал вокруг стола. Лосось килограмма на полтора лежал на лесенке, еще слабо шевелил жабрами.

— Сказка! — кричал Васька. — Дядя Коля! На всю жизнь...

Васька не стал ждать рассвета. Завернул лосося в полотняную тряпицу, прыгнул в лодку и опять на полном газу — в поселок. За час доплыл.

От берега до Зинкиного дома бежал стремглав, но на углу перевел дыхание и пошел медленно. Дом темнел на бледном по-рассветному небе, и густая ветка отцветшей сирени коснулась Васькиного лица. Он подошел к самому окну и стукнул тихо, три раза.

Послышался шорох, и снова все замерло. Тогда он подождал еще немного — и снова стукнул, осторожно, одним пальцем. И сразу шторка откинулась, и Зинка, в одной белой рубашке, горячим ночным шепотом спросила:

— Чего тебе?

— Лосося привез...

— Утром, утром, — торопливо и чуть испуганно сказала она.

И в этот миг где-то в глубине комнаты, за Зинкиными плечами, возник голос: «Я тебе дам лосося!» Зинка захлопнула форточку и отпрянула от окна.

Васька стоял минуты две, не понимая, откуда он слышал этот голос — с неба ли, из-под земли, из зарослей сирени... И вдруг с такой щемящей болью почувствовал — из дома, из Зинкиного дома голос, и он не знал, что ему делать, разбить ли дом на щепки или самому разбить себе голову. Он прижал к себе тряпицу с лососем и снова бросился к лодке...

Васька причалил к острову, разбудил Николая и, ни слова не говоря, положил лосося на стол...

Николай хмуро оделся, сел в Васькину лодку и, лишь когда отъехали от острова, сказал: «Ну, парень», — и Васька не мог понять, что этими словами хотел сказать Николай.

Когда они причалили к берегу, Николай велел сидеть Ваське в лодке, а сам взял лосося и пошел в поселок.

Уже светало, песок потемнел от росы, и шаги были негулками, но тяжелыми. Николай взошел на крыльцо Зинкиного дома и постучал в дверь твердо и властно. Зинка отперла дверь.

— Позови! — Он сказал это так, что Зинка нырнула в комнату, и через несколько минут вышел на крыльцо Семен.

— Ведь не любишь, — медленно сказал Николай и чуть сдавил Семеново плечо.

Семен поморщился, ничего не ответил. Зинка стояла за его спиной, бледная и непричесанная.

— Ты меня знаешь?.

Семен кивнул.

— Когда судно будет готово? — спросил Николай.

— Завтра, — сказал Семен.

— Сколько денег есть?

Семен, не переча, порылся в карманах, вытащил вместе с табачной трухой два рубля и серебряные монеты.

— На еще три. Хватит. Шагай на станцию вон той тропой, чтобы люди тебя, паразита, не видели.

...Через пять минут Семен, стукнув калиткой, пошел по дороге. Заплечный мешок спустился и бил его при каждом шаге по ногам, но он не обращал внимания и шел, втянув голову, молча.

— Лосося готовь, — сказал Николай Зине. — И вина пошарь. Мы ночью не на пуховике валялись...

— Дубина ты, — говорил он Ваське, когда они шли от берега к Зинкиному дому. — Ну кто лососем ночью в окно тычет? Перепугал девку до смерти... А теперь она чай кипятит...

И Васька шел и думал счастливо, что голос ему почудился, что действительно он дурак — так перепугать ночью! — и он обязательно попросит у Зины прощения.

Они сидели за столом, Зина разлила по стопкам и сама села, молчаливая и грустная. А потом, как-то до странности непохожая на себя, строгая, она подошла к Ваське и слозно в раздумье, без улыбки, перепутала ему рыжие волосы и снова налила по стопкам — ему и себе. Николай не обиделся — себе он мог и сам налить.

Евдокимыч

Всю жизнь проработал Евдокимыч рядовым служащим. Он сидел в большой комнате и сверял счета, а потом проверенные документы передавал в окошечко.

Когда он проработал больше двадцати лет, его стали по праздникам приглашать в президиум, и тогда руководитель учреждения называл его «наши старые кадры».

Евдокимыч привык к своей жизни, к ее однообразному ходу, но порой ему вдруг так хотелось командовать, приказывать, решать. В одно из таких мгновений взял он да и поставил свою подпись под проверенным счетом. Счет сочли недействительным, а Евдокимыч получил выговор.

Но такие вольности он позволял себе редко. И вот наступил день, когда начальник отдела сказал торжественно:

— Вы честно потрудились на своем веку, Павел Евдокимович, пора и на заслуженный отдых, — и протянул ему подарок сослуживцев — будильник. — Чтоб всегда вы были на часах, — сострил начальник.

Так Евдокимыч стал пенсионером. Сначала он несколько растерялся, но, подумав, решил: «Ну, ничего, теперь-то я и начну жить человеком». Он и сам себе ясно не представлял, как жить человеком, но ему мечталось, что это значит быть на виду и обязательно выражать свои мысли обстоятельно и серьезно.

У него были скоплены небольшие деньги, и жена его всплеснула руками и чуть не заголосила, когда он твердо сказал, это ему необходима моторная лодка и без нее он дальнейшей жизни не представляет. А потом он поехал на рынок и приторговал поношенный бушлат и фуражку с «капустой».

Однажды Евдокимыч встал на рассвете, сунул в мешок соли, хлеба, консервов, разбудил жену: «Жди, мать, с рыбой», — и пошел на Неву, где у причала стояла его моторка, голубая, с красным нарисованным якорем на корме.

Это было удивительное утро. Он плыл Невой у берега, и ему казалось, что люди на набережной все до одного смотрят на него и думают: «Не иначе, как старый морской волк, вот ведь и пожилой уже, а все в море тянет». И ему от этих мыслей становилось томительно сладко, он ухарски сдвигал набекрень фуражку и приосанивался.

Город кончился. Пошли вдоль берега поля, рощицы, деревеньки. К полудню Евдокимыч пристал к небольшому поселку и отправился в чайную обедать. В чайной было йушно и многолюдно. Он встал в очередь, но в этот миг раздалось:

— Батя! Капраз! Не побрезгуй нашим моряцким столом — чего тебе в очереди стоять!

В углу столовой, тесно облепив стол, сидели ладожские рыбаки, на клеенке стояли бутылки вина, закуски. У Евдокимыча радостно кольнуло в груди: «Они называли меня капразом — капитаном первого ранга! Да я, наверно, и впрямь так выгляжу!»

Он подошел к столу, ребята сдвинулись, налили Евдокимычу вина.

— Отплавал я свое по большим морям! — сказал Евдокимыч и звонко добавил: — За море!

И все закричали:

— За море! — и чокались с Евдокимычем, и лезли целоваться.

Через час Евдокимыч тронулся дальше. Он плыл к Новой Ладоге. Никогда еще не было ему так хорошо, и, почти счастливый, он пел, сжимая руками руль:

— «Я, моряк, бывал повсюду...»

В Ладоге он решил остановиться в доме для приезжих. Оказалось, что паспорт оставил дома, но он протянул старушке дежурной удостоверение ДОСААФ и сказал внушительно:

— Запишите, капитан первого ранга... в отставке... — И от этой немудреной лжи ему снова стало томительно сладко.

В общем номере он жить не стал, не пожалел полтинника и занял койку в двухместном номере, но поскольку приезжих было мало, жил в комнате один.

Проснулся он оттого, что услышал голос за стенкой:

— Отнеси чай капитану, пока горячий. — И сразу в дверь постучали. И Евдокимычу сделалось необыкновенно приятно, потому что «капитаном» называли его.

Целый день он гулял по городу, разговаривал с местными жителями, спрашивал, где лучше рыба клюет, куда ему отправиться на рыбалку, и уже к середине дня как-то сам собой возник в городе слух, что приехал на рыбалку знаменитый капитан, гроза фашистов в Отечественную войну, и мальчишки издали почтительно смотрели на Евдокимыча.

Ехать он надумал на остров Княжно, где рыбачил от колхоза известный всей Ладоге Николай. Новые знакомые — ладожане провожали Евдокимыча, и он, прощаясь, взял под козырек и сказал скупно, по-мужски:

— До встречи.

Николаю по радиции передали, что Евдокимыч едет, и когда услышал Николай шум мотора, вышел на берег и встретил Евдокимыча у самой воды.

— Поярков, — четко представился Евдокимыч, и его немножко покорило, что Николай ответил просто:

— Здорово.

Но это в конце концов было сказано сердечно, и Евдокимыч успокоился.

Потом они сидели в доме, пили за знакомство, Евдокимыч хмелел и становился все разговорчивей.

— А однажды, — говорил он, — вел я китобойное судно. И вдруг льды — справа, слева... Затерло, одно слово... Выключили машины — в дрейфе, значит. Стоим. Думаю, что предпринять. А тут, поверишь, медведи откуда-то взялись, белые, значит, и прямо к кораблю идут. Ну что делать? Оружия нет. А медведь зимой злой. Беда. Командую: «Гарпунеры! К пушкам!» И сам тоже за пушку встаю. Как дали гарпунами по медведям, три на льду остались, остальные — деру!

Он говорил, захлебываясь, увлекаясь, почти сам веря в свою фантазию, и одно смущало его, что Николай не охает, не перебивает, а только глядит и улыбается. И эта улыбка

словно подстегивала Евдокимыча, и он снова говорил, говорил... Погасла трубка. Он выбил золу, набил.

— Трубку курите? — спросил Николай.

— Трубку... В Бостоне подарили... Докеры...

— Докеры? Почему докеры?

Евдокимыч и сам не знал, зачем он помянул докеров, и, закашляв, объяснил не очень ясно:

— Это, значит, бастовали они. Ну, а нас, как советских людей, уважили, разгрузили. И трубку подарили. За мир, значит, одним словом.

— А что в Бостон возили?

Евдокимыч снова сбился с плавного разговора, но потом сказал:

— А помидоры, значит... Поскольку мы с Америкой промтоварами не торгуем.

Они сидели допоздна, и Евдокимычу только одно не нравилось, что Николай все время улыбается, хотя, если подумать, улыбка ведь у него хорошая, без обиды.

На следующий день Евдокимыч решил заняться делом — рыбачить. Николай отвез его в тресту на высокий камень, откуда лучше всего в последние дни окуни клевали.

Евдокимычу не везло. Поплавок дергался, рыба либо срывалась, либо вообще, съев червяка, уходила. К вечеру привез Евдокимыч лишь пять небольших плотвичек. Он расстроился: пора домой возвращаться, а без рыбы хозяйке хоть и не показывайся.

Наутро заверещал мотор вдали, и вскоре причалила к берегу моторка. Приехала жена Николая. Николай старался виду не показывать, но был рад ее приезду, суетился и неуклюже помогал жене. Жена была молодая, высокая, черты лица крупные, но мягкие, и потому она казалась добродушной и милой. Звали ее Верой. Она вымыла в доме полы, настелила пахучие луговые травы, протерла стекла, и вдруг стало в доме как-то просторнее, светлее и торжественней.

Николай уезжал ставить мережи, а она гуляла по острову и пела негромко, и ее голос на пустынном маленьком острове среди ольшаника и серебристой болотной осоки звучал для Евдокимыча как-то непонятно, таинственно и щемяще. Она была единственная женщина на острове, и это как-то поднимало ее в глазах Евдокимыча, он старался незаметно следить за Верой, и чем больше приглядывался, тем сильнее она его удивляла. «Волосы светлые, глаза карие, брови черные, — чудно, а красиво!» — думал он, и какая-то незнакомая грусть наполнила его сердце. Вера кипятила чай, чинила сети и все время поглядывала на часы.

Евдокимыч чувствовал, как она любит Николая. И ему становилось еще грустнее, потому что он пытался вспомнить тех, которые светло и верно любили его, и никого не мог припомнить. Когда ему было двадцать, он, красный конник, стоял с частью под Дубно. И почти каждый вечер встречался с крестьянской девушкой, полячкой Зосей. Она целовала его и спрашивала: «А ты приедешь ко мне, когда война кончится?» И он говорил: «Приеду, коханая», — а потом забыл ее и никогда уж больше в жизни не встречал. Другие воспоминания были смутны и далеки. А жену свою он видел такой, какой она была сейчас, — расплывшейся, в старом сальном переднике, отчего он казался туго накрахмаленным. И ему становилось жаль себя, он понимал, что пропустил в жизни что-то очень важное и, может быть, бесценное. И когда он начинал с Верой говорить о чем-нибудь, ему хотелось признаться ей, что никакой он не капитан, а просто пенсионер и до недавнего времени самый маленький по своей должности служащий учреждения. Ему казалось, что, если он ей в этом признается, она скажет ему нечто полезное и необходимое для всей его будущей жизни, но он никак не мог себя перебороть и рассказать о себе.

Вернулся с озера Николай. Лодка шла тяжело, наполовину забитая светло-серыми судаками, они еще разевали рты, словно хотели что-то сказать.

Евдокимыч увидел рыбу, глаза его загорелись. «Вот бы мне несколько таких», — подумал он, но просить ему было неудобно, и он только сказал важно:

— Хорош улов... Ну да мне в город пора... Дела.

Вера взглянула на мужа:

— Павлу Евдокимычу выбери в город, Коля.

— Само собой! — И Николай протянул Евдокимычу несколько жирных, блестящих на солнце рыб.

Евдокимыч расплылся в улыбке:

— Ну вот спасибо, спасибо... Далеко мне еще до тебя... как рыбаку... Спасибо...

Он просолил рыбу, уложил ее на дно лодки, покрыл брезентом, попрощался с Верой и Николаем за руку и тронулся в путь. Он ехал медленно и думал, как приедет в Ленинград, как понесет по улице судаков, обязательно так, чтобы все видели, — небрежно скажет соседям: «Улов как улов. Времени маловато». И непременно будет рассказывать жене, что ловил их в шторм и его едва не перевернуло.

И вдруг ему стало тоскливо и пусто от своих мыслей. Он и сам не знал, чем это объяснить, но почти физически ощутил тупую гнетущую боль во всем теле.

Он остановил моторку.

Закурил сигарету.

Задумался.

Поплыл обратно к острову.

Выключил мотор метрах в десяти от берега и пошел по мелкой воде, молчаливый, к причалу.

— Спасибо, Николай, возьми. — Он положил рыбу на бревно, еще раз пожал руку обоим и пошел обратно к лодке.

— Может, все же возьмете? — спросил Николай.

— Нет, так уж получилось...

А Вера смотрела и ничего не говорила, и, наверное, это было естественно, потому что женщины иногда понимают вернее и глубже мужчин и не надо им тогда слов.

Нина

Третий день живем мы в рыбацком городе на берегу Белого моря. Третий день ходим в одну и ту же столовую, что напротив нашей гостиницы. В городе есть еще кафе и столовые, но мы никуда не заходим и идем в «свою». Девушки-официантки уже привыкли к нам и встречают нас приветливо, а одна из них, Нина, улыбается.

Нине лет двадцать, она худощавая, большеглазая. Мы уже знаем, что Нина недавно вышла замуж. Ее муж рыбак. Они, наверное, очень любят друг друга. Когда Степа — так мужа зовут — уходит в море, он просит, чтобы носила Нина его тельняшку. Чтобы вспоминала его часто. Вот и сейчас выглядывают у Нины из-под распахнутой белой куртки голубые полосы тельняшки. Значит, Степа в море. Море тихое. Небо солнечное.

Когда Нина подходит к нашему столику, она всегда улыбается. И мы тоже улыбаемся. И пытаемся острить. Нина с тележкой подъезжает к столику и собирает посуду. Мы просим:

— Нина, покатайте нас.

Это не очень смешно, но мы все смеемся, и Нина на миг останавливается:

— А и впрямь можно...

Когда мы уходим, я беру в буфете несколько шоколадных конфет и протягиваю их Нине. Если бы я протянул коробку, она бы, наверное, смутилась. Но когда подносишь в горсти, это выглядит как-то дружески и естественно.

...На четвертый день мы проснулись оттого, что ветер градом и крупными каплями дождя бил в наше окно. По небу стремительно неслись тучи. Моря из нашего окна не было видно, но его рев отчетливо долетал до слуха. Мы оделись и отправились завтракать. Нина была беспокойной, не улыбалась. Ну чем мы могли ее утешить?

— Пройдет и это, — сказал один из нас.

Нина даже не взглянула в нашу сторону. Мы заметили, что и ходить она стала вдруг слегка покачиваясь, словно под ней палуба шхуны.

Когда мы пришли ужинать, Нину нельзя было узнать. Она осунулась и словно еще больше похудела. В углу сидела подгулявшая компания. Один из парней кивнул Нине:

— Давай встретимся, милая, после работы...

Нина замерла и неожиданно крикнула срывающимся голосом, звонко:

— У меня муж есть, понимаешь, муж!..

Парень опешил и сказал мирно:

— Ты не серчай... Я ведь ничего тебе...

Поздно вечером я пошел в баню. Вдруг дверь в баню распахнулась, и вошли пятеро мужчин в рыбацких капюшонах, резиновых сапогах. Лица были багровыми, иссечены прутьями ливня. Они, не подходя к кассе, прошли прямо в баню. Их никто не остановил. Медленно разделись, бросив одежду как попало на лавку, и прошли в парилку...

Старик банщик собрал их одежду и развесил по шкафчикам.

Рыбаки сидели на верхней полке, хлестались вениками. Молчали. Один сказал:

— Степана жаль...

И все на миг перестали хлестать себя, а потом снова как-то ожесточенно стали бить по спине и груди.

...Я тяжело спал в эту ночь, и снилось мне море: идет по морю, как по лесу, Нина и все ищет, ищет.

Коль Саныч

— Поедем, пожалуйста, меня сватать, — попросил Коль Саныч, появляясь на пороге избы, в которой жил Володя.

Володя чуть не поперхнулся от неожиданности.

За время Володиного житья на берегу Ояти сложились у него странные, но довольно близкие отношения с учителем истории Николаем Александровичем, или, как его звали здесь, Коль Санычем.

Внешностью своей Коль Саныч привлекал внимание: худенький, волосы редкие, с сильной и неровной проседью, от чего они казались пегими; личико вытянутое, и когда он чисто выбривался, то щеки отливали какой-то жалостной синевой, словно его на морозе прихватило. Более всего удивляла голова — она вертелась на тоненькой шее с быстротой невероятной, и у Володи — иногда появлялась сумасшедшая мысль, что голова Коль Саныча может свободно сделать полный оборот, как глобус. Несмотря на свой серьезный возраст — ему за сорок перевалило, — учитель был холост.

Коль Саныч родился в крестьянской семье. Жили небогато, мать перешивала ему одежды старших братьев. В ранние лета он уже и коров пас, и косил, и метал стога...

В начале тридцатых сочли было батьку подкулачником, увезли с милиционером в райцентр. Меньшой, Колька, бежал за подводой, плакал... Отец вернулся через несколько дней, объяснять ничего не стал, только сказал сумрачно: «Недоразумение получилось...»

Как помнил себя Коль Саныч, росли возле их дома пять кудрявых яблонь. В мае заметали крыльцо белым пухом, а осенью плоды с глухим стуком падали в траву, приминая ее. Мать собирала яблоки в плетеные корзины, ставила корзины в избу, и ароматный, таящий в себе солнечную силу запах наполнял комнаты.

Но однажды пришла в сельсовет инструкция, по которой каждое плодовое дерево облагалось налогом. Весна выдалась пасмурная, холодная, медленно и вяло зацветали яблони, и по осени урожай был курам на смех.

Темным осенним вечером отец прохрипел сыну: «Руби!» И они срубили все пять яблонь. Коля сек ствол, и ему становилось чуть ли не физически больно, словно по собственной ноге попадал.

Постепенно все сильнее и сильнее зрело в мальчишке желание уйти куда-то далеко, стать кем-то иным, чем его отец. Казалось, стоит уехать в город, и там жизнь сразу пойдет по-другому — лучше, счастливей.

Случай выдался, и Коля поступил в учительский техникум. В небольшом городе, где высились каменные дома и гудели паровозы, он первые месяцы просто блаженствовал.

А когда окончил техникум, направили его в дальнюю деревню учительствовать.

С тех пор не одну школу он сменил, отвоевал войну, постарел, а жизнь его все текла неустойчиво и неустроенно.

Коль Саныч был человеком покладистым — над ним подтрунивали, а он и сам посмеивался; в одиночку не выпивал: если брал «маленькую», то искал собеседника.

Его не покидала одна надежда — жениться. «На ком же думаешь?» — спрашивали его. Он хлопал ресницами, застенчиво улыбался. «Точно не скажу. Главное, чтобы вышло соответствие», — туманно объяснял он.

И вот Коль Саныч стоит перед Володей Селезневым, говорит просительно:

— Ну, поедем, пожалуйста...

— Да к кому ехать-то? — спрашивает Володя.

...Петя Кругликов, работник леспромхоза из большого села Степанихи, поведал Коль Санычу о Дарье.

Петя Кругликов слыл балагуром, баечником. Степаниха лежала на пересечении автобусных дорог, и, часто принимая гостей у себя, Петя обстоятельно беседовал с ними, наставлял.

— Женим мы тебя, Коль Саныч, — и глазом не моргнешь. И уж полное соответствие наметим... А мы тебя, — вдруг торжественно воскликнул он, — на представителе Советской власти женим!..

Тут даже Коль Саныч опешил. Он спросил тревожно:

— Это в каком смысле?

— А в прямом. На Дарье. Она у пас секретарь сельсовета.

Дарья жила на отшибе от Степанихи, в маленькой деревеньке, с матерью, подслеповатой старухой. Был у нее сын, взрослый парень — первый год служил в армии. Дарье шел сорок второй. Невысокая, располневшая, она выглядела налитой, и лишь морщинки у глаз да нечастые седины говорили о немягкосердечной ее судьбе.

Сын у нее еще при войне родился. Солдатский сын. А солдата того сыском ищи — не отыщется. Как говорится, глупа да молода была.

Позднее никто к ней в дом так и не вошел женихом. Случались встречи, недолгие и пустые, но после каждой из них она горевала томительно и тяжело, потому что чувствовала: еще одно нелегкое и возможное счастье прокатилось мимо...

В последние годы, когда сын подрос, она стала меньше тяготиться своей одинокой жизнью, в хлопотах о сыне коротала свободные часы. Но ведь сорок лет — это еще далеко до женского покоя, и находили на Дарью минуты шальные, жаркие, изнуряющие. Тогда она думала тоскливо: «Неужели все?..»

У нее застучало сердце, когда Петя Кругликов заговорщицки остановил ее на крыльце сельсовета:

— Учитель... Николай Александрович... Метит о серьезном браке...

Дарья покраснела, но, поскольку Петя был старый знакомый, спросила:

— Верно ли, Петя?

— Жди в субботу. Заявимся после вечернего автобуса.

В субботу с утра было пасмурно. Дарья сидела за своим столиком в сельсовете, отвечала на телефонные звонки, носила какие-то бумаги председателю, но все это делала механически.

Встала она в тот день на рассвете, вынула из сундука слежавшуюся белую скатерть, слегка намылила ее и разостлала на сугроб перед домом. Она знала, что так скатерть кипенно выбелится и тонкий аромат снега распространится в комнате. Матери объяснила:

— Мама, ко мне сегодня человек придет. Может, и подружмся мы с ним... Ты уж сядь с нами для порядка.

Бабка ответила покорно:

— Хорошо, дочушка!

Бабка засуетилась, слезла с печи и пошла в погреб за мясом. Ей сделалось беспокойно, потому что кто-то неведомый собирается войти в их размеренную жизнь. А каков он? Может, бражник, табакур, голь перекатная или утеснитель ее старческих дней? Она понимала мудрым умом матери, что неведомому дочери одной, да и дом без хозяина плох, но тревога за их жизнь наполняла мать. Однако жизнь свою надо показать лицом, что бы там ни было. И она варила яйца, мешала их с молодой бараниной, заливала сметаной — стряпала, как в давние времена, когда в доме бывали большие праздники.

Потом она взяла в горнице с этажерки портрет внука и переставила в комнату, на комод, рядом со столом: пусть, дескать, и Митенька как бы присутствует здесь, да и гостю он должен быть виден от начала.

К середине дня появились в избе лукавые соседки:

— И что творишь?

— Загулять вздумала, — отшутилась бабка.

— А мы глядим, — тянули соседки, — что-то долго у тебя нынче дым из трубы бежит.

Хотя суббота была коротким днем, Дарья впервые за всю свою службу в сельсовете попросила отпустить ее пораньше. Она зашла к сельскому парикмахеру, и тот, расчесывая ее рыжие кудряшки, приговаривал:

— Мы только что с курсов усовершенствования: взовьем локоны, как в Париже.

Дарья испугалась:

— Лучше — как в Ленинграде.

— И это нам с руки, — согласился парикмахер и защелкал оглушительно ножницами.

Потом она шла домой по узкой распускающейся мартовской дороге и сокрушалась, как пойдут ее гости по тальным местам, черпая в темноте воду в ботинки. Дома она отыскала старенькие мужские шлепанцы, помыла их, высушила и поставила у входных дверей. Дарья достала из заветной деревянной коробки сохшуюся, давно не употреблявшуюся помаду и осторожно, словно ножом касаясь, провела перед зеркалом по нижней губе и по верхней. Губы вдруг стали какими-то ей чужими, но лицу придали новое выражение, и Дарья решила, что так она выглядит моложе. Она налила в рюмку браги, пригубила хмельной и сладковатый напиток и обрадовалась, потому что брага была в самый раз, словно для этого вечера она ее и варила.

Дарья осмотрела еще раз комнаты и села у окна, ожидая гостей.

Когда Володя с Коль Санычем, пришли на автобусную остановку, деревенские кумушки были тут как тут.

— Далеколько ли? — невинно спросили.

— На совещание, — твердо ответил Коль Саныч.

— Ишь, работа учительская, — сокрушенно и лукаво закачали они головами, — и в субботний-то вечер покоя нет...

Девчонки-старшеклассницы, вертевшиеся возле взрослых, приснули. Коль Саныч, строго взглянув на них, зачем-то добавил:

— По линии ДОСААФа еду.

— Известно, батюшка, по линии, — дружелюбно поддакнули бабы, — на то и учен. — И добавили, прикидываясь простушками: — А Досафа — оно вроде как имя женское...

В автобусе ехали без приключений и через час, ступив на землю, прямо столкнулись с Петей Кругликовым.

— Добре, — сказал он. — А вы налегке? — обратился он к учителю.

— Тепло ведь, — обрадованно сказал Коль Саныч.

— Я в смысле чего-нибудь в кошелке.

Коль Саныч смутился и тихо произнес:

— Образно говоря, не подготовлен я. До полочки имеется дистанция.

— Так, — мрачно молвил Кругликов.

— По дороге прихватим, — успокоил Володя и добавил, выгораживая Коль Саныча — Это он от волнения.

По пути они завернули в буфет.

— Надо выпить малость, — сказал Петя, указывая на Коль Саныча, — чтоб он успокоился. Дело-то навек!..

— Конечно, — с готовностью подтвердил Коль Саныч и уставился преданным взглядом на Володю.

Заказали две бутылки «Фраги».

Вошел пожилой шофер.

— Гуляешь? — обратился он к Пете.

— Сложней, — нахмурился Кругликов.

— А чего сложней? — заинтересовался шофер.

— Секрет.

— Да они Дарье-секретарке жениха везут, — высунулась из раздаточного окошка баба в белом халате. — Вот он и есть, — указала она поварешкой на Володю.

— Дела, — протянул шофер.

— Пора, — скомандовал Володя и залпом выпил свой стакан.

В магазине Володя предложил взять в подарок мармелад, поскольку в кармане у него было уже не густо.

Коль Саныч взглянул на Володю:

— А может, шоколад?.. Хотя, конечно, дистанция...

Взяли все-таки коробку шоколада.

Дарья увидела их издалека, вышагивающих гуськом во главе с Петей. Это было, наверно, не очень солидное шествие, поскольку они прыгали с сушины на сушину и все-таки попадали в лужи, раскидывая брызги.

Дарья еще разок подошла к зеркалу, поправила прядь и с безжалостной отчетливостью разглядела мелкие морщинки, которые ничем не скрыть. Ей вдруг так захотелось своего добротного счастья с мужиком, который бы заставил ее забыть одинокую тоску. Она накинула шаль и метнулась в сени.

Гости неловко втолкнулись в невысокую дверцу дома и стали неистово топтать ногами. Вроде бы снег стряхивали, а на самом деле, конечно, — от переживаний. Дарья неестественно широко распахнула дверь в комнату:

— Пожалуйте.

Володя, Коль Саныч и Петя Кругликов гуськом, как и на улице, вошли в горницу. Старуха стояла, как перед фотоаппаратом: неподвижно, скрестив руки и глядя прямо перед собой. Коль Саныч растерялся и вручил ей конфеты, и все вздрогнули, когда бабка звонким не по возрасту голосом крикнула некстати:

— Век не забуду!

Дарья, по-женски уловив общую растерянность, пригласила за стол. Гости сели на стулья, пододвинули тарелки, налили по стопке и ощутили себя в своей стихии.

— Вот привезли. Целехонек, — высказался Петя, словно речь шла о товаре в ящике с надписью: «Не кантовать».

Учитель зажмурился и похвалил баранину.

Дарья улыбнулась.

Бабка подложила в тарелку Коль Саныча.

Володя налил по второй стопке.

И все облегченно вздохнули.

Дарья пила мало, пригубляла больше. Коль Саныч ей нравился — интеллигентный и собой шустрый. Ей было приятно, что сидит он во главе стола, что курит и придавливает

окурки в блюдце, что он пьет ею приготовленную брагу, — ей было приятно все, чего так давно не видела она в своем доме.

За столом шел уже тот пестрый и вольный разговор, какой всегда возникает к середине застолья.

— Все же школьная система нынче с изъяном, — важно твердил Коль Саныч.

— Не без того, — поддакивала Дарья.

— Не соглашусь, — упрямо мотал головой Петя.

А бабка, близоруко разглядывая Коль Саныча, спрашивала Дарью:

— Да никак он волосом совсем еще черненький?

Дарья говорила:

— Мама, перестаньте, — и улыбалась Коль Санычу, пожимая плечами: дескать, простим старость.

Коль Саныч сидел окруженный вниманием, и ему все очень было по душе — и пухлые плечи хозяйки, и заботливость бабки, и то, что есть спорщик Петя, которого он, учитель, может сражать своими доводами. Он моментами забывал, зачем сюда приехал, и ему казалось, что он просто сидит в милой и теплой компании.

Бабка, прихлебывая бражку, расспрашивала Петю, не знает ли он, где поросеночка купить, жаловалась, что сена до живой травы не хватит, прикупать придется, везти не на чем, а шофера-шабашники дорого берут.

Коль Саныч ласково смотрел на пышную Дарьину грудь, но когда ясно осознавал, что его сегодня потчуют как будущего хозяина, то произносил про себя: «Нет соответствия, нет...»

Коль Саныч явственно ощущал в эти минуты вечные заботы крестьянской жизни, те, от которых он бежал в юности, от которых отвык и которые представлялись ему теперь изнуряющими и чужими. Он трезвел и лихорадочно думал: «Детства с меня хватит... Потом за этих поросят...» Снова всей своей жизнью стать сопричастным деревенскому быту, стать хозяином живности и дома — Коль Санычу казалось это изменой самому себе, мечте своей. «Люди-то какие хорошие, приветливые, встречают как», — твердил ему внутренний голос. «Ну и что? — возражал этому голосу Коль Саныч. — А если не соответствует? Так уж что тут!»

Коль Саныч сжимался, казался себе маленьким и жалким, каким-то совсем бесталанным. И оттого, что казался себе таким, произносил велеречиво:

— Думаю министру письмо отправить. Изложу свои соображения.

— Конечно, надо писать, — соглашалась Дарья и добавляла в простосердечье: — Вот в сирени и столик стоит.

Коль Саныч посмотрел в окно и снова важно сказал:

— В мае цветут сирени.

Дарья обостренным чутьем одинокой женщины схватывала — не так все идет. Словно обычная пирушка это, а не торжественное и таинственное начало новой жизни. Все напряженней вслушивалась она в речи Коль Саныча, все пристальней смотрела на него и с болью понимала, что не жилец он здесь, в ее доме. И чем сильнее она это ощущала, тем яростней хотела, чтобы вышло наоборот, чтобы этот тощий и нескладный человек остался с ней. Она бы так ждала его возвращения из школы по вечерам, еще издали бы из окна видела подпрыгивающую при ходьбе его зеленую шляпу и бросалась бы к плите разогревать блины, жирные и румяные. Так она думала, но с каждой минутой застольный разговор уводил от того главного дела, с которым гости пришли.

И Дарья уже хотела, чтобы скорее кончилось застолье, потому что ничего желанного оно не могло принести. Она медленно провела ладонью по лбу, зевнула неприкрыто и взглянула на часы.

Петя сказал, обращаясь к Володе:

— Пора.

Все трое поднялись, но в последнее мгновение Дарья смело и откровенно положила свою полную руку на плечо Коль Саныча, и тот беспомощно замигал, топчась на месте.

— Спокойной ночи, — усмехнулся Петя и дернул Володю за рукав. Они вдвоем вышли на темную дорогу и, обнявшись, отправились к Петиному дому.

...Утром, когда Дарья пила с Коль Санычем чай, она поняла уже бесповоротно, что снова ей быть одинокой. Она молча тянула из блюдца, вспоминая ночные прикосновения его рук, теплых и сильных. Дарья дотронулась до рубашки Коль Саныча, на которой расплылось винное пятно, и сказала:

— Оставьте рубашку, я стираю. А вы другую наденьте, у меня такая же есть...

Коль Саныч поперхнулся чаем и скороговоркой, словно боясь, что его прервут, застрекотал:

— Что вы! Забота вам! Ерунда это! Нет-нет, не надо...

И Дарья, глядя на его испуганное лицо, усмехнулась горько и жалостно.

Володя уезжал из Степанихи восьмичасовым автобусом. Сидел на ступеньках станционного домика, грелся на первом весеннем солнышке, как услышал за спиной стук сапог и знакомый голос Коль Саныча:

— Доброе утро!

Учитель бодрился, но выглядел понурым. Развел руками:

— Соответствия не произошло. А потом еще добавил с грустью:

— Хорошая женщина...

О Коль Саныче и истории его сватовства я узнал от своего приятеля, художника Володи Селезнева, который жил несколько месяцев в деревне на Ояти. А как-то он сказал мне:

— Получил я недавно письмо от Коль Саныча. Сообщает, что стал наконец горожанином: женился на учительнице из райцентра. «Поздравь меня, — пишет, — с законным браком»... Не стал я его поздравлять... Впрочем, может быть потому, что заматался тут со своими делами.

Солдат

Я еду в Лодейное Поле поездом дальнего следования. Едут со мной в одном вагоне солдаты — молодые, крепкощекие, в парадной форме.

Проводница — худенькая женщина лет тридцати, русая, с милым, но уже поблекшим лицом.

И один солдат, круглоголовый, все заходит в маленькое купе проводницы, и они о чем-то беседуют там, и он пьет чай, обжигаясь и отказываясь от сахара.

Люди в вагоне замечают, как они начинают тянуться друг к другу, и всем вроде не по себе, потому что так очевидна разница их лет.

А женщине хочется, чтобы солдат выглядел постарше.

А солдату хочется, чтобы она была как девчонка.

Проводница никак не может открыть выходную дверь, солдат помогает ей.

— Хоть один мужчина догадался, — говорит она, явно стараясь этим словом «мужчина» придать солдату солидность.

— Это нам нипочем, курносая! — смеется солдат.

Они смотрят друг на друга радостно и тревожно.

— Спляшем, — отчаянно говорит солдат, крутя кнопку приемника.

— Уж больно вы все в армии самостоятельными становитесь, — с притворным огорчением вздыхает проводница.

...Маленький полустанок, запорошенный метелью, с огромными черными воронами на деревьях.

Солдат приехал домой.

Он выходит с чемоданом в тамбур.

И она выходит за ним.
— Увидимся? — спрашивает он в последний миг.
Она улыбается непонятно и таинственно, как могут улыбаться только женщины.
— Через три дня по расписанию две минуты стоять будем.
— Ух, — вырывается у солдата. — Точно! Две минуты. Приду.
— Иди, мой мальчик, — тихо произносит женщина, уже безо всякой игры в его
взрослость, и ее лоб пересекает морщина.

Солдат прыгает в снег и долго машет ей, такой юный и растерянный, среди снега, под голубым зимним небом.

Груша

Отчаянной, как никто, была Груша. Жила она без мужа, растила двух ребятишек — от разных отцов.

Работала в полеводческой бригаде, крупных заработков не имела, но дети выглядели у нее прибранными и смышленными.

На колхозном зимнем празднике, хватив вина, ошарашивала:

— Внимайте, бабоньки, я женщина расхожая, закручу с вашими залетками!..

Фельдшерица, поглядывая, как отплясывает ее Федька с Грушей, цедила зло:

— Ну, теперь у нас как в большом городе — даже своя оторва есть...

А Грушка не смущалась ничем, озорничала, как молодая, хотя ей уже к сорока приближалось.

Мой знакомец, учитель Иван Егорович, человек наивный и слабый, жаловался:

— Лежу, понимаешь, с гриппом, а она — шась в избу, одеяло дернула и ну меня ворошить. Я ей говорю: в милицию пожалуюсь, а она смеется... Несусветно!..

У нее белесые негустые волосы, и глаза тоже белесые, чуть навывкат. В своем единственном праздничном зеленом платье она кажется по-девичьи стройной и сильной.

Дурная слава о ней давно пошла.

Еще когда она только заневестилась — в первые послевоенные годы, — разразился скандал.

Стучал в кузнице певун и бабник Алеша. Стала по нему девчонка томиться, а он нарочно, как увидит, что мимо по дороге Груша идет, щемяще-щемяще про любовь запоет и в такт молотком отбивает.

Сама не своя пришла к нему Груша, и так в тот позднего мая день неистовствовали соловьи, что навек их запомнила Груша. И брела она в дом к себе под утро сквозь мокрые заросли иван-чая, темная от влаги юбка липла к голым ногам, волосы были спутаны, как молодой горох.

А на том берегу у переправы с вырванным из изгороди колом стояла Алешкина жена, тоже молодая, с чернотой под глазами от бессонной ночи. Груша замерла. Так и стояли на разных берегах две женщины, стояли молча и ненавидяще, пока односельчане не развели их.

— Утоплюсь...

Но ее не утопили, и она не утопилась. Лешка уехал с женой за сорок верст стучать о другую наковальню, благо и не местный был.

Грушины подружки повыводили замуж, а ей — все трын-трава: то она крутила, как выражалась сама, с заезжим администратором областной филармонии, то уезжала по субботам к дружку в Лодейное, то...

А жизнь бежит гораздо быстрее, чем людям представляется, и к тридцати годам у нее уже и первый ребенок родился, и мать свою, единственно близкого человека, похоронила за березовым леском на деревенском погосте.

В деревне с ней лишь вдовы водились. Замужние словно боялись, что приворожит она их мужей своими глазами навывкате.

Изба ее, покосившаяся и нечиненная, но обширная, приткнулась у самого въезда в деревню. И когда проложили до деревни от Лодейного дорогу, автобусную остановку сделали у ее дома. Вернее, здесь было кольцо — дальше автобусы не шли.

В студеные дни к ней заходили погреться те, кто ждал автобуса, и она встречала радушно, занимала бабьими разговорами, предлагала разогреть самовар.

В этом году, в январский мороз, постучали к ней в дверь, как обычно, и вошел шофер автобуса, приземистый, большоголовый, постукивая рукавицей о рукавицу. Груша спросила:

— Аль новый?

— Вроде новый, коли ране знакомыми не приходились, — уверенно ответил он и стянул лохматую шапку. Голова его сделалась сразу меньше в размерах, а свалившийся под шапкой хохолок придал лицу выражение доброе и веселое. Он улыбнулся, лицо пересекли в разных направлениях морщины, и еще веселее стало оно.

— Да вы бы чайку пригубили-приголубили, — чуть нараспев сказала Груша.

Шофер не отнекивался и со вкусом, обжигаясь и похваливая, выпил кружку крепкого чая.

— Это наш алкоголь, — улыбнулся он и посмотрел на часы.

Он уехал, а Груша усмехнулась и чего-то задумалась, потом удивилась и не могла понять — отчего задумалась.

Максим Филипыч — так звали шофера — приезжал через день.

Деревня лежала в низине, и вокруг нее высились холмы, поросшие лесом, могучие и темные. Когда автобус был далеко, черное небо широким разливом светлело от его ярких фар, потом свет становился резче, и по небу пробегали две лунные дорожки. А затем на гребне холма появлялся сам автобус, но его не видели, и только пара ослепительных глаз шевелилась и двигалась.

Автобус въезжал в деревню. Мальчишки трогали его тугие шины, он казался им чудесным зверем, прибежавшим издалека.

А Максим Филипыч уже привычно шел к Груше на положенные по расписанию двадцать минут. И Груша ловила себя на том, что начинает ждать Максима Филипыча и радуется, когда он входит, немножко усталый, в черных валенках и ватнике.

Как-то Груша уложила пораньше спать ребятишек, достала к прибытию автобуса свое любимое зеленое платье, причесала волосы колечками и чуть-чуть примочила их, чтобы держались.

Максим Филипыч спросил:

— Гостей ждете?

— Ждем, — неожиданно застенчиво ответила Груша.

— Это хорошо, — сказал Максим Филипыч, — где гости, там и стопочку пропустить полагается.

И Груше так захотелось, чтобы они вместе, хоть понемножку, выпили сейчас, выпили за что-нибудь доброе и смутное. Она почти взмолилась:

— А если красенького... С водичкой?

— Не могу, — помрачнел Максим Филипыч, — в лучшем случае проколом отделаюсь.

Груша не поняла, как это сделают прокол, но настаивать не решилась, а после отъезда Максима Филипыча сняла зеленое платье, потушила свет и долго лежала в темноте, перебирая свою жизнь, но почему-то все время возвращалась к мысли о Максиме Филипыче и о своей теперешней жизни. Она мечтала встретить его праздничного, чтобы он был одет в белую рубашку и при галстукке. Она бы тоже щегольнула в светлых чулках и голубой косынке. Груша невольно улыбнулась — ведь они были бы еще хорошей парой. Они бы сели рядом за стол и она спросила чинно: «Вам, Максим Филипыч, можно белого?» И он бы кивнул ей, выпил, хрустко закусывая огурцом. А после сидел, чуть покрасневший, рассказывал бы про свою жизнь, и были бы в его рассказе какие-то

волнующие намеки, и она в эти мгновения склоняла бы набок голову, вздыхая. Потом заварила бы чаю, хорошего, душистого, который он любил и иногда пил у нее.

Она спала ровно и глубоко в ту ночь, и солнечное утро показалось ей хорошей приметой.

Восьмого марта Максим Филипыч привез коробку конфет, сказал смущенно:

— Вот чай у вас пью... Так детишкам.

Груша покраснела:

— Балуете вы их...

Она поровну разделила конфеты между сыновьями, а коробку взяла себе, рассматривала аляпистые алые розы на крышке, и ее истосковавшееся сердце трепетало.

Она спрятала коробку в сундук, где хранились зеленое платье и шелковый голубой платок.

...В мае Груша получила приглашение в районный центр на слет передовиков сельского хозяйства.

Она ехала с тайной мыслью, что там, в небольшом городе, Максим Филипыч обязательно должен ей встретиться, и она переживала, потому что не знала, как это произойдет.

В городе в часы, свободные от заседаний, делегаты коллективно ходили на просмотр нового фильма и в местный музей. Груша сразу соглашалась идти, надеясь в многолюдии увидеть Максима Филипыча.

Она встретила его неожиданно, днем, — он шел по аллее под руку с женщиной, крупной и такой же, как он, приземистой.

— Здравствуйте, Максим Филипыч, — звонко крикнула Груша издали.

Максим Филипыч посмотрел в сторону Груши, поздоровался.

— Кто это? — громко спросила женщина.

— А, с конечной остановки, — спокойно объяснил Максим Филипыч.

Груша услышала эти слова, но они не обидели ее, — ведь действительно, как же он мог объяснить той, другой женщине, кто такая она, Груша. Ей даже показалось, что Максим Филипыч произнес слова со смыслом, который лишь ей одной понятен.

На праздничном обеде после совещания Груша едва-едва отхлебнула из стопки и сидела тихая, не теша застолье своими обычными прибаутками.

— Гляньте, бабоньки, — всплеснула руками соседка, — никак, наша Груша стареть начала.

Но Груша сказала радостно и необычно:

— А может, совсем наоборот...

Перед отъездом Груша попросила шофера их колхозной машины обождать минутку, забежала в продовольственный магазин и купила несколько пачек индийского чая второго сорта, который в деревне не продавали и который очень нравился ему, Максиму Филипычу, чаевнику.

Иван, сын Андреев

Так он сам себя и называл, стар ый пастух из дальней деревни.

Деревня лежала на отшибе от проезжих дорог, за березовыми лесами и непроходимыми кустарниками. Блестящей подковой выгибалась возле деревни река, быстрая в этих местах, и лососи по весне шли сюда нереститься. Летом у лесных троп словно пожар полыхал — тяжелели от ягод малинки. Ягоды, лишь дотронешься до них, сами отставали от белых сахарных стержней и таяли во рту. Грибы на выбор брали. Зимой славились соленые волнушки, прохладные, с прилипшими кое-где хвоинками.

Осенью варили варенья, солили грибы, и к терпким запахам октября примешивались добрые ароматы деревенской кухни.

Когда кончались хозяйственные хлопоты, Иван Андреевич оглядывал свои кадлушки, банки, бочки и говорил умиротворенно жене:

— Апостольская жизнь.

И он никак не мог одобрить того, что его соседи — то один, то другой переезжали в центральные деревни колхоза, где были клуб, электричество, проезжая дорога... Трактора перетаскивали дедовские нерушимые срубы, и вокруг Ивана Андреевича становилось все пустынной.

— Не от ума едут, — осуждал Иван Андреевич своих соседей и в подтверждение рассказывал, как бабка Дарья увидела впервые электрическую лампочку и стала дуть на нее, думая ее потушить, как свечу.

Сам себя он считал человеком образованным и новым людям любил показать старинный диплом об окончании церковноприходской школы. И он надевал очки, водил жестким пальцем по ветхой бумаге и повторял:

— На подпись обратите внимание, сам Бибиков подписал. Инспектор. Голова был!..

Он, конечно, не помнил ни инспектора Бибикова, ни всего того, чему его учили в сельской школе. Потом он важно складывал бумагу и прятал в сундук под замок.

Ивану Андреевичу хотелось доказать всем тем, кто уезжал, какую непоправимую ошибку они делают. Он старался как можно больше набрать грибов, ягод. Каждая новая банка с вареньем становилась союзником Ивана Андреевича, она словно вещала своим круглым ртом: «Куда люди бегут от нас?» И Иван Андреевич, отведевывая свежего варенья, зажмуривался, удивлялся: «Действительно, куда?»

Время неумолимо шло, и... деревня исчезла. В двадцати метрах от Ивана Андреевича оставалась изба, где жили брат и сестра, глухонемые. И никого более.

Полки в кладовке у Ивана Андреевича ломились от снеди. Он уже с каким-то недобрый чувством входил в лес, осыпал малинник в корзины, ухмылялся:

— Смотрите кино, грейте морды перед электричеством, а у меня вся малина, трава во — поверх плеч моих!

Когда приходили к нему из окрестных деревень, он радовался, сажал за стол и велел жене все ставить перед гостем. Заглядывал гостю в лицо, не удерживался, спрашивал:

— Каково? Вкус не попорчен?

— Справно живешь. — степенно отвечали гости.

— То-то, — радовался Иван Андреевич и был убежден в этот миг в нерушимой правильности своей жизни.

Но в зимние дни заскучал Иван Андреевич. Снега выпали глубокие, даже к соседу не пробраться, — выше плетня сугробы. Да и бабка ворчит:

— Жизнь пошла. В темный час и полотошиться не с кем!..

— Полотошиться, полотошиться! — возмущался Иван Андреевич. — Вам, бабам, только язык о зубы и стачивать!

Теперь, когда по зимнему лесу добредали до него гости, он расщедрился, доставал графинчик, стопки. Суетился, а выпив по одной, обращался к гостю:

— Я тебе историю поведаю, отроду ты не слыхивал такую. Служил я на финской в одном взводе со Степаном Кутузовым, хороший парень был. Убило его под Сортавалой. Похоронили мы его — просто в снег зарыли. Потому как сильный мороз стоял, земля насквозь промерзла. И пошли далее, в наступление. А через три года, уже в Отечественную, заночевали в одной деревеньке, под Курском где-то, наутро, глядь, — Степан Кутузов на меня со стены смотрит. Портрет, значит. В избу к его матери я попал. Поверишь ли, в ноги она к моему командиру упала, просит меня на денек с ней оставить, чтобы порассказал я ей, как было. Остался я. А что рассказывать? Ну, как шли мы с ним рядом в атаку, он споткнулся — и ничком. Шапка вперед подалась, на лоб съехала. И все. А что в снег захоронили — не мог того матери сказать. Объяснил, что отсалютовали по солдатскому закону, а она запричитала: «И зачем же вы над ним, пулей убитым, снова

пули пускать стали!.. Поплакать надо было над...» Вечером за околицу проводила меня, еле руки на моей шее разомкнула — вся в слезах...

Иван Андреевич наливал по второй, задумывался:

— И чего только человек человеку не причиняет, а все человека к человеку тянет.

Обида захлестнула сердце Ивана Андреевича, когда сбежала от него собака. Собака была никудышная, лопоухая, лаяла только на знакомых, а чужих молча пропускала. Но Иван Андреевич щенком принес ее домой и любил иногда по вечерам пустить к себе на колени, чесать между ее отвислых ушей и толковать о своей жизни. Собака вскидывала голову, смотрела на хозяина, а потом от непрерывного журчания человеческого голоса ей становилось скучно и она широко зевала. Иван Андреевич в таком случае скидывал ее с колен и гнал из избы.

Однажды собака скиталась где-то дня три, а потом, визжа, прибежала похудевшая, с блестящими глазами, и Иван Андреевич понял, что она болталась в придорожных деревнях.

Он хотел ее отстегать, но раздумал, взял к себе на колени и увидел, что клочок шерсти у нее выдран, — значит, каталась она клубком с каким-то своим недругом. «Что, худо?» — спросил он ее. Но собака смотрела оживленно и смело.

Последний раз к Ивану Андреевичу я ходил зимой, в самую снежную пору. Ко мне в гости приехал студенческий товарищ, и я показывал ему все достопримечательности.

Мы шли по глубокому снегу, а рядом — направо и налево — петляли лосиные тропы, путая нас. Ветер не проникал в густое сплетение веток, они не шевелились, и снег на них лежал тяжелыми крепкими валами.

Иван Андреевич встретил нас радушно, но выглядел грустным.

— Что с вами? — спросил я.

— Расчувствовался старик, — отозвалась старуха, — как деревня стояла, у нас свой торфомотор хотели наладить — лампочки бы горели. А после все разъехались и засохло дело...

— Трансформатор, — поправил Иван Андреевич, — да не в том беда.

Мы выпили с мороза по рюмке, но Иван Андреевич не развеселился, все раздумывал какую-то неотвязную думу.

— Немо у меня, — сказал.

— Что? — не поняли мы.

— Ну, да, значит, полотошиться не с кем, — теперь уже пояснила старуха.

А дальше снова шло, как всегда было заведено с гостями, — и диплом доставался, и военную историю рассказывал.

Но когда уходили мы, он проводил нас до ворот и, расставаясь, словно теряя что-то, снова сказал с тоской:

— Немо у меня, ребята...

И видно стало — все неотвратимее на его седьмом десятке входила в него мысль, что нужно к людям ему. А там, в придорожной деревне, куда его зовут, будут и почтенье, и нелюбовь, и старая дружба, и равнодушие, и злоба, и надежда — все, как было когда-то и без чего человеку нельзя жить.

Дядя Пеша, его жизнь и смерть

Все звали его дядя Пеша. Жил он на берегу Ояты, там, где вырывались из земли целые глыбы красноватой глины. Из этой глины испокон веков делали горшки и отправляли по воде в разные города, большие и малые.

Дядя Пеша большим знатоком горшечного дела был. Возьмет в руки пузатую посудину, ноготком щелкнет, подумает и скажет: «Сто лет жить», — а по иной пальцем проведет, головой покачает: «Никудышник».

Дни свои проводил он в мастерской. Придумывал новые формы. И если собрать горшки, которые он за жизнь сотворил, то, наверное, в них всю Оять уместить можно.

И хотя знаменитым мастером слыл дядя Пеша, но, подвыпив в праздник, жаловался, что не тот талант он в себе развивает, и не горшками, а совсем другим надо ему заниматься.

— А чем же, дядя Пеша? — спрашивали его.

Он трезвел и говорил строго:

— А хоть письмоносцем стать...

Все хохотали, а дядя Пеша не улыбался, словно за этими словами видел то, что никому не было дано увидеть.

Горшки дяди Пеша выставляли в краеведческом музее, и даже заметку в местной газете напечатали, но сбывать их приходилось все трудней — много другой дешевой посуды поразвелось.

И наступил день, когда районные власти порешили прекратить горшечное производство, «поскольку оно не находит реализации», как указывалось в бумаге.

Дядя Пеша заупрямился, еще по привычке некоторое время работал, но за горшками никто не приезжал, и Они выстраивались возле дома на солнце, как сироты, толстые и тонкие, приземистые и длинношеие.

Понял дядя Пеша, что на ветер дела пошль, сказал жене: «Пора кончать, мать». Жена не огорчилась, потому что свое хозяйство было доброе, сыновья повыврастали и помогали. «Не грех и отдохнуть под старость тебе — ведь и шестьдесят подобралось...»

Начал дядя Пеша ловить рыбу, собирать ягоду...

Жизнь текла спокойно, пока летом как-то не вошел дядя Пеша домой и не сказал жене просто: «Павел-то в город к детям уехал, так я вместо него письмоносцем уговорился быть...»

Вот тут уж жена ему спуска не дала. «Обалдел, — кричала она, — собачонкой по деревьям бегать!.. Седины позорить, народ смешить! Да дороже твоя обувка стоит будет...»

— Обувку дадут, — успел вставить дядя Пеша. Дядя Пеша на попятный не шел.

...Так стал дядя Пеша письмоносцем.

Путь ему был двенадцать километров, и когда он впервые отправился, то вся деревня к окнам прильнула.

Новая работа нравилась дяде Пеше. Двенадцать километров — привычная дорога, каждый день чем-то неизвестным открывалась она ему. Зимой — свежие лосиные тропы останавливали его взгляд, мохнатые, выросшие за ночь сугробы, а весной... А весной дядя Пеша медленно шел по пригретой солнцем дороге, всматриваясь, как желтеет и буреет она, как темной и блестящей в полдень водой наполняются мягкие колеи. В сосновых борах пробуждались муравейники, разноцветные бабочки уже порхали над снежными полянами. На южных косогорах снег почти сошел, дымился коричневый склон, и островки снега своими причудливыми очертаниями напоминали то скачущего зайца, а то какого-то неведомого зверя. На высоком холме бил родник, и когда дядя Пеша добирался до него, он зачерпывал горстями воду из деревянного корыта, в которое бежала струя, пил и, умывая лицо, чувствовал губами свой соленый пот. Когда он склонялся над родником, ему казалось, что уже наступило лето — солнце пекло затылок, а перед глазами торчали из светло-зеленого мха свежие травинки с красными головками, и над ними кружилась мошкара.

Дядя Пеша уставал от ароматного хвойного воздуха и обычно отдыхал в первой избе, куда он приходил с письмом.

Ребятишки его встречали еще за околицей — никто не умел делать из осины такие звонкие свистки, как дядя Пеша. Он брал ровную ветку, срезал, надрезал — и вот уже заливается трелью немудреная игрушка. В деревне слышали и знали: дядя Пеша идет.

Он знал всех жителей, которым разносил письма, и поэтому у него был свой порядок: сначала он шел к тем, кому надеялся принести хорошие новости. В Подборье заглядывал к Тосе и вручал письмо с воинским штемпелем — от жениха; а в Ефремово к Марии Николаевне: село ее чадо за пьяную драку, и теперь живет мать от письма до письма.

Дядя Пеша не отказывался, когда его просили к столу, он хоть и недолго, но любил и умел побеседовать степенно.

Домой возвращался поздно и пересказывал жене все, что слышал в течение дня, и они оба раздумывали над чужими надеждами и огорчениями.

Однажды дядя Пеша не принес жене своей зарплаты, «Обронил», — сказал. Жена поверила, потому что вином от дяди Пеша не пахло и вид у него был удрученный.

А деньги он вовсе не потерял.

Бросил Васька-шофер свою жену с ребенком и умчался в город, куролеся и пьяно шумя. Молодая плакала, ждала его каждый день обратно, учила малыша произносить «папа» и верила всем своим изболевшимся сердцем, что вернется он. Она томительно смотрела на дядю Пешу, когда он подходил к ее дому.

И тогда дядя Пеша решил принести ей деньги, словно это перевод от Васьки. Он чувствовал, что в самые тяжелые свои дни чем-то должна она быть ободрена. И она действительно обрадовалась, как девочка: «Дядя Пеша, подожди, я вина принесу!» Старик улынулся: «Не надо. Времени нет».

А потом, через месяц, она сама пришла к нему в деревню, сказала: «Ошибка, дядя Пеша. Васька мне денег не слал...» — «А что, приехал?» — «Куда ж ему от нас?» — счастливо воскликнула она. «Ну, ошибка так ошибка — возвращай деньги», — согласился дядя Пеша.

Я повстречал его впервые на лесной дороге. Мы поздоровались, как водится по сельскому обычаю, разминувшись, а потом уж он, отойдя шагов на двадцать, обернулся и окликнул меня: «Не агитатор ли будете?» Мы снова подошли друг к другу, и я сказал, что не агитатор.

— А то пожаловаться хочу начальству — газеты опаздывают.

Мы постояли несколько минут, и мне как-то особенно запомнился его облик — худощавый, моложавое лицо и зеленые ясные глаза. «Ну, до счастливой встречи», — махнул он и заспешил дальше.

...Он умер неожиданно. Провалился у берега в полынью, простудился и сгорел за несколько дней.

В день его похорон полным-полно народа в избе и во дворе стояло. Некоторых — из дальних деревень — его жена и не знала, но они стояли скорбно перед небольшим свежеструганным гробом, преклонив головы.

Я стоял печальный вместе со всеми, но невольно сквозь скорбные размышления пробивалась мысль: вот он, дядя Пеша, кусочек своей жизни прожил с удивительно обостренным чувством человечности, и как благородно-понимающе пришли к нему мужчины и женщины проститься... А если бы люди смогли всю свою жизнь так жить?.. И мои мысли путались, и я верил, и не верил, и снова верил, что когда-нибудь так и будет.

Лешка едет домой

Лешка Антонов провел всю свою малую пятнадцатилетнюю жизнь в Подборье, в ста километрах от районного города.

Деревню окружали лесистые холмы; сосна, как высокая изгородь, шла по вершинам холмов.

Лешка с весны по осень исполнял крестьянские работы, а с осени по весну учился в школе. Семья велика была, да еще отец, по местному прозвищу Васька-лисaped, выпивки не чурался. Мать из всех сил тянулась, чтобы дом исправно вестил, и в свои пятьдесят с небольшим выглядела высохшей, заморенной и покорной.

Лешке редко удавалось выезжать далеко из деревни, всего три раза побывал он в Лодейном Поле, и город произвел на него большое впечатление.

Ему запомнилось навсегда: белые дома, залитые летним солнцем, ряды зеленых деревьев вдоль главной улицы, гудки паровозов и пароходов, величавая ширь Свири и такое вкусное мороженое...

Город, случалось, снился мальчику по ночам; во сне город выглядел немножко сказочным: на его железных крышах пели петухи, с тополиных веток свисали «эскимо» в серебряных обертках и по асфальтовому шоссе шла деревенская корова Машка...

Каждая поездка в город становилась праздником — Лешка надевал белую полотняную рубашку, курточку, перешитую из пиджака старшего брата, и ботинки чиненые, братовы. Пока он шел до автобуса километра четыре, знакомые останавливали его и спрашивали, куда он собрался и зачем.

После седьмого класса Лешка уехал в Гатчину учиться на каменщика.

Год учился он, не однажды приезжал в Ленинград, но рокочущий шум города, суета, стремительность ошеломляли его всегда, и он терялся в людском море. Лодейное Поле оставалось для него непревзойденным и любимым городом, где тоже высокие дома, но все успокоенно и понятно.

Летом он собрался домой, в деревню. Он уже проработал каменщиком несколько месяцев, и у него скопилось немножко денег — зарплата да отпускные. Матери решил Лешка никаких подарков не покупать, а привезти ей деньги. Себе же надумал обязательно купить модные ботинки, такие, в каких еще никогда в жизни не ходил.

В Ленинграде он не хотел покупать — такая толчея по магазинам, к прилавку едва пробьешься, где там с толком выбрать!

Он решил купить их в Лодейном Поле.

Мурманский поезд прибыл в Лодейное Поле около часа дня, и Лешка вышел на перрон, полный радостных ожиданий. Он сразу отправился в универмаг. В обувном отделе на полочках стояли мужские полуботинки, поблескивая яркой черной кожей. Лешка оперся о прилавок и долго разглядывал. Его внимание привлекли ботинки без шнурков.

— А почему без шнурков? — спросил он продавца.

— Мода, молодой человек...

Лешка не рискнул немедленно приобрести их: «Пойду-ка пройдуся, загляну попозже...»

Он шел по городу, всем смотрел на ноги, но в таких туфлях никого не встречал: девушки щеголяли в босоножках, мужчины носили туфли легкие, открытые, приезжие из глубинки твердо ступали в прочных, выдавших виды сапогах.

Около вокзала сидел в будке единственный в городе чистильщик. Лешка поздоровался, дотронулся до разноцветной бахромы шнурков, свисающих с рейки.

— А я видел ботинки, что и шнурков не надо, — сказал Лешка.

— А я видел баран без головы бегала... Далеко не ушла... — с кавказским акцентом отпарировал чистильщик. — Зачем стоишь?

— Посоветоваться надо, — какие ботинки купить?

— Правильна, малчик! Лучше меня, Махмуда, никто не даст совета... Бери легкие, как бег молодой кобылицы, любую красавицу догонишь... — И, выхватив из-под своего стула матерчатые тапочки на резиновой подметке, он стремительно протянул их Лешке: — Сам делал, носить тебе разрешу... Семь рублей из симпатии!

Лешка объяснил, что ему нужны ботинки настоящие, красивые, черные и кожаные. Чистильщик обиделся:

— Мои не настоящие? Без шнурков — бездельникам хорошо: ни завязывай, ни развязывай...

Прежде чем вернуться в магазин, Лешка заглянул в пристанционный буфет. Пока он размышлял, что бы съесть, его окликнули:

— Лешка! На побывку прибыл?

Лешка оглянулся и увидел дядю Прона, по-местному — Пронька Пуп Земли. Он был немолодой, длинный, тощий, изо рта торчали три острых, как буравчики, зуба. Прон всегда встречал в любую компанию, требовал к себе всеобщего внимания — оттого его так и прозвали. Когда-то бригадировал Прон в Лешкиной деревне, а потом сняли его, в протоколе собрания записали: «...за поведение, несовместимое с моралью здорового советского человека...» А протест — за то, что напился он, лег посреди моста и тем препятствовал движению транспорта, да еще, на грех, районное начальство ехало, и поскольку Прон вставать никак не хотел, пришлось начальству собственноручно его на обочину оттаскивать.

— Я, Леша, в «Сельхозтехнику» прибыл, — хитро объяснил он, — только вот не могу сейчас шарика от подшипника отличить.

— А я, дядя Прон, ботинки хочу купить...

— Дело. Дело, — серьезно сказал Прон. — Возьми мне кружку пива, обмозгуем.

Лешка взял кружку пива, они сели за пластмассовый: толик. Прон отхлебнул пива.

— Перво-наперво, чтоб подметка числилась. А без нее никакая обувь ни в жисть. Вторых, чтобы каблук на лятках топорщился.

— Да не до шуток мне...

— А коли не до шуток, — задумался Прон, — то купи за пятнадцать яловые — сносу нет, а на пятерку устрой праздник дяде Прону, — вкрадчиво добавил он.

— Некогда мне, пойду, — встал Лешка.

— Чего обиделся? — удивился Прон. — Пойдем вместе. А то обманут тебя, кутю, без надзора моего.

Они двинулись к универмагу. Прон рассуждал: до чего ныне народ ловок и один лишь он, Прон, все насквозь взглядом пронизывает.

В обувном отделе покупателей оказалось совсем мало.

Они подошли к прилавку, и Прон сказал угрожающе:

— Вы мне мальчонку не забирайте! Он у нас самородок!

— Мне вон эти, — указал Лешка на ранее облюбованные полуботинки.

— Докатились, сапожники... Без шнурков мастерят...

Растягивай их, как гармошку, дорогой своей ногой. Одно слово — жисть! — трагически добавил Прон.

Продавец обиделся на Проновы слова, но, как гласил кумачовый плакат, коллектив отдела боролся за звание высокой культуры, и поэтому продавец смолчал.

Лешка сказал:

— Выпишите чек...

Прон не успокоился:

— И шнурки добавьте, мало ли что с такой гармошкой получится.

— За шнурки надо отдельно платить, — строго произнес продавец.

— Посмотрите, — взмахнул руками Прон, обращаясь к двум-трем посетителям, — ребенок на первый заработок обновку приобретает, а они от своей высокой культуры с него тянут дополнительно...

Продавец со знанием дела потянул носом и сурово молвил:

— Это вам не распивочная.

— Что! — взъерепенился Прон, но Лешка уже тащил его за руку к выходу...

— Нервы сдают, — мирно сказал на улице Прон и попросил еще на кружку пива.

Лешка дал ему двадцать пять копеек, и они расстались.

Лешка почувствовал облегчение, когда остался один. Он достал из коробки полуботинки, провел по коже рукой — кожа была прохладной и нежной. В ней отражалось солнце. Лешка сбросил свои разбитые ботинки и надел новые туфли. Он поднялся со скамьи и сразу показался себе выше ростом. Он сделал первый шаг неуверенно, словно учился ходить; он боялся, что зазеленит их травой, оцарапает о камешки, заляпает грязью... В подъеме немножко жало, но Лешке это даже нравилось,

потому что он все время ощущал на ногах полуботинки. Он прошелся по парку, как под гипнозом, не отрывая взгляда от туфель. На душе было блаженно, словно он приобщался к какому-то иному, взрослому и серьезному миру.

Но думал он сейчас уже не только о своих туфлях.

Он думал еще о девочке Вале, которая на год младше его и живет через избу в его деревне. У Вали круглое лицо, круглые, синие, всему радующиеся глаза и рыжие-рыжие волосы, которые она заплетает так, что косички торчат хвостиками.

Лешка мечтал о встрече с ней. Вроде бы и со временем немного прошло — год жизни, но за этот год. Пешка стал каменщиком, рабочим человеком, Алексеем. А это превращение волновало его и заставляло быть сдержаннее.

Из Лодейного в деревню шел автобус. Ехали, в основном, местные жители, и все они Лешку знали.

— Извелся в иногородье, как подсолнух вытончился. Одна голова рыжая... — узнала его соседка.

Лешка только краснел, отворачивался, молчал всю дорогу, поглядывал в окно, щурясь.

Вдоль дороги шли леса: то боры, то березняки. И когда леса начали набегать на холмы, мелкие речонки урчать, спускаясь с высоток, Лешка сердцем почувствовал близость родного дома. Сколько лет бегал он по этой летней, щедрой земле! Застенчиво касалась ног розовая кашка; высунувшийся стебель крапивы жег мимоходом; полынь обволакивала, ее матово-серебристые листья щекотали ноги; в зарослях вереска трещали сучки, и фиолетово-красные цветки, прижатые к земле, снова выпрямлялись, как от пружины...

К осени пятки у него становились железными, темными, как печеная картошка, и он мог, поспоря, пробежать на пятках по горячей золе, оставшейся после костра.

Лешка вспомнил, что целый год он не охлаждал ноги вечерней росой, не приминал безобидно цветы на лугу, не прикасался к нагретым за день гранитным валунам.

Лешка заскучал, и внезапно вся его затея с модными туфлями показалась ему уже совсем не такой важной...

И встретился на пути человек

На почтовом поезде ехал я в город Галич погостить к попадье — старухе Таисии Петровне, знакомой моей бабушки. В те годы, как, впрочем, и нынче, меня влекли к себе небольшие старинные русские города, и я хватался за любую возможность, чтобы посетить такой город.

Поезд шел медленно, застревал даже на полустанках, а уж на станциях, без боязни отстать, можно было и в нехитрый буфет ринуться и прикупить чего-либо. Со мною в купе ехали девушки-практикантки, их щебетание скрашивало дорогу, и после остановок я угощал девушек станционными лакомствами. Мы по молодости подружились легко. На одной из станций, где торговки особенно зазывающе подносили к вагонам огурцы, отварную картошку, копченую рыбу, мы всей компанией выскочили из вагона и набрали деревенских разносолов. Возбужденные и шумные вбежали в свое купе, и девушки, постелив скатерку, принялись раскладывать снедь по домашним тарелкам. Я сидел, не вмешиваясь в их хлопоты. И... мой взгляд, скользнув по купе, открыл на третьей багажной полке нечто изумляющее: там, скрючившись, вдавливаясь в стенку, стараясь казаться неприметным, лежал на боку, спиной к нам, человек.

Я оторопело вытянул шею, разглядывая незнакомца) острые лопатки, проступающие сквозь байковую куртку, спортивные туфли с белыми тесемочками бросились в глаза. Я указал девушкам рукой, и они в растерянности уставились на человека, не зная, что делать. Здесь я осознал свою роль мужчины и, привстав, дотронулся до незнакомца.

— Какими судьбами?

Человек словно ждал моего обращения. Он ловко перевернулся с бока на бок и прошептал:

— Тсс... Ехать надо... А грошей нема...

Парень, лет двадцати, с черной жесткой челкой, черными глазами, с вытянутым худощавым лицом свесился с полки.

— Далеко собрался? — спросил я.

— В Сибирь, к сеструхе... Да не на одном этом, еще выезды поменяю...

Девушки смотрели на парня с интересом, и я, почувствовав их интерес, сказал:

— Ну, коли к нам попал, давай к столу!

— А жиган не войдет?

— Какой жиган? — удивился я.

— Ну, проводник, — пояснил он.

— Да нет. Он ни разу к нам не заходил. Мы сами за чаем ходим.

Парень по-цирковому швырнул свое тело с полки и вмиг оказался рядом с нами на скамейке.

— А то кишка кишку утешает.

Он набил рот и, прожевав, кивнул одобрительно:

— Туго живете.

— Это почему туго?

Парень пояснил снисходительно:

— Ну, значит, туго мешок набит. Хорошо, значит.

— Звать тебя как? Откуда ты? — выпытывал я.

— Звать Петр. А вообще-то я — вор, из колонии.

Бедные мои спутницы поперхнулись.

— Вы не волнуйтесь, — свойски и ласково продолжил Петр, — так уж судьба моя никудашно пошла. К сеструхе еду. Там работать устроюсь. По чистой отпущен, все чин чинарем, — и для пущей убедительности он, растопырив губы, щелкнул ногтем большого пальца по золотой коронке и добавил:

— Зуб даю!

Девушки прижались друг к дружке, как курочки на насесте, а я, сам не отвечая себе — почему, почувствовал к парю симпатию.

— Все бывает, — лихо бросил я.

— Все бывает, а все не надо, — рассудил Петр.

Он по-крестьянски стряхнул крошки на ладонь, высыпал их в рот и поблагодарил.

— Такой пищей давно не фартило. Я, пожалуй, опять заховаюсь. Мне б хоть километров двести проехать без торжественной съемки. — И он снова с ловкостью взлетел на багажную полку и свернулся калачиком.

Внезапно я понял, откуда во мне возникает к этому чужому человеку внутреннее и ясное расположение. «Да ведь я его, — говорил я себе, — в такой переломный момент жизни встретил, ведь он как бы заново рождается, а мы не схватываем ситуацию. Парню-то, может, сейчас участие как никогда нужно...» С неприязнью взглянул я на затаившихся девушек. И решение пришло ко мне мгновенно. Я поднялся и хлопнул Петра по плечу.

— Шухер? — вдавился он в стенку.

— Нет. А скажи-ка, к сеструхе ты спешишь?

— Чего спешить? Она ведать не ведает о приезде. Да и помытарюсь я еще по поездкам.

— Знаешь, сейчас Галич будет, к хорошей старухе я еду в гости, давай-ка со мной!

Денька три передохнешь, сдобы домашней отведаешь — и дальше.

Петр посмотрел на меня недоуменно.

— Я ведь не шебаршился, я впрямь из колонии. Куда же в гости, дядя Иван? (Так он меня стал звать, хотя я всего на пять лет был старше его.)

— Да все по-новому, — потянул я его за рукав.

— Ну, гляди, дядя Иван, сам звал, — протянул Петр, спрыгнув с полки и отряхиваясь.

Девушки глядели на меня остекленелыми глазами, как на смертника. А я, решившись на такое приглашение, вновь проникся к ним нежностью. В окне уже мелькали галичские станционные пристройки.

— Звоните, милые, — помахал я девушкам, — через месяц буду в Ленинграде.

Они столпились у окна вагона и неотрывно смотрели, как мы с Петром пересекаем вокзальную площадь.

— Ты, дядя Иван, рискованный человек. Я бы тебя на любое дело взял... В прошлом, конечно, — добавил Петр.

— Теперь, Петр, ты бы и о манерах своих, и о языке подумал, — иначе заживешь, — наставительно заметил я.

— Это верно, — просто согласился Петр, — время еще нужно, чтобы отвыкнуть.

— Ты и считай, что это время уже и идет, — улыбнулся я.

Таисия Петровна была извещена о моем приезде и искренне обрадовалась, что я приехал не один, а с товарищем. Жила она одиноко, в большом, разрушающемся доме. Жизнь ее текла неухоженно, неустроенно. Петр это заметил.

— Дров-то у вас колотых почти нет. Дайте топор, потюкаю.

— Что ты, Петруша, за тем ли пожаловал? Подрядился тут мне Агафон переколоть, да пока еще ему неможется, от праздника не отошел, сердечный...

— Дайте-ка топор, — повторил Петр.

Он не торопясь взял топор, провел ногтем по лезвию, буркнул:

— Не для работы, — и принялся его точить о брусок, который нашелся у Таисии Петровны.

— Да какого человека ты мне привез! — восхищалась Таисия Петровна, когда мы с нею вошли в дом. Она ставила на стол под пофыркивание самовара все, что было в доме припасено, и время от времени, прислушиваясь к ударам топора, всплескивала руками:

— Да какого человека ты мне привез!

Потом, когда чай поспел, она открыла окно и певучим голосом пропела:

— Чай, Петруша, парком зовет.

— Порядком еще осталось, — сказал Петр, вытирая льняным полотенцем руки, — завтра у вас похозяйничаю.

— Воистину бог вас послал, — перекрестилась старушка, и мы занялись чаепитием.

Таисия Петровна словоохотливо поведала нам о своем житье-бытье, о местных новостях, жаловалась порой:

— Одна я, одинешенька, не долго уж топотать... Все прахом пойдет после, как угомонюсь. И цветочки завянут в горшочках, и мыши книги церковные пожуют, и иконки-то мои охламонам достанутся, — осерчала она, — а иконки-то в серебряном обрядье, серебро-то не нынешнее, чистопородное.

Петр пил с блюда, скосив в него глаза, и его склоненный, чуть вздрагивающий нос втягивал шумно аромат чая.

«Ни к чему она о серебре», — подумалось мне, и я вставил:

— Нынче серебро не в цене, кому оно требуется, да и тусклое оно у вас, поиссохлось от времени.

Видно, зря я это сказал, задел старуху за живое:

— Да ты, батенька, погляди, какой у меня в сундуке складень. Кому завещать не знаю, поскольку религия-то теперь редко у кого в почете.

Петр чуть оторвался от блюда и, не поднимая головы, взглянул на меня в пол-ока и подул на чай, волнами разгоняя его по округности.

— Есть такие, которые собирают иконы, — тихо произнес он, — большие деньги зарабатывают на купле-продаже.

Настроение у меня стало портиться. Говорили что-то не то. И Таисия Петровна некстати со своим серебром, и Петр, как бирюк, в чай уткнулся.

Таисия Петровна не успокаивалась:

— Архиеерею в Кострому завещаю да твоей бабушке — вот уж персты надежные.
— Точно надежные, не то что наши, — поддакнул Петр и растопырил свою пятерню.
— Нынче зимой стужа сильная была? — стал я выправлять беседу.
— Стужа всамделишная, в одной комнате и жила для теплоты, ее и топила... Где сундук стоит... — уточнила Таисия Петровна. — А что же я — уморила вас! С дороги и отдых работой почитается.

Таисия Петровна постелила нам в большой комнате, где стояли две никелированные кровати, а сама отправилась к себе в горницу, вниз.

Проснулся я внезапно, на раннем рассвете, полуоткрыл глаз; в окно струился бледный свет, чуть тронутый розовой зарей. Я лежал не шевелясь и увидел, что Петр уже проснулся и, стараясь не производить шума, медленно натягивает брюки. Я принялся осторожно, не двигаясь, следить за ним. Вот он, ступая беззвучно, не надевая ботинок, подошел к выходной двери, придержав створки, открыл дверь и вышел. Дверь он прикрывать не стал, видимо памятуя, что с вечера она издавала скрип, когда ее распахивали. Я ясно видел, как в глубине коридора он наклонился, прихватил правой рукой топориче, вскинул его на уровень глаз, к чему-то примериваясь, и, прижав топор к груди, так же бесшумно начал спускаться по лестнице.

Я почувствовал, как на лбу у меня выступила испарина. Что он задумал? Что предпринять мне? Я клял себя за все свои благородные порывы.

Вскочил с кровати, схватил попавшуюся мне на глаза медную кочергу и поспешил вслед за Петром по лестнице. На лестнице никого не было. Дверь в комнату Таисии Петровны была полуоткрыта. С бьющимся сердцем я толкнул эту дверь и застыл на приступке. На кровати, в дальнем углу комнаты, лежала старуха, рука ее неестественно свисала с кровати, скрюченная, высохшая нога высывалась из-под отброшенного одеяла. Лица ее я не видел, оно скрывалось в тени от нависшего ситцевого полога. И вдруг я заметил на полу протянувшуюся от кровати до самой кадки с фикусом узкую полоску какой-то темной жидкости. Я не отрываясь смотрел на застывшее под одеялом старушечье тело, сжимал до ломоты в пальцах кочергу. Я пододвинулся на несколько шагов к кровати. Неожиданно старуха задвигалась, подоткнула рукой одеяло, ясно открыла глаза и спросила ласково:

— Чего тебе, милый?

Кочерги она, к счастью, не заметила.

Язык у меня отнялся, но тем не менее я пробормотал:

— Часы встали. Сколько времени?

— Да погляди, — сказала старуха. Ходики, висевшие посередине стены, показывали пять часов.

— Спасибо, — пролопотал я и, пятясь и пряча кочергу, выбрался из горницы. Постоял, ошеломленный, в сенях и вышел во двор.

Петр, стоя под навесом сарая, разбирал кругляши, готовя их для колки.

Он взглянул на меня, на кочергу, усмехнулся.

— С печью уже шуруешь, дядя Иван?

— Да нет, я по пути взял, — смутился я, — а ты чего в такую рань?

— Надо старуху обиходить, и в путь пора. Загостился, — он снова усмехнулся.

— Чего же так? Ведь на три дня собирался.

— Сам знаешь, дядя Иван. Пригласил ты меня сгоряча, а сейчас никакой веры в меня нет. Как людям сообщаться без веры? — спросил он глухо, словно выявляя напряженную работу своих мыслей.

— Неправда, — попытался слукавить я.

— Нет, правда, — строго сказал Петр, выпрямляясь.

Таисия Петровна с тряпкой в руках показалась на пороге.

— Ох, раннобудные! Спать бы да спать! А я кадку с фикусом вчера в потемках перелила, она и течь у меня дала. Замою пол, а там и самовар затеплим.

Петр расколол все дрова; попил чаю; сославшись на большую занятость, попрощался с озадаченной и расстроенной Таисией Петровной и со мной; растворил калитку и пошел к городу, на вокзал.

— Хороший человек, — раздумчиво произнесла Таисия Петровна.

— Хороший, — вслед за нею повторил я и затосковал сразу и надолго, потому что осознал, что он вправду хороший, что он лучше меня, и еще неизвестно, смогу ли я стать таким, как он.

Трудное дело — ЖИЗНЬ

Ивану Афанасьевичу шел пятьдесят пятый год, но осанка все еще была молодой, стройной. Последние пятнадцать лет работал он в маленьком районном городе учителем истории и, кроме того, ведал краеведческим музеем.

В городе его знали: во время войны партизанил в окрестностях, и так повелось, что на все памятные вечера, праздничные собрания его приглашали, сажали на почетное место и поминали в речах.

Жил он в двухкомнатной квартире с женой, врачом местной больницы. Жена любила по вечерам развернуть новую историю болезни и, вникая в нее, предугадывать курс лечения. Иногда она забывалась и восклицала вслух: «Нет, это не инфаркт!» — или нечто подобное. Иван Афанасьевич морщился, вставал и шел прогуляться, к приятелю, а порой на вокзал к семичасовому поезду, который останавливался на две минуты и привозил интересных людей.

Как-то возле вокзала он заметил женщину средних лет, высокую, в ватнике, из-под шерстяного платка пышно выбивались русые волосы. Она привычно ступала со шпалы на шпалу, помахивая кошелкой. Женщина скрылась за пристанционными постройками, а Иван Афанасьевич задумался — отчего он так внимательно проследил за ней, словно она знакомая какая. Но Иван Афанасьевич твердо знал, что не встречал ее ранее.

Он вернулся домой, взял с этажерки «Учительскую газету», однако читать не стал, а лег спать и долго ворочался, пока не уснул.

На Майские праздники к нему пришли гости, сидели, болтали, наливали в сиреневые стеклянные рюмки водку, от чего она по цвету становилась похожей на денатурат.

Праздновали во всем доме, и сквозь тонкие стены долетали песни, музыка и даже отдельные слова застольных тостов. Иван Афанасьевич мирился с этим, но, когда наверху заплясали и в капусту посыпалась мелкая пыль, он отправился попросить соседку Машу, чтобы не очень отстукивали.

Иван Афанасьевич позвонил, и ему открыла дверь Маша, веселая и бедовая женщина. Она выслушала, а потом, блестя захмелевшими глазами, улыбнулась:

— Враз скажу, чтобы перешли на западные бальные! А вы с нами рюмочку за уступочку! — и, несмотря на сопротивление Ивана Афанасьевича, втянула его в комнату.

Он вошел, огляделся, ошеломленно замер.

За столом между двумя летчиками-капитанами сидела та самая женщина, которую он встретил на станции. Иван Афанасьевич сразу узнал ее по волосам — густые и длинные, они падали в беспорядке на плечи.

— Мы им штукатуркой грибки присаливаем, — рассмеялась Маша и кивнула на подругу. — Это вот Даша такая крепконогая!..

Иван Афанасьевич промямлил:

— Да я не к тому...

Но офицер разлил по стопкам.

— За праздник!

Иван Афанасьевич сказал невпопад:

— Так вас тут и всего четверо?

— А куда более? — бойко ответила Маша. — На каждую вишенку по соколу.

Ивану Афанасьевичу нестерпимо захотелось взять эту незнакомую Дашу за руку, увести отсюда. Он понимал, что так поступить невозможно, что ему самому пора уходить, "ТО он стесняет людей, но он медлил.

Маша пригласила:

— Садитесь, Иван Афанасьевич, к столу.

Но Иван Афанасьевич заторопился, отговариваясь, что его самого гости ждут, и только уже совсем уходя, обернулся и посмотрел на Дашу с такой сердечной и непонятной тоской, что Маша и ее гости изумленно переглянулись.

Дома он продолжал ужин со своими гостями, но сел так, чтобы видеть из окна парадную и часть улицы, по которой, выходя из парадной, шли люди. Он вздрагивал, когда хлопала уличная дверь, и вглядывался в силуэт человека.

Вино кончилось, и разохотившиеся дружки предложили:

— А не сброситься ли еще на посошок?

Иван Афанасьевич сказал равнодушно:

— Можно.

Но в этот миг распахнулась парадная, и сначала возникла, а потом предстала вся, озаренная мягким фонарным светом, Даша. Одна. Она сделала шаг, другой, и застучали каблучки по каменному настилу двора.

Иван Афанасьевич молодо вскочил, радуя приятелей.

— Здорово вы придумали! Я мигом! — и бросился в прихожую, натягивая на ходу пальто.

— Деньги возьми! — кричали ему вслед.

— Ерунда! — донесся его голос откуда-то снизу.

Он догнал Дашу на улице.

— Вы... меня... извините... — пролепетал он, запыхавшись.

Она остановилась, в упор посмотрела на него, ничего не ответила.

Иван Афанасьевич шел рядом с ней, молча, до самых железнодорожных путей, пока женщина не сказала мягко, но властно:

— Идите, пожалуйста, домой.

Он пошел радостный, потому что тон ее голоса показался ему добрым.

Весь оставшийся вечер он смеялся, острил, и друзья разводили руками:

— Да ты, Ванюша, нынче такой, каким на Волхове был, когда с Графтио строили...

Изредка он встречал Дашу на станции.

Даша работала в железнодорожном депо.

Иван Афанасьевич как бы невзначай оказывался возле ее конторки после рабочего дня и провожал ее немножко — сколько она разрешала — до дома.

Однажды она сказала ему:

— Так уж заходите, что ли...

Они пили чай со смородиновым вареньем, лакомились пахучими картофельными оладьями, и Иван Афанасьевич рассказывал о чудесных кладях, найденных на Волхове; о своей партизанской жизни; об академике Графтио, с которым дружил в молодости и которого боготворил.

Даша с большим интересом слушала Ивана Афанасьевича и вдруг пригласила его:

— Одна я живу. Если надумаете, то не к конторке, а домой приходите.

И он стал приходить.

Когда приходил, он видел ее улыбающееся, раскрасневшееся от горячей плиты лицо, полные быстрые руки. Она оглядывала его и женским чутьем определяла, что нижняя пуговица на пальто едва держится и ее нужно пришить. Он мыл руки, садился за стол, и они ужинали, неторопливо и спокойно, как давние-давние друзья.

Как-то он не застал ее и заметил в скважине замка бумажку, прочел: «Милый, я задерживаюсь. Ключ под половицей. Скоро буду. Целую. Даша». Он перечел записку и подумал, что за всю жизнь ему никто никогда так не писал. Она написала «целую», а ведь

они и не поцеловались ни разу, и у него защемило сердце, потому что он чувствовал — сегодня он должен будет поцеловать ее; как это произойдет, он не представлял и томился, словно перед первым школьным поцелуем...

...Июньским вечером, когда шел он от Даши, ему встретился Митрохин, мужчина юркий и общительный. В газете, где он работал, его ценили за оперативность и за способность знать обо всем, что происходило в городе. Он испытующе поглядел на Ивана Афанасьевича, спросил многозначительно:

— Пошаливает?

— Что? — не понял Иван Афанасьевич.

— Быток пошаливает, то есть быт, — пояснил Митрохин, щелкнув себя по сердцу.

— В чем дело? — нахмурился Иван Афанасьевич.

Митрохин молвил веско:

— Граждане сигнализируют. Говорю антр ну, в порядке симпатии.

Он кивнул и торопливо свернул за угол. Иван Афанасьевич постоял, ему стало как-то неловко за этого Митрохина и тревожно на душе.

Внешне жизнь его шла неизменно: он ходил на работу, встречался со старыми товарищами, обедал в интернатской столовой...

Когда же оставался вечерами дома, Иван Афанасьевич все чаще задумывался о своей жизни, и она, жизнь, представляла перед ним картинно и отчетливо.

Как они поженились с Ириной? Ему уже под тридцать пошло, женатые друзья подтрунивали: «Скоро в старые холостяки?» И когда он на праздничной вечеринке познакомился с молоденьким врачом Ириной, жены друзей приложили все свое недюжинное умение — свести, сосватать, поженить. И он действительно в конце концов женился.

Ирина пришла в его неприхотливую комнатку тоненькая, подстриженная под мальчишку, с легоньким чемоданчиком и портфелем. Она оглядела комнату и непримиримо взглянула на копию Поленова, изображающую окрестные места. «Это мы уберем», — решительно сказала она. «Но зачем? — возразил Иван. — Мне нравится». — «Тем хуже. Мещанский вкус. И картины на стенках — жильё для клопов». Он уступил. И с тех пор повелось так — стены во всех квартирах, где они жили, красились в белый цвет и напоминали собой больничную палату.

Ивану Афанасьевичу вспоминались случаи и события, которые, может быть, сами по себе выглядели незначительно, но тем не менее в его жизнь, в его сознание вошли прочно, и не просто вошли, а оцарапали чем-то душу.

Он запомнил один из выходных предвоенных дней. В стареньком грузовичке трясутся они компанией в лес за город. На широкой, заросшей ромашками поляне женщины расстилают скатерть, вынимают из кошелок тарелки, закуски, а мужчины, праздничные, по-молодому щеголеватые, орудуют штопором, режут хлеб. Женщины в ярких платьях, они щебечут, именно щебечут, а не разговаривают, и ощущение, что впереди долгий-долгий весенний день, поднимает у всех настроение.

Кто-то, подняв рюмку, лукаво улыбается и запекает: Во саду ли, в огороде выросла морковка...

И, не сговариваясь, все подхватывают: Мальчик девочку целует...

И в этот миг его Ирина машет рукой, кричит: «Постойте, товарищи! Что же это мы! Давайте споем сначала «Гремя огнем, сверкая блеском стали...» Все сбиты с толку, и больше всех Иван Афанасьевич, лица скучнеют, но никто не решается возразить Ирине, и над стрекочущим кузнечиками лугом звучит дружно, но деревянно:

...пойдут машины в яростный поход...

Потом снова чокаются, поют задорные песни, но нарушено настроение и бездумно-радостного отдыха уже нет. Ивану Афанасьевичу неловко перед своими товарищами сослуживцами.

На фронт Иван пошел добровольцем, на второй день войны. Ему никогда не забыть прощального митинга на небольшом пяточке перед вокзалом, где в мирное время танцевали, а сейчас воздух тяжелеет от плача, смеха, музыки, пронзительных речей и неторопливого завывания паровозов. Наспех сколотили подмости и с них произносили напутствия. Ирина шептала Ивану что-то ласковое, но сквозь толпу протиснулся к ней взъерошенный и взмокший человек с красной повязкой на рукаве, торопливо сказал: «Ваша очередь». Ирина, твердо взглянув на удивленного Ивана, пошла за этим человеком и через минуту, взобравшись на подмости, стала произносить речь от имени женщин-солдаток. Она говорила четко и патетично, в меру жестикулируя; в одном, особо драматичном месте — когда призывала мужей не посрамить земли русской — даже сорвала с головы платок. Кто-то рядом с Иваном прислушался к словам, крутанул головой, сказал: «Лихо чешет». Иван слушал, и ему тоже казалось, что Ирина говорит здорово. И > внезапно пришла мысль — все, что говорит Ирина, не только от ее патриотизма, но и от нелюбви к нему, к Ивану. Неужели те десятки женщин, которые стоят, вцепившись в шеи своих мужей, заглядывая им в глаза, всхлипывая, быстро утирая слезы, улыбаясь, меньше ее любят Родину, и слова Ирины, сказанные с подмостков, полнее всего выражают эту любовь?

Потом Ирина, как и все, махала ему рукой и даже скинула слезу с ресницы, но все равно какая-то грусть пришла к Ивану и не оставляла его.

Ирина тоже ушла на фронт, и встретились они только после войны, — встретились людьми совсем иными, чем расстались, пережившими за жестокие годы бог знает что. Ирина порой с удивлением присматривалась к Ивану Афанасьевичу — он постарел, поседел, но какая-то неведомая сила вошла в него, и она ощущала ее в его голосе, жесте, даже походке.

В сорок седьмом, в пасмурный осенний день, приехал брат Ивана Афанасьевича — Петр. И хотя он был на несколько лет младше Ивана Афанасьевича — выглядел стариком, редкие волосы шевелились на голом черепе, глаза сузились и потускнели. Он скинул в прихожей выдавший виды вещмешок, и когда братья обнялись, Иван почувствовал дрожание рук Петра. Они не знали о судьбе друг друга с начала войны и теперь стояли, переполненные братской нежностью, не зная, с чего начать разговор. «Где же ты воевал?» — наконец спросил Иван. Петр усмехнулся криво: «На огороде у фрица, главным образом». И рассказал, как еще осенью сорок первого попал в плен, мытарил по лагерям, а потом батрачил на ферме в Саксонии. «Что же не бежали?» — вскинула брови Ирина. Петр ответил просто: «Пробовал два раза, да ведь не каждому везет».

Братья долго сидели за столом. Иван томился ожиданием ужина, который, ему думалось, должен разрядить скованность, возникшую в доме. Он крикнул Ирине на кухню: «Ну, как там, не поддумянилось?» Ирина появилась на пороге, одетая в пальто, с сумкой в руках, сказала спокойно: «Я в гости к маме. Братца сам попотчуеть». Она произнесла слово «братца» таким медовым и потому отталкивающим тоном, словно хотела сказать — «кого пригреваешь — труса, немецкого батрака! Да я с таким под одной крышей и сидеть не хочу!»

Иван понял это. Весь напружинившись, подскочил к ней, сжал запястье, выговорил с придыхом: «Жарь!» Но она отстранилась и молча вышла на лестницу.

В тот вечер, неловко суетясь и угощая брата, выведывая о его днях, трагических и неприкаянных, он как бы исподволь в себе ощутил, что никогда ей не простит этого. И даже не то, что «не простит», но не сможет воспринять ее.

А жизль текла, текла, текла...

...Иван Афанасьевич поступил решительно: собрал в деревянный, еще армейской юности, чемодан самые необходимые вещи, объявил жене:

— Я ухожу.

— Далеко? — оторвалась она от чтения.

— Насовсем.

Жена сморщила нос, постучала тетрадкой о подлокотник кресла.

Она встала с кресла и, взглядываясь в бледное лицо мужа, словно во что-то незнакомое, спросила необычно:

— Куда, Иван? А я как же?

«А я как же?» — Иван Афанасьевич уловил в ее тоне не боль перед внезапной разлукой, а эгоистическое ее смущение оттого, что происходит нарушение норм жизни, принятых правил, доброустойчивости быта.

— Не ожидала, — сказала супруга, и Иван Афанасьевич заметил, что глаза у нее покраснели, и какая-то секундная жалость кольнула Ивана Афанасьевича.

— Видишь ли... — начал Иван Афанасьевич, и оттого, что вся его жизнь громоздилась перед ним и он не находил слов, чтобы передать жене свое состояние души, годами вызревшее, он махнул рукой и, подхватив чемодан, вышел на лестницу.

На пороге Дашиного дома он появился каким-то странным, непонятным и пронзительным. В демисезонном пальтишке, с поднятым воротником, в кепочке, сбитой набок, с фанерным чемоданом он имел вид то ли погорельца, ищущего приют, то ли провинциального студента, заявившегося в столицу.

Они долго разбирали чемодан, и Даша старательно разглядывала немудреные вещи — будь то зеркальце для бритвы, финская лыжная шапочка или линейка. Она словно хотела узнать прежнюю жизнь этих вещей и еще больше стать сопричастной жизни человека, так неожиданно входящего в ее жизнь. И каждой вещи она отвела особое место, с каким-то ей одной понятным смыслом расставляла их, и потом, когда оглядела свою одинокую вдовью комнату, даже застеснялась, настолько преображенной выглядела комната, посуровевшая от обиходных мужских предметов.

Рядом с Дашиным домом начинался сосновый бор, посередине которого синим овалом лежало озеро. Они любили ходить туда по вечерам. Мягко ступала нога по прошлогодней хвое, шумели вершины, и одинокие вороны, распластав крылья, пролетали, задевая ветки и грустно перекликаясь между собой.

Иван Афанасьевич и Даша гуляли в сумерках. И потом где-нибудь на взгорьях, залитых таинственным лунным светом, он поворачивал ее к себе, разглядывал лицо, такое простое, в скорбных морщинках возле губ, и она становилась еще дороже Ивану Афанасьевичу.

Иногда Иван Афанасьевич ловил себя на мысли: совсем не потому, что Даша моложе, он тянется к ней, а потому, что ему, вот уже на склоне дней его, открывается нечто такое, чего он при всей своей разнообразной жизни не видел, не узнал, пропустил — мягкость человеческой души.

Он радовался, когда просыпался утром чуть раньше ее, и, лежа рядом, не шевелясь, ловил миг ее пробуждения — вот дрогнули ресницы, сонно раскрываются глаза. Он гадал, что она увидит первым, когда проснется: белый ли фарфоровый ролик на проводе, или быющую о стекло муху, или цветок на подоконнике? И он задумывал — если она увидит ветку раньше всего, то они никогда-никогда не расстанутся. Когда она уже совсем раскрывала глаза, он с замиранием сердца спрашивал: «Что ты увидела, когда проснулась?» Даша улыбалась полусонно и ласково говорила ему: «Тебя». И Ивану Афанасьевичу все равно становилось очень хорошо от ее слов, хотя она и не угадывала. В этом таилось что-то наивное и мальчишеское, но он не стеснялся.

Когда он приходил к ней с зимней улицы промерзший, но в пальто нараспашку, она стряхивала иней с воротника, говорила поспешно: «Бедненький мой...» Но смысл вкладывала в слова иной, чем в них заключался. Иван Афанасьевич улавливал и затаенную страстность, и горделивое превосходство, какое бывает у любящих женщин, открывающих в своих мужчинах вдруг что-то озорное. Иван Афанасьевич был далек от поэзии, но, обволакиваемый нежностью, он вспоминал деревенское детство, когда он с мальчишками замирал под облетающим цветом яблони и становился весь белым-белым — не учеником пятого класса, а волшебником.

Если Даша собиралась на улицу просто так, не на работу, она садилась перед зеркальцем и мягкой подушечкой пудрилась, слегка поворачивая голову и вглядываясь в свое изображение. Вся поглощенная своим важным делом, она виделась Ивану Афанасьевичу олицетворением женственности, и он думал — вроде самым пустячным делом занимается, а как волнующе и навечно запоминается ему именно сейчас.

...В середине лета, когда в город приезжали туристы, путешествующие по Волго-Балту, Ивана Афанасьевича приглашали в отдел культуры и просили рассказать об истории здешних мест любознательным иностранцам. Иван Афанасьевич рассказывал о Петре, заложившем поблизости верфи, об уникальных раскопках, о битвах в дни войны, а потом вел на крутой берег, где под скромным обелиском лежал шестнадцатилетний сапер, убитый в 1945 году. Иностранцы склоняли молча головы перед мальчишеской могилой и, может быть, именно в этот миг понимали весь трагизм войны, бушевавшей здесь, на Свири. На прощание гости благодарили Ивана Афанасьевича и дарили сувениры.

И Иван Афанасьевич считал естественным, когда его вызвали в горсовет.

— Понимаете, ожидается приток туристов, — сказал молодой парень, инструктор отдела, и добавил назидательно: — Это почетно и ответственно показать нашу советскую действительность людям с Запада.

— Конечно, — согласился Иван Афанасьевич.

— Так вот, — поморщился инструктор, кадык его напрягся, словно он что-то с трудом проглотил, — так вот — мы должны быть морально устойчивыми перед их соблазнами...

— То есть как? — не понял Иван Афанасьевич.

— Одним словом, — махнул рукой инструктор, — мы вас ценим, и давайте там кончайте свои амуры...

У Ивана Афанасьевича зазвенело в ушах, словно кто-то ударил кувалдой: «...муры... муры... муры...» Он побледнел, взял медленно парня за ворот пиджака и держал его так, приблизив к своему лицу почти вплотную.

...В воскресенье, солнечное и безветренное, впервые они собрались выйти вместе в город.

Иван Афанасьевич выбрился и расчесал волосы на пробор. Даша сказала:

— Ты шляпу не надевай, а то прическу испортишь.

Они вышли из дома и оттого, что были вдвоем и впереди их ждала неизвестность, — особо ощутили свою близость и улыбнулись, взглянув друг на друга.

У вокзала улица была малолюдной, но чем более спускалась она к центру, тем делалась шумливей: люди шли по ней поодиночке, компаниями, по панели, по мостовой. Иван Афанасьевич и Даша встречали знакомых, здоровались, и те отвечали поклоном, но Иван Афанасьевич уголком глаза улавливал, как те, с кем они только что поздоровались, приостанавливаются сзади них, смотрят вслед, пожимают плечами или качают головой.

Даша шла возбужденная. Синий тонкий платок хорошо оттенял ее пшеничные волосы, она сжимала руку Ивана Афанасьевича.

Когда они проходили мимо кондитерской, Даша сказала:

— Зайдем.

На длинных столах расположилась воскресная выставка сладкой сдобы: крендели, похожие на надутые щеки трубача; торты, где, как кошачьи глаза, сверкали изумрудные мармеладины; пирожные, напоминающие морские раковины...

Даша восхищенно смотрела на эту кулинарную красоту и уже хотела обратиться к Ивану Афанасьевичу, чтобы вместе им выбрать сдобу к чаю, как услышала за спиной громкий шепот:

— Гляди-ка — вот он... Ишь, по выставкам ходит, выбирает — не навьбирается до седых волос...

Они оглянулись и увидели Машу, прежнюю соседку Ивана Афанасьевича. Рядом с Машей стоял мужчина, хмельной, он выпучил глаза, сказал заикаясь:

— Все, как в сказке:

Кралю Валю
я оставлю;
кралю Таню
заарканю...

Иван Афанасьевич вывел Дашу из магазина, и они пошли по улице уже какой-то сбитой походкой. Даша все смотрела себе под ноги и старалась натянуть платок на выбившиеся пряди.

Около рынка, среди приезжей и шумной толпы, они замедлили шаг, и в это время откуда-то вынырнул чернявый мужичонка в сапогах и фетровой шляпе, с лотком на ремне. Сначала Ивану Афанасьевичу показалось, что в лотке кульки с семечками, но, взглянув внимательно, увидел в углу белую мышь с красными пуговками глаз, а вокруг нее раскиданные записки.

— Погадай — не прогадаешь, — твердил предсказатель, чуть ли не вцепившись в рукав Ивана Афанасьевича.

— За полтину — правду по середине, а за маленькую водки — всю правду о молодке! — рифмовал он.

Иван Афанасьевич хотел было пройти дальше, но Даша неожиданно подняла на него глаза грустно и просительно.

Иван Афанасьевич дал полтинник, мышь вскинула мордочку, словно приняховалась к чему-то, а потом ловко, как заправский профессионал, подхватила билетик и протянула учтиво Ивану Афанасьевичу.

Даша смотрела на лоскуток, вырезанный из школьной тетради, и ей в ее отчаянье мечталось — а может, сейчас они узнают что-то такое о своей жизни, чего ни у каких людей не узнать.

Иван Афанасьевич развернул, прочитал нечто малограмотное и неопределенное: «Получателю сего предстоит уход в бесконечность». Он усмехнулся и почесал мышь за ушами.

Когда Иван Афанасьевич с Дашей пришли домой, Даша, не снимая платка, упала на кровать вниз лицом и зарыдала, а потом вдруг, оторвавшись от подушки, встала, взяла в свои ладони печальное лицо Ивана Афанасьевича и поцеловала его.

Наутро Ивана Афанасьевича вызвали в райком. Секретарь, человек молодой и вежливый, лет пять назад окончил Лесотехническую академию и в этом сосновом краю уже успел показать себя настоящим хозяином.

Он сказал спокойно:

— Неловко как-то, Иван Афанасьевич, человек вы заслуженный. А тут вот заявление на вас от товарища Сурепова из отдела культуры...

— Да, — подтвердил Иван Афанасьевич, — я его стукнуть хотел.

— Ну вот видите, — продолжал секретарь, — и из школы звонили, утверждают, что вы жену бросили...

— Ушел я от нее, — согласился Иван Афанасьевич.

— Вы же работник идеологического фронта, — произнес секретарь и, словно засмутившись своего высокопарного тона, улыбнулся и просто спросил: — Так что же, Иван Афанасьевич?

— Полюбил я на старости, — застенчиво сказал Иван Афанасьевич, развел руками, тоже улыбнулся.

Секретарю было тридцать два года, и уже второй месяц не выходила у него из ума Клавочка, Клавдия Николаевна, заведующая аптекой, мужняя жена. Он на какие-то секунды увидел ее, холеную, с прищуренными миндальными глазами, с ямочками на щеках.

— Так что же, Иван Афанасьевич? — медленно повторил секретарь, вкладывая в свой вопрос какой-то особый смысл.

И вдруг представил себя в положении Ивана Афанасьевича и стал лихорадочно думать, как бы поступил он сам по чести и по... любви.

— А знаете что, — воскликнул секретарь, и глаза его по-мальчишески заблестели, — а вы уезжайте!

— Куда? — недоуменно спросил Иван Афанасьевич.

— Послушайте!..

И он предложил уехать в другой районный центр области, где у него большой приятель, предрика, где позарез нужны учителя истории и где жилье непременно дадут хорошее.

— Нет, — покачал головой Иван Афанасьевич, — родился я здесь, воевал, да и себя я здесь отвоевать должен, — Он расправил спину и положил руки на стол.

Иван Афанасьевич ушел. А секретарь подумал, что близится осень, возможна вспышка гриппа и он должен самлично проверить наличие Противогриппозных препаратов в аптеке. Он снял трубку и позвонил Клавдии Николаевне.

Свет керосиновой лампы

Анатолий Пологов, молодой врач, передернул плечами, едва услышал, что его вызывают к главному. «Снова меня», — мелькнуло в голове.

Главный улыбался милой улыбкой. В этом таилось дурное предзнаменование.

— В Вытегру придется, голубчик, — развел руками главный, — срочная консультация.

— Да я только что из поездки!

— Знаю, знаю, голубчик, но что делать: Иванова заболела, Касимова в военкомат вызвали, Небрюхова по семейным обстоятельствам... Значит, выписываю командировку?

Пологов, морщась, соглашался и внутренне ругал себя за то, что согласился, ибо считал — ему, молодому врачу, нужно вести больных в стационаре, изучая их, выхаживая и получая моральное удовлетворение при их выписке. А тут ради перестраховки спешит к черту на кулички!

Автобус трясся почти целый день по разбитым дорогам, застревал у речных переездов, где сновали от берега к берегу паромы. Пологов выходил из автобуса, стоял прислонившись к перилам. Лишь однажды бойкая баба-паромщица вывела его из безучастного состояния.

— Заползай! — заорала баба водителям огромных самосвалов, грузовиков, автобусов. А после, скользнув взглядом по «Волгам», «Жигулям», «Москвичам», уронила небрежно:

— Остальная шивота вперед и вправо! — И тронулись разноцветные автомобили, оскорбленно урча.

— О, великий, могучий русский язык, — выдохнул доктор.

В Вытегру приехали затемно. Шел дождь, и Пологов, поеживаясь, двинулся от автобусной остановки к гостинице. «Как там с номером, — беспокоился он, — из больницы звонили, заказывали, но тут свой суд». И вправду, администраторша, выпучив глаза, втолковывала:

— Держали вам номер, уважаемый! Да порешили, что в этакий дождь не доберется автобус, застрянет, — и отдали номерок.

— У меня бронь, — протестовал доктор.

— Была, а нынче нету, — отрезала администраторша.

— У Маньки переночевать можно, — вставил слово швейцар в засаленной форменной куртке.

— У какой Маньки? — растерянно спросил Пологов.

Швейцар осклабился:

— У старухи. За руп — койка. Без финтифлюх! — И он игриво пошевелил толстыми пальцами.

Пологов расстроился: «Приехать в непогодь, ночевать на раскладушке под храп бабки и покусывания старожилов-клопов...» И тут он прибег к палочке-выручалочке всех плавающих и путешествующих: сунул казначейский билет в паспорт и протянул за стойку:

— Проверьте, пожалуйста, еще, может, все-таки... — со значением сказал он.

Администраторша исчезла за стойкой, слышно было, как она листает плотные страницы паспорта; наконец вынырнула из-под стойки и гораздо вежливее молвила:

— Лоцманская каюта этой ночью пустует. Можно там поселиться. — И, видя недоумение на лице Пологова, добавила: — Номер у нас есть постоянный для лоцманов со Свири.

Пологов разместился в двухкомнатном номере, согрел кипятку, заварил чай и, в блаженном отдохновении вытянув ноги, стал, жмурясь, прихлебывать мелкими глотками. Насытившись, он с любопытством новосела принялся изучать номер и обнаружил в ящике стола кипу бумаг, перетянутых резиновой тесемочкой. Спать не хотелось, и он, не имея с собой ни книги, ни журналов, не без некоторого колебания снял резинку, просмотрел верхний листок, второй и погрузился в историю чужих злоключений с возрастающим сочувствием.

Сама ситуация, на первый взгляд, была незначительна: лоцман Свицкого пароходства Лямзин узнал, что лоцман Ленинградского пароходства за один и тот же объем работы получает 130 рублей зарплаты, то есть на 10 рублей больше, чем Лямзин. Лямзину это представилось несправедливым, и он, выясняя свои права, завел переписку с различными организациями, требуя увеличения зарплаты. Он аккуратно складывал в пачку и ответы, которые получал, и копии своих писем. Лоцман вошел во вкус борьбы и писал обращения, учитывая психологию тех людей, которым предстояло читать его послания.

В ЦК профсоюза он обращался лаконично, подчеркивая стаж работы и нелегкие условия труда. Ответ получил столь же лаконичный — мол, вопрос рассматривается и после доуяснения последует извещение о принятых мерах. Такая неопределенность не удовлетворила Лямзина, и он написал письмо в редакцию «Водного транспорта». В нем он изливал душу: «... Скажете, десять рублей погоды не делают. Ан делают! За десятку свитеришко сыну на зиму куплю иль доложу — и ботиночки справлю... А может, жене презент неожиданно. Вот и радость в доме. А потом, на каких таких основаниях обходить меня рублем? У нас и трасса посложней, да и техника к списанию быстро движется. А у их — ого-го! Как что — замена! И не то чтобы подержанное вручили — техника с передового производства! Я лично против Феклина ничего не имею, он там лоцман, кореш мой. Наоборот, мы при встрече не только производственную тему и оборот взяли, но и культурный досуг устроили... Почему мне на десятку меньше? Вода у меня такая, как у Феклина, — мокрая. К слову, меня могут на повышение двинуть, — но ведь другой человек придет...»

Из редакции Лямзину отвечали, что вопросы об оплате труда, поднятые им, важны; редакция интересуется мнением старых опытных речников, их жизнью и деятельностью. Сообщалось, что письмо т. Лямзина переслано в ЦК профсоюза для детального ознакомления и мотивированного ответа. Редакция отмечала живой стиль письма т. Лямзина и добавляла, что с интересом познакомится с его зарисовками трудовых будней наших славных речфлотовцев.

Лямзин не заставил редакцию долго ждать. Он написал второе письмо, поблагодарил за ответ, но быка сразу взял за рога: «... А как же с 10-ю рублями? Вы думаете, что ежели трасса мне известна, то и забот нет? Совсем неверно, товарищи! Вот, скажем, оторвались бревна при сплаве — кто их должен усечь? Опять я. Или церковка затопленная. Она — ясно дело — в лодках отмечена. Но все равно: в оба зри, чтоб за крест не зацепиться...»

Пологов читал письма, и ему казалось, что он уже знаком с этим неугомонным Лямзиным. Он представлялся рыжим, взъерошенным, в морском кителе и с потрепанным

дерматиновым портфелем под мышкой. Вот он сейчас откроет дверь, войдет. Смущенный Пологов заизвиняется:

• «Простите великодушно, лежали письма открыто — полюбопытствовал». Лямзин вскинет руки: «Ничего! Секретов нет!

Это написано для любого советского человека. Потому что нет ничего дороже справедливости. Так?» — «Так», — согласится Пологов.

И он читал далее: «...Ладно! Может, и не в десяти рублях главное. А в чем? А в том, что очень легко эти десять рублей иным путем заработать: ну, там рыбку налево; ну, там бензинчик соседу; ну, там бревнышки на сруб; ну, там... Да к чему все! Я, коль заартачусь, сам могу десятку в редакцию выслать. Да ведь душа жить хочет честно! Вот вы о жизни спрашиваете. Скажу. Жена у меня: на три уезда — одна невеста! Ждет меня с реки, словно я с океана возвращаюсь. Меня, кстати, на океан звали. На Индийский. В рыболовецкую флотилию. Из-за жены не поехал. Она у меня сама, как океан. Все в ней имеется».

Пологов отложил письмо, задумался. «Душа хочет жить честно!» — ах ты, брат Лямзин, до чего ж ты моими словами высказался! Внезапно домашнее семейное счастье Лямзина отозвалось в сердце Пологова щемящей и болезненной памятью. Давно ли он и сам считал, что чувство, охватившее его, схоже с океаном. А оказался океан его застойной лужей.

Вспомнил Пологов: как-то с женщиной, которую полюбил, зашли в невзрачное придорожное кафе. И эта женщина среди шумной публики, сидящей за столиками в шапках и пальто, обозленных официанток, расплескивающих супы на подносах, казалась Пологову существом высшего порядка, и он в сердечном порыве схватил ее руку и поцеловал. Девчонка за соседним столиком фыркнула, а женщина, расширив настороженные глаза, прошипела, дергаясь: «Что выдумали! Здесь же люди ходят!» Он не понял ее реакции, но в своем благостном настроении заставил себя подумать: «Какое целомудрие! Какая милая и наивная застенчивость!» Позже, когда он узнал о меркантильно-практическом поведении этой женщины, морщась, страдая, твердил: «За что? Ну, за что?»

...В жаркий, изнуряющий день приехал Пологов с женщиной на берег реки. «Давай!» — совсем как мальчик, закричал Пологов и взмахнул рукой, приглашая ее в воду. Но женщина нахмурилась, даже помрачнела. «Что с тобой?» — недоуменно спросил Пологов. «Ничего, — ответила она, — я люблю плавать в одиночестве, так мне лучше мыслится». Пологов опешил, по согласился, и она поплыла, манерно выкидывая вперед руки и вытянув над водой голову. «Вот ведь какая... оригинальная...» — рассуждал Пологов. Это был жалкий трюк, которым женщина пыталась подчеркнуть свой богатый духовный мир, но тогда Пологов лишь умилился.

«Эх, — оторвался он от воспоминаний, — нынче на мою дурь кому пожаловаться?.. Душа хочет жить честно! Хочет-то хочет, а не всегда живет. А почему?» — ввинчивал в себя Пологов вопросы.

Вновь углубился в бумаги лощмана. Новый ответ из редакции был сдержаннее: «К сожалению, Ваше письмо опубликовать не можем. По своему профилю оно более подходит «Литературной газете». Попробуйте обратиться туда».

На следующий день, закончив консультации в больнице, Пологов решил с вечерним автобусом отправиться домой. Он поспешил в гостиницу и по дороге взволнованно думал: «А вдруг Лямзин приехал! Сколько он во мне всякого расшевелил!» Но номер был пуст. Пологов собрался с вещами и, относя ключ дежурной, спросил:

— Лямзин когда приедет?

— Во! — удивилась дежурная. — Все его уже знают!

— А в чем дело? — поинтересовался Пологов.

— Да неуспокоиш какой-то! Вот, — и дежурная помахала телеграммой с красной широкой полосой. — Правительственная! Ему! Из Верховного Совета. Уже сам Иван

Иванович заходили, спрашивали о его приезде. Право, неуспокоиш! А вам он что, очень нужен?

— Да так...

Швейцар на правах старого знакомого подмигнул Пологову:

— Ишь ты, как судит — неуспокоиш! Да ему теперь бабка Феодосия все грехи замолит, — пенсию пробил старухе за колхозную работу... А то все маяли да маяли в Совете, мол, справок недостает. А лоцман враз в Верховный Совет, — что за безобразия! Трудовую старость не почитают! Иван Иванович и забегал. А ему и надлежит побегать, а то застоялся под потолками.

— Больно ты неуважителен, Степаша, к начальству, — примирительно прервала дежурная и переменяла разговор.

— Лоцман, как приедет, чернил свежих потребует, и полночи в комнате свет горит. Может, писателем станет, — высказалась словоохотливая дежурная.

...Пологов ехал снова по пустынной запущенной деревенскими жителями земле и размышлял о последних сутках своей жизни: «Ну, дорогие коллеги, скоро вытянутся ваши лица. Я вам шею вместо седла подставлять не намерен...»

И еще Пологов был твердо уверен, что не ответит на письмо, которое неожиданно на днях прислала ему бывшая любимая и в котором наверняка таятся новые интриги.

На переправе распорядился загоном машин на паром, расторопно и весело, кудрявый парень в морской фуражке, сдвинутой на затылок. Отчалили, и парень встал у борта, покуривая и следя за приближающимся берегом. Он раза два мельком взглянул на Пологова и дружелюбно сказал:

— А я вас знаю. На приеме с ногой был. Ногу-то колесом прижало на разгрузке парома.

— Точно, — обрадовался Пологов, узнав своего пациента, — прошло?

— Окончательно, сама нога, как колесо, крутится, — рассмеялся парень.

Пологова осенило:

— А вы, как речной работник, случаем не знаете лоцмана Лямзина?

— Бориса Михайловича? Тоже скажете! Он сват мой. Не будь его, я б на своей королеве и не женился. Сквозь семь преград на путь вывел. Голова!.. — Но здесь приблизился берег, и парень, подхватив канат, стал чалить паром. Автобус гудками созывал пассажиров.

— Лямзина увидишь? — на ходу крикнул Пологов.

— Как пить дать, — кивнул парень.

— Запиши мой телефон, пусть непременно мне позвонит, когда в городе окажется. Непременно! — выкрикивал Пологов и повторял свой телефон.

— Все будет, доктор! — махнул парень.

Пологов долго не мог успокоиться, гадал и не разгадывал историю женитьбы матроса-паромщика. «Он бы и мне смог помочь, если б я его тогда знал, — по-детски беззащитно предположил Пологов, — люди у нас на Руси удивительные встречаются. Но я его встречу, обязательно встречу», — и почувствовал, как у него потеплело на душе, как пояснело его лицо, и ему страшно захотелось сразу, мгновенно, совершить что-то хорошее.

На железнодорожном переезде в будке путейца на подоконнике светил огонек керосиновой лампы. И Пологов непреклонно сказал себе: «Человек на отшибе живет. Обязательно надо помочь, чтобы ему провели электричество!.. Этак ведь и всю жизнь можно просидеть при керосиновой лампе».

Василий Лебедев

* * *

Сейчас, когда его уже нет в живых, я думаю о нем гораздо чаще, чем при его жизни. И мой взгляд на него стал иным, — взгляд словно приобрел глубину прозрения и связующую силу. Случаи из жизни и беглые разговоры превращаются в нечто многогранное и в то же время единое. Собственно, не так уж много лет я его хорошо знал, — с зимы семьдесят третьего.

* * *

Я возвращался из Ленинграда в свой загородный дом в Сосново. На душе было пасмурно: мелкие обиды не давали покоя, да к тому же погода стояла на редкость неприветливая. Шел мокрый снег, над землей нависали облака, снег на дороге превращался в жидкую серую кашу.

На привокзальной площади меня окликнули. Я оглянулся и увидел Василия Лебедева. Я был рад встрече с человеком, расположенным ко мне, и пригласил его к себе.

Брели, выбирая сухие островки, перебрасывались словами. Мокрый снег истончился в сухую метель, подгоняемую ветром с близкого Ладожского озера. Упала плотная завеса снега. Мы подняли воротники и уже без разговора, чуть подавшись вперед, заторопились к дому. Перед нами, метрах в двухстах, покачивался человек в валенках и в зимней шапке с оттопыренными ушами. Чувствовалось, что идет он из пристанционного буфета, где не зря провел время. Покачивался он в зависимости от направления ветра, оступался, его заносило, как машину на поворотах. И вдруг мы заметили, как вихрь сбил у него с головы шапку, и он, пытаясь ее поднять, стал заваливаться, не удержался и покатился в глубокую канаву при дороге. Случилось это мгновенно, и когда мы подошли, то увидели внизу человека, лежащего на боку, скрюченного, исчезающего под обильным снегопадом. Мы соскочили в канаву и тронули человека за плечо. Человек., спал. Растолкали его, натерли под его ворчание снегом ему лицо и, подталкивая сзади, с трудом выволокли на дорогу. Потом, взяв за локти, дотащили до автобусной станции, где воссадили на скамью посреди шарахнувшихся людей.

— Ну, Вася, — улыбнулся я, когда мы отошли, — а ведь человека мы спасли!..

Нечаянная радость наполняла меня, и того сумрачного настроения, которое владело мной, как не бывало, и оно казалось мне уже пустячным, а может, и выдуманным.

— Живая душа. Кто знает — болезнь или горе загнали мужика в бутылку... А мы-то с тобой побратались, — задумался Василий, — может, на пару ничего лучше в жизни и не сделаем... — Жиденький чубчик на его покато лбу вздрагивал и весь он был так чист и взволнован в эти минуты.

* * *

Я не могу сегодня без горечи и ощущения его таинственного предвиденья читать автограф на книге Василия «Жизнь прожить», подаренной мне 14 июля 1974 года: «Пока не устану жить, я буду любить твою поэзию, любить и вдохновляться. Твой Василий». Какими страшными выглядят нынче слова: «Пока не устану жить...» Я обратился тогда к Василию со стихами:

В восемнадцати верстах
проживает друг Василий.
Чарочку не впопыхах
мы друг другу подносили
в восемнадцати верстах.

Стол петровских мастеров,
шкаф голландский той эпохи...
Друг Василий, будь здоров!
Ни к чему нам в жизни вздохи,

друг Василий, будь здоров!

Посмотри-ка из окна:
журавли курлычут клином,
как товарищам старинным,
улыбнись им, старина.
Посмотри-ка из окна.

Ощути, как жизнь кипит,
пляшет воинство лесное,
это дело не пустое —
птаха с птахой говорит...
А что пыль из-под копыт —
это дело наносное.
Ощути, как жизнь кипит.

Нам с тобою жить да жить,
с ясной зорькой умываться,
в праздник ласково встречаться,
мыслить, верить, не тужить
да и сыновей женить,
скоро станут женихаться.
Нам с тобою жить да жить.

Только об одном молю:
будь разборчивей с друзьями,
тем не говори «люблю»,
кто в застолье втерлись сами,
Твой хороший взгляд ловлю,
брошенный мне за лесами.
Твой хороший взгляд ловлю.

* * *

Летние белые сумерки на Ладоге чудесны до изумления. Сине-серая гладь озер еще хранит в себе последние алые краски заката. Вороны, устремляясь ночевать на острова, кричат так пронзительно и мечутся так остервенело, словно на них совершенно покушение. Ветви деревьев четко вырисовываются на фоне светлого неба, и каждая ветка напоминает собой какой-то предмет: крепость или птицу, саблю или человека... Смотришь на ветви и будто волшебную повесть читаешь о жизни людей.

В такую пору иногда приезжал ко мне Василий на мотоцикле. Влажно шуршали росистые травы, осыпались лепестки с расцветших бутонов, а Василий шел среди кустарника в сияющем белизной мотоциклетном шлеме, напоминая в зыбком прозрачном воздухе пришельца из космоса. Он вскидывал голову, замечал меня в проеме окна и выпаливал:

— Привет!

— Здорово, — отвечал я и сбегал по лестнице.

Он снимал шлем и, близоруко щуря глаза, вновь становился простым и милым парнем.

Однажды, когда он освободился от шлема, я полуобнял его и сказал:

— Когда ты снимаешь шлем, я думаю, что от космоса до Земли один шаг.

Он протянул:

— От жизни до смерти тоже один...

* * *

Василий, как истинный художник, был легкоранимым, а также большим фантазером. Он порою придумывал себе иллюзорный мир, в котором поступал так, как ему хотелось, и думал так, как ему приходило на ум.

Как-то приехал я с делегацией французских писателей в Ленинград, и Василий принимал их у себя дома.

— Не скажете ли вы нам, месье Базиль, как вы стали писателем? — любезно спросила француженка.

— Скажу, — решительно ответил Василий. — Начинал я со стихов. Но народ не заинтересовался глубоко моей поэзией. Тогда я стал писать прозу. Она пришла своим путем к народу...

Он замахивался в искусстве на многое, и для него самого было естественным видеть себя в жизни могучим, сильным, основополагающим.

...Побывали мы с ним в Мексике. В один день наши друзья пригласили нас в музей инкского творчества: древние маски, ритуальные человеческие черепа из камня, живопись, пламенная, многоцветная, страстная... Это было увлекательное путешествие в прошлое великого народа. И вдруг я услышал голос Василия:

— Интересно, очень интересно... Но почему нет копий античных скульптур? Почему? Кстати, я мог бы содействовать приобретению копий античности вашим музеем... Да, да, — мельком бросил он взгляд на меня, уже не в силах остановиться, — у меня есть знакомый академик, он сможет содействовать покупке... Нужен только корабль для перевозки...

Волосы на голове у меня слегка зашевелились.

— Вася, — сказал я с подобием улыбки на лице, предназначенной для наших друзей, — это ведь вопросы компетенции Министерства культуры.

— Разумеется, — смерил он меня взглядом, — мы подключим и культурные инстанции наших стран.

...Наши друзья были им очарованы.

* * *

Были в моей жизни дни, когда нахлынуло мне в душу какое-то суматошное, все смышающее на своем пути чувство. Оно ворвалось нежданно, а потому казалось непонятым. Какому же русскому человеку не нужно излить душу в такие мгновения!

Я отправился в Васину деревню Ольховку, застал его дома и чуть ли не с порога начал:

— Послушай, Вася, я...

Он слушал меня, чуть склонив набок свою характерную — по-суворовски, с хохолком — голову, а потом высказал странное для меня желание:

— Пойдем к берегу, по дороге и доскажешь...

Мы вышли и стали спускаться по желтой песчаной дороге, усеянной по обочинам треснувшими валунами. Рожь, молодая, нежно-зеленая, поднималась справа и слева, стремительные ласточки своим полетом, как ножами, разрезали воздух. И я почувствовал, что перед огромностью живой к трепетной природы, окружавшей нас, мне стало труднее высказываться о том, что мне еще минуту назад представлялось самым существенным. Словно мои слова и мое возникшее чувство проверялись на цвет, на вкус, на истинность всем тем, что существует в мире вечно и непреложно. Я продолжал говорить, но внутренне задумывался, не понимая своего душевного смущения.

Берег порос ольхой, болотной сочной травой, среди песка проглядывали черные змейки ручейков... Дальше широко разливалось озеро, а за ним — сплошной массив зеленого леса, над которым плотно и необозримо синело небо.

Я замолчал, и мы оба, вскинув головы, посмотрели вдаль.

— Знаешь, а я там, — он махнул рукой вперед, — учительствовал восемь лет.

И этот внезапный оборот разговора, словно Василий и не слышал моих слов, удивил меня. Снова взглянул на него, его лицо ничего не выражало. И мне зримо почудился за темным и густым лесом неведомый озерный, сказочный край, откуда пришел Василий и где он пестовал души малых ребят, отправляя их в большой и сложный человеческий мир. И не учеником ли его был я в этот час, которого он насквозь видел и сурово жалел?

— То, что ты говоришь, — прекрасно. Людей нужно больше любить. А любишь ли ты? — голос его был будничным.

Позже я рассуждал: зачем он повел меня из дома к берегу? Уж не с той ли таинственной мыслью, чтобы на ветру могучего пространства земли отшелушилась половина от зерен моей речи и речь моя предстала бы в своей сущей наготе для ее постижения.

А потом, когда этот вихрь пролетел, не сокруша меня, я вспомнил косогор, молодую рожь, озеро, леса за ним и ту человеческую пронизательность Василия, которую я осознал гораздо позже, совсем поздно...

* * *

Он стремительно рос как писатель в последние годы. Его роман «Искушение» о Куликовской битве привлек широкое внимание читателей.

...Он позвонил из Ленинграда сразу после публикации романа в журнале «Наш современник».

— Говорят ли что? — спросил.

Я в этот день беседовал о романе с Анатолием Ананьевым, который высоко оценил его. Передал Василию свою беседу. Он помолчал в трубку, сказал весело:

— Мы еще удивим мир!..

Не успел. Мог бы, да не успел...

* * *

Последний раз я видел его на почте в поселке Сосново. Он приехал на машине, на той дьявольской машине, которая принесла ему смерть.

Он был необычайно оживлен.

— Знаешь, у меня внук родился. Дед я! — хохотнул. — Вот поздравительную телеграмму посылаю.

— Поехали ко мне чай пить — позвал я.

Светилось на столе в вазочках варенье, клубничное, смородиновое, черноплодной рябины. От чашек с густым чаем шел парок. Вели незначущий разговор, договаривались встретиться основательно, поговорить по душам. Как жестоко-несправедливо в жизни, что из дня насущного ничего не видишь впереди! Что не смог я его в своей слепоте спасти, как когда-то мы с ним спасли человека!

Провожал я его. Прошли мы с ним по дорожке между разросшимися кустами шиповника и диких роз. Он жадно вдохнул свежий и пряный от запаха цветов воздух.

— На сто лет теперь хватит! Больше хоть и не дыши! — засмеялся.

Возле калитки я отогнул нависшую ветвь акации, чтобы она не задела его.

А потом фыркнула машина, обдавая газом, и он умчался за леса, за горы, за непробиваемую пелену дождя...

* * *

В моем доме висит картина, которую он мне подарил: осенняя, северная даль; порыжевшие ветви берез, речушка в мшистой оправе, гладь воды в желтых бликах листьев, пасмурное серо-синее небо и проглядывающаяся за этим пейзажем пустота

пространства... Я иногда пристально и подолгу вглядываюсь в картину, и в полусумраке комнаты мне мыслится — а вдруг выйдет сейчас он сам откуда-то из заречной темноты, где он когда-то жил и где учил в школе ребят.

Из оятского дневника

Зима

Всю жизнь я прожил в городе. И когда приходила зима, я сразу видел выпавший во дворе снег и светло-серые небеса над головой, видел зиму всю сразу в ее пышном виде.

Нынешний год я провел в деревне.

...Еще вчера листья были влажными, бурными, а наутро побелели и стали скользкими. Тонкие пластинки льда легли на траву, и трава замерзла, застекленная, как в музее. Зернами рассыпались по земле снежинки — и оставшиеся зимние птицы удивлены, встревожены, оживленно переговариваются, поглядывают на белое зерно — вот-вот начнут клевать...

Когда я приезжаю ненадолго в город, товарищи спрашивают меня:

— Ну как? Что интересного видел?

Я говорю:

— Много чего. Вот, например, видел, как зима начинается.

Они улыбаются: мол, чудись. Как им объяснить, что я стал богаче, потому что увидел рождение одного из таинств природы и зима мне теперь ясна с самого начала.

Колька-рыжий

Я поселился в доме на берегу Ояты. Комната была удобная, но непригодная для зимы, и школьники пришли ее утеплять. Они шпаклевали окна, обивали дверь, таскали мусор... И все время, словно невзначай, приглядывались ко мне. И вдруг остроносый Лешка Антонов сказал:

— Тут до вас года два назад Колька-рыжий жил.

Потом я узнал подробности. Ребята из дальних деревень жили в интернате, а по вечерам зачастую ходили в гости к соседу Кольке-рыжему.

Кольке-рыжему исполнилось тридцать, и он был женат, И наверное, рубаха-парень. Он работал шофером, приезжал домой поздно. Ребята, услышав его машину и выждав какое-то время, чтобы Колька поел и отдохнул, шли к нему. У Кольки-рыжего они играли в шашки и слушали радио.

Через какое-то время Колька проштрафился — не по правилам машину вел, что ли. Хотели его на некоторый срок лишит водительских прав. И тогда, может быть сгоряча, поднялся он с семьей и махнул неизвестно куда.

После Кольки-рыжего разный народ перебивал в этом доме, но все селились ненадолго, спешили, не замечали ребят.

И вот теперь ребята прикидывали, кто я такой. А вдруг все будет так, как при Кольке-рыжем.

Вечером пришел Лешка, попросил помочь по русскому. Мы сделали упражнение, побеседовали.

Лешка осторожно взглянул на меня:

— А вот в том углу у Кольки-рыжего радио висело.

Я понял намек.

— Съезжу, Леша, в Ленинград, привезу радио.

Странно, конечно, но в чем-то я завидовал этому незнакомому мне Кольке-рыжему — ведь Колька-рыжий был, наверное, человек, раз так долго мальчишки помнят его.

Начало раздумий

У Лешки Антонова, который часто приходит ко мне, есть друг Васька.

Васька высок, строен, с нежным красивым лицом. Ходит он, даже в страшные оятские морозы, в бескозырке, «как носили герои, слегка набекрень». Он старше Лешки года на полтора — ему шестнадцать.

Васька нравится мне своей неторопливой уверенностью. Когда он обращается при разговоре — независимо от возраста собеседника, будь то старший или младший, — говорит: «Так вот, малец!» Если взрослые выговаривают ему за эти слова, он роняет, насмешливо улыбаясь:

— Это же присказка... Фольклор.

Лешка всецело под его влиянием и старается подражать, но выходит у него это подражание неловким и мило-смешным.

Но вдруг случилось нечто неприятное и просто отталкивающее. Избалованный вниманием, желая, видимо, потрясти всех своим остроумием, Васька высунулся из окна интерната и крикнул инвалиду дяде Ване:

— А где нога у тебя? Или баба откусила, малец?

Ребята опешили, замолчали, разошлись. Злая и нечеловеческая несправедливость этих слов потрясла мальчишеские сердца. Вечером была школьная линейка, на которой Ваську отстранили от учебы на несколько дней в знак наказания.

Я тоже потерял симпатию к нему, и когда вечером пришел ко мне опечаленный Лешка, я сказал:

— Пусть больше Василий ко мне не является...

Лешка кивнул. Ему было тяжело. Он любил Ваську. Но и осуждал его, как все.

Дня через три Лешка постучался в дверь.

— Не придет.

— Кто не придет? — не понял я.

— Я передал Ваське, чтобы он не приходил, пока он негодяй, — сказал Лешка таким драматическим голосом, каким, наверное, должен говорить муж после убийства своей неверной жены.

Мы помолчали. Стали топить печь.

— А когда дядя Ваня его простит, он ведь не будет уже таким негодяем? — с надеждой спросил Лешка.

— Может быть, Леша, — ответил я, — хотя есть на земле обиды, которые человеку никак не простить...

Мы сидели, глядели на огонь и почти не разговаривали.

А когда он уходил, мне привиделось, что на лбу у него залегла первая легкая морщинка. Может быть, она мне и показалась в полумраке сеней, но если что-то кажется, то ведь и это уже что-то значит.

Кузнец

Живет в Новом селе кузнец. Не одному поколению пегих, каурых, буланых коней ладил он звонкие подковы.

А ныне кузнец стар, ноют осенью раны, полученные на всех войнах, начиная с первой, германской. Не часто он из дома выходит.

Кузнец сухощав, узок лицом, волосы темны, седину заметишь, лишь приглядевшись.

Я вошел к нему в избу и почувствовал запах березовых поленьев — березовые бруски лежали всюду, сверкая белизной.

— Что это вы мастерите? — спросил я.

Когда отказали кузнецу ноги и не смог он у наковальни стоять в кожаном переднике, помахивая кувалдой, затосковала его душа. Стала его болезнь сушить, приезжий доктор прописал порошки, а кузнец их пускал по ветру и томился еще больше.

— Ну, что ноги, батя? — сказал сын. — Руки у тебя десяти пар ног стоят...

И договорился сын с колхозом, чтобы попросили отца изготавливать грабли.

Вот и мастерит он грабли теперь. По двести штук за зиму.

Он берет березовое полено, долго примеряется к нему, в ладонях повертит, прежде чем ударить топориком. А ударит — и сразу полено какой-то иной облик обретает.

Грабли стоят у стены, как солдаты в одной форме. А приглядишься — и они все разные. У одних — зубья навькат, что-то хищное в них; другие — ласковые, как дамские гребенцы. У всех свое выражение, словно грабли смеются, злятся, хохочут, улыбаются. И все потому, что зубья как-то неуловимо смещены, наклонены, сдвинуты.

Есть у кузнеца, когда он кончает новые грабли, нечто от знаменитого папы Карло: так же кузнец прищуривается, подмигивает и дает веселого шлепка своим граблям — идите во поле летом, деревянные ребятишки, трудитесь да озоруйте в меру.

Я не видел кузнеца, когда он сидел на крылечке в тоске, печалась об ушедшей силе. Я даже представить его себе таким не могу.

Мы ели сало с картошкой, подцепляли вилкой грибки, пили чай и шутили и серьезным размышлениям предавались. А грабли стояли у стены — будто любопытные балагуры глазели на нас...

Петр Григорьевич

Завхоз Петр Григорьевич человек пожилой, маленького роста, ссутулившийся. Он целыми днями на своем складе — отпускает паклю, принимает толь, отвешивает гвозди...

А как выпьет Петр Григорьевич, он отыскивает меня и просит:

— Слушай, я тебе жизнь свою расскажу, а ты опиши ее в подробности. Так вот. Была гражданская война. А я отделенный. Спит рота. Часовой уснул. А тут белые. Убили командира. Опешили все. И я как крикну: «Рота, в ружье! Пли!» — Он улыбается блаженно и добавляет — Аж сейчас дух захватывает...

И молчит и смотрит трезво куда-то поверх моей головы, и словно видит себя, молодого, в расстегнутой гимнастерке, с трехлинейкой в руках, спасающего положение...

— Ну, а что дальше? — спрашиваю я.

— Так вот. Была гражданская война. А я отделенный...

И снова повторяет Петр Григорьевич все слово в слово, и снова замолкает после фразы «аж сейчас дух захватывает». Я уже и не прошу его продолжать, знаю, что дальше он не сдвинется.

Когда он уходит, то говорит строго:

— Так, значит, напиши книгу о моей жизни.

— Напишу, Петр Григорьевич.

— И чтоб толстая была, — добавляет он и уходит, и идет молча по снежной тропке наедине с самым героическим: мгновением своей жизни.

А наутро он бодр и подвижен, как всегда. И снова режет толь, отпускает фанеру, отвешивает гвозди...

Об уважении

Я написал очерк о леснике. Очерк ему понравился. Как-то, в тридцатиградусный мороз, встретил я его в деревне.

— Пойдем в лес, Николаич, — сказал он.

— Стужа какая, померзнем.

— Это верно, холодно, а все же пойдем.

— Чего так спешно? — удивился я.

Он смущается немного.

— Видишь, ты мне уважение оказал, хочу и я тебе уважение оказать. Ну, можем поллитру выпить — так слишком просто. Лучше в лес пойдем — я тебе покажу, как лес живет, как дышит, — это мало кто знает.

Василий Иванович Харламов

Испокон веков славились лодейнопольские плотники. Они рубили избы и ладили корабли еще со времен царя Петра.

Василий Иванович — потомок умельцев и сам умелец.

Семья у него большая — в Кеми, под Выборгом, да и в самой деревне живут взрослые дети. Они учительствуют, водят поезда, возделывают землю. Младшая — милая девушка Тамара — окончила одиннадцатый класс и заведует деревенским клубом.

По праздникам Василий Иванович навещает детей. Домой возвращается довольный и приосанившийся.

— Семеро у меня, — говорит он, — и все мною в люди спущены!

«В люди спущены» — он произносит эти слова несколько торжественно, как старый лодейнопольский корабел, который знает, что его корабли надежны.

Мать

По пути в дальнюю деревню зашел я передохнуть к Потапу Ивановичу. Потап Иванович и жнец, и швец, и на дуде игрец. Семья у него большая — девять человек детей. Правда, сейчас с ним живут лишь те, кто еще в школе учится.

Ему пятьдесят три, а жена его помоложе, но выглядит — не преувеличу — лет на семьдесят, да к тому же и ходит она согнувшись.

Когда жена вышла, я спросил:

— Что с ней?

— Шестой год так. Девочка у нас была, последняя, десятая, Машенькой звали... Утонула она пяти лет от роду. С той поры не может мать в себя прийти — погнуло ее.

Он помолчал, закурил.

— Лето жаркое выдалось. Пошла Машенька с подругами к реке. У нас с малолетства все плавают. И она по воде ручонками бьет, движется. Незаметно от берега отдалилась. Тут Демьян Аверьянов на лодке, — электрик он нынче, а тогда парнишкой был. Уцепилась Машенька за его лодку, а он — какой черт дернул — возьми да крикни: «Не трожь, ходу мешаешь!» Машенька и отпустила. И под воду прямо ушла.

Я в то время на пожне косил. Услышал крик, бросился к реке и в воду. Многие с берега прыгали — Машеньку искать.

Нашли ее часа через два, принялись откачивать, да бесполезно — у ней только капельки крови изо рта и хлебные крошки пошли... «Не мучьте дитё!» — заплакал и понес ее» Мать без сознания упала...

Входит жена.

Потап Иванович вздыхает. Наступает тягостное молчание. Я пытаюсь отвлечь его, поднимаю с пола выкроенные из телячьей кожи голенища, спрашиваю:

— Сапоги шьете?

— Мастерю. Работы без спешки — на три дня. А за шитье — четыре рубля плата. Демьян Аверьянов кожу принес, ему и тачаю...

Я невольно вздрогнул, снова услышав это имя, а у матери дрогнули плечи, и она вышла в соседнюю комнату.

Хозяйка

Я был приглашен на праздник к директору школы. Гостей собралось человек десять. Стол заставлен в изобилии той здоровой едой, которую в городах называют «деревенской», — в глубоких тарелках вареные яйца, яичница, картошка со свиной, картофельный пирог...

Уже выпили гости по второй, а хозяйка все не садилась за стол. Средних лег, невысокая, очень живая, она подавала чистые тарелки, бегала на кухню, что-то несла, что-то убирала.

— Садитесь, Ольга Ивановна, — просили гости, но она лишь улыбалась сердечно и снова устремлялась к плите или с той же милой улыбкой подкладывала гостям в тарелки.

— Садитесь, Ольга Ивановна!

Она улыбалась, но не садилась, — и вот уже дымящаяся уха красуется на столе.

Но когда гости запели песни, она, словно позабыв о своих хозяйских делах, села и тоже запела, мягко и неожиданно звонким голосом.

Гости пели, как говорится, «во всю силу», не жалеючи легких, а она выводила песню легко, вкладывая в нее какой-то трепет и искренность. И получалось само собой, что наши голоса притихали и последние слова песни она пела одна, волнуя всех.

Потом она спохватывалась и уходила на кухню, а мы кричали ей вслед:

— Ольга Ивановна, садитесь!

...На следующий день я припоминал подробности праздника и все думал, какая хорошая и простая женщина Ольга Ивановна.

Но потом поймал себя на том, что ведь я с ней даже словом не перемолвился и сама она почти ничего не сказала, а только хозяйничала, улыбалась нам да еще пела...

Шаги в космосе

Человек в космосе. Да не просто в космосе, а выходит из ракеты и возвращается в нее.

Событие фантастическое, и весь день торжественно гремит музыка, произносятся речи.

И все-таки чего-то мне не хватает. Чего? Я и сам не могу точно сказать.

Захожу днем к председателю домой. Его жена, добрая и ласковая женщина, встречает радушно, приглашает к столу.

И вдруг она расплывается в улыбке:

— А у меня сегодня два праздника — Леша четверть без троек окончил и наши космонавты приземлились.

И она так просто и естественно объединила эти два события своей жизни, что событие великое, космическое сразу стало каким-то домашним, человеческим, приобрело черты, которых, наверное, мне в нем и не доставало.

Роберт Деревягин

Впервые я увидел его на литературном вечере в лодейнопольском Доме культуры.

Это был невысокий паренек, круглолицый, сероглазый, с резкими чертами лица. Но не своей внешностью он привлек меня, а тем, как сидел. Он сидел, наклоня голову, чуть подавшись вперед, морща лоб, словно не на вечере лирической поэзии, а на серьезном докладе.

В перерыве нас познакомили.

— Роберт Деревягин, секретарь райкома комсомола.

После этой встречи мы не раз виделись с ним. Однажды он зашел ко мне в гостиницу.

— Хотите, я ваши стихи почитаю, — сказал он через некоторое время.

Мне было лестно.

— Конечно, — ответил я.

Он прочел наизусть одно, второе...

— У вас есть моя книга?

— Нет... Я ваши стихи на вечере слышал.

— Не хотите ли сказать, что запомнили их с голоса?

— Да.

Мне оставалось только развести руками.

В школьные годы пришла Роберту мысль грандиозная и наивная — перечитать всю мировую литературу и усвоить ее. Он стал тренировать память — каждый день учил по странице прозы. И развил свою память феноменально.

Роберту всего двадцать три года, а должность у него ответственная, и справляется он с ней как-то весело и умно.

У нас в деревне Надпорожье должна была праздноваться комсомольско-молодежная свадьба. Я позвонил в Лодейное Поле и пригласил Деревягина.

Роберт приехал под вечер, после работы, отмахав на райкомовском «газике» девяносто километров.

...Он бежал по сугробам, прорываясь со всеми к невестиному дому, чтобы, по местному обычаю, украсть ее.

...Он платил выкуп, когда перед санями молодых на дороге разложили костры и не пропускали свадебный поезд.

...Он весь вечер играл на баяне, плясал, произносил речи, смеялся.

А наутро в райкоме говорил товарищам:

— Писать трудно. Руки одеревенели — весь вечер на баяне играл.

Меня привлекала в нем неумная жажда жизни. Помню, как двое суток просидел он в одном колхозе, пока не был собран кворум и не провели собрания.

Ему говорили:

— Давайте начинать. Всего трех человек недостает.

— Подождем, пока явятся, — с железным упорством повторял Роберт.

А совсем недавно он пришел ко мне и положил на стол пачку стихов, своих собственных.

Они выглядели не очень умелыми, но, пронизанные строгостью и сердечной чистотой, составляли как бы часть самого Роберта.

Были среди них строки о погибшем отце, молодом солдате.

Часто отца вспоминаю,
Знаю — меня не осудят,
Если стихи я слагаю,
Пусть это памятью будет.

И я, еще ничего не говоря ему о стихах, подумал, что жизнь Роберта озарена подвигом его отца, который пал на границе в сорок первом году и которому он, Роберт, нынче ровесник.

Ранний апрель

Я иду по снежной реке на остров, густо заросший вербами. Издали остров кажется огромным пятном — ивовые ветки порыжели.

Сережки уже сбросили свою кожуру и выглядят ослепительно белыми, атласными, нежными.

По ночам подтаявший снег стынет на морозе, и образуется блестящий крепкий наст. Зимой в лес не ступишь — сразу по пояс в сугроб провалишься. А сейчас я уверенно сворачиваю с дороги, иду по холмам, лощинкам, кустарниковым зарослям. Мягко поддается под ногой наст, но тяжесть выдерживает. Вокруг деревьев углубления — это тает снег от нагретых лучами стволов.

Но самое замечательное, что можешь нынче куда хочешь идти, словно весенняя природа, уже предчувствуя свое торжество, приглашает в покои к себе Человека и одаривает его солнцем, синевой, первым и тревожным шелестом ивовых прутьев.

Как сапожник Прон лишился своих заказчиков

Жили в деревне сапожник Прон-хромой — у него одна нога на протезе была — и охотник Пров. Оба мастерами своего дела были. Прон тачал такие сапоги, что хоть в Москву на выставку. Пров так метко бил зверя и птицу, что хоть всю деревню мог накормить. Славились они по округе как умельцы.

Но даже у умельцев есть свои недостатки. Были они и у Прона с Провом: любили выпить друзья при случае.

Однажды Прова вызвали в орс и сказали:

— Даем тебе лицензию на отстрел лося. Мясо магазину надо.

Вскоре Пров убил лося. Мясо и шкуру сдал, а копыта с собой понес в деревню. Пошел под хмельком, потому как деньги получил.

Наведался прежде всего к другу Прону.

Стали обмывать удачную охоту, благо у Прона жена в отъезде, а Прова никто не ждет — вдовец он. Ставили друг другу по чекушке, глядит Пров, а у него денег совсем мило в кошельке.

— Слушай, Прон, купи ты копыта.

— На что мне копыта, — отвечает Прон.

— А ты к протезу примастеришь, ходить ловко будет.

— Да ну? — задумался с хмеля Прон.

— Да как же не так! Лось зверь, а эвон на копытах какой гон дает.

— Это верно, — почесал затылок Прон.

И купил два копыта. Одно — на протез, другое — про запас.

Ушел Пров. Стал Прон копыто прилаживать. Приладил. Встал на копыто и сразу кособоким сделался. «Это от непривычки», — подумал.

А в это время бабка-соседка за ботинками пришла и видит: стоит Прон и копытом постукивает о половицу.

— Дьявол, — обмерла бабка и из сеней одним духом.

Сообразил Прон — не так что-то, и решил снять копыто.

Сел на лавку, снимает его.

А бабка тем часом других привела, те в окно заглянули — и обалдели. Шепчут:

— Он копыто отымает... А сам весь черный...

И все врассыпную.

С тех пор старухи Прону даже на починку сапог не носят, а Пров, как навеселе, посмеивается:

— Ну, как копыта? Не сносил? А то у меня еще два есть с задних ног!..

Из охотничьих баек

Собрались мы с Ванькой на охоту — выпили.

Пришли мы с Ванькой в лес — выпили.

Собаку с поводка спустили — выпили.

Глухаря на ветке увидели — выпили.

Пальнули. Я — в Ваньку, а Ванька — в меня — выпили.

Я — Ваньку убил, а Ванька — меня... Выпили.

Слова

Есть в русском языке слова и речения, которые не могут жить в городах — словно боятся шума толпы, скрежета машин и фабричного дыма. Они селятся в лесных деревеньках, живут красивой жизнью, как летние травы.

Ученые называют такие слова диалектизмами, а местные жители просто дружат с ними со своего младенчества.

...В лесу росло столько грибов, что, казалось, трудно ступить, чтобы не надломить шляпку. Я бродил по лесу, потом вернулся домой, спросил сына моей хозяйки: «А мать где?» — «А за грибами на упряжку пошла».

«Упряжку... упряжку... — подумал я. — Уж не возят ли они на телеге грибы из леса?»

Но все было проще: «на упряжку» здесь говорили как «на минутку», «ненадолго».

В другой раз сказал мне старик: «Не ходи на реку. Скоро мочкий дождь пойдет».

«Мочкий» — тог, который вымочит. И вправду, хлынул дождь, крупными каплями стучал по лопухам, сбивал с ветки молодой вишневым цвет.

У Онежского озера я заблудился в лесу. Встретил ребят на берегу. Они играли в моряков, и вид у них был решительный. «Идите по кенде — попадете в деревню», — сказал старший, в матросской бескозырке, и это слово «кенда» звучало в его устах как какой-то старинный корабельный термин. А оказалось, что по-здешнему «кенда» — тропа вдоль воды.

В пасмурные городские дни я иногда мечтаю о горных алых цветах марьины коренья или об огромных — с блюдце — полевых ромашках. Так же и с этими словами — отраднo, что они живут где-то, как диковинные яркие цветы, и делают русский язык еще глубже и необычней.

Раздумье о доме

Я шел по взгорьям, легко пружиня на мхах, с треском ломая сучья в зарослях. Поздняя осень чувствовалась во всем. Издали рябина в багряных гроздьях выглядела еще прекрасно, но, подойдя ближе, я увидел, что многие ягоды потускнели, осыпались в бурю листву.

На холме показались из-за леска два дома. Я пошел быстрее и через десять минут добрался до них. Один дом, почти разобранный, как будто покачивался от ветра, насквозь проглядывался и являл собой полное запустение. Другой — ладно обшитый, с заколоченными окнами, с дверью на запоре. Все в нем вроде пока хорошо, но это обманчивый вид, потому что не касается его ничья заботливая рука, и он, созданный могучим, дряхлеет от одиночества.

Холмы, на которых стояли дома, поднимались выше других окрестных холмов, и с них видны были темные-темные дальние леса. На холмы неумолимо и жестоко наступал ивняк, захватывая все новые и новые куски земли. Земля словно съеживалась, делаясь маленькой и беззащитной.

Возле домов на крепком суку прибита скворечня, — наверное, еще в те годы, когда детские голоса раздавались у дома. Ныне она покосилась, почернела от дождей. Внутри ее темно, и как будто ощущаешь сырость, вырывающуюся оттуда. Хочется скорее уйти, хлопнуть по болотной траве, жевать горько-сладкую рябину.

А из головы не выходят эти две избы. Думаешь, все-таки дом у человека всегда один. И если покидает он его, то становится трудно и птицам, которые вились возле крыши, и полям, которые простирались за порогом. Человек в ответе перед ними, не знающими человеческой речи и не могущими ничего сказать.

Где хозяева изб? Какая судьба заставила бросить эти обетованные края и бежать? Я не знал, и некого было спросить. Ни судить, ни оправдывать их я не мог. Но мечтал о тех временах, когда ничто не будет гнать человека из родных до последнего бревнышка домов.

Голос

Мой дом стоит поодаль от деревни. Он большой, разделен надвое толстой бревенчатой стеной, и за стеной живут молодожены — доярка и рабочий леспромхоза.

Долгими зимними вечерами, когда устаю от чтения и работы, я ложусь на кровать и слушаю звуки, которые долетают в мой бревенчатый терем.

Ветер свистит, выламываясь на разные лады.

Лают собаки, по привычке.

Соседка входит к себе в комнату и бросает у печи охапку дров.

А однажды я услышал младенческие всхлипы, тихое и долгое урчание — у моих соседей родился ребенок.

Новый голос был неожиданным и чем-то завораживал, как йавораживает мягкий свет луны в полночь или последний лет журавлей над мокрыми рябинами. Казалось, что этот голос еще принадлежит не столько человеку, сколько приводе. И одновременно в его настойчивой интонации я словно слышал: «Ну, как на Земле? Хорошо или плохо?»

Пасмурное лето

Северные записки

I

Шел дождь, морозящий, бесконечный. С Двины дул резкий ветер. Мы с товарищем, Сашей Еловым, сидели в Архангельском аэропорту, ожидая самолет на Пинегу: каждые полчаса радио объявляло, что рейс задерживается.

Наконец, не выдержав ожидания, пошли в ресторан. И сразу не повезло. Два дня назад, когда мы ужинали в архангельской гостинице, к нам за столик подсела пара (поскольку свободных мест не было): женщина — дородна, па обеих руках массивные золотые кольца; мужчина — тщедушен, с маленькими круглыми глазками. Они недовольно взглянули на нас, словно мы подсели к ним, а не они к нам; заказали шампанского, выпили, попросили бутылку убрать и тогда приступили к обеду, вдумчивому и обильному. Они переговаривались между собой скороговоркой, как бы заслоняясь ею от нашего слуха, но мы невольно улавливали отдельные фразы:

— Машка-то, дура, за него пошла... А он — сто двадцать зарплата, и пой романсы при луне...

Она трогала иногда за локоть своего соседа, поводила глазами:

— ...На ту, на ту взгляни-ка, потом расскажу...

Когда они пообедали и ушли, Саша убежденно сказал:

— Торгаши.

...Нашей официанткой в аэропорту оказалась именно та соседка по столику. Она, конечно, узнала нас, — невидяще взглянула и проплыла мимо. Весь ее вид говорил: «Не велики бары... Чем лучше меня?» Наше присутствие словно унижало ее: «Вчера за одним столиком сидели, а сегодня обслуживать вас!..»

Минут через сорок, не глядя, она взяла заказ. Мы не волновались — спешить было некуда: радио снова сообщило о задержке самолета на Пинегу.

К концу обеда появился за столиком сосед; он посидел немного, затем сам отправился в буфет и принес две бутылки пива. Пил мелкими глотками и при каждом глотке благодушно покачивал головой. Чувствовалось, что ему крайне хочется поговорить.

— Вот пьете вы. — решил он и указал пальцем на минеральную воду. — А что от нее толку? Язык пощиплет, до нутра не дойдет. От болезни, может?

Мы сказали, что не от болезни, а просто нравится.

— Оно верно. Кому что. У нас-то село большое, даже своя аптека есть. От аптеки однажды закупщика на юг послали, за целебными водами. Тот три месяца в селе не появлялся — на песке там валяжился. А потом целый вагон такой воды прибыл: дескать,

смотрите, не зря я время терял, воду для вас раздобывал... Столько бутылок в селе оказалось, что их по всем магазинам распределили, даже в промтоварном, в игрушечном отделе стояла. А кому опт нужна, коли у нас своя ключевая, подземная? Одна только дачница из Архангельска ее брала, да много ли она употребит за лето? Стояла так вода, стояла, а потом ее попробовали однажды, а она уже протухшая, с запахом. Ну ее, ясно дело, списали, вылили, а бутылки в сельмаг сдали... И опять хорошо — сельмаг план по пустым бутылкам перевыполнил, а кое-кто на выручку настоящей белой купил... А куда путь держите?

Объяснили.

— Рано выбираетесь. Морошка еще не поспела. А дней через десять добра станет.

— Поздно нам через десять дней.

Сосед неожиданно спросил:

— Видно, вы люди искусства? — И добавил с обезоруживающим простодушием: — А то какой дурак в это время сюда в отпуск поедет — комаров полно, а морошки еще нет...

II

«Самолет на Пинегу. Просим пройти па посадку», — музыкой прозвучало в аэропорту. Долетели. Вышли из самолета на летное поле и сели в автобус, который шел в самый поселок. Вдруг женщины в автобусе бросились к окнам, толкаясь и налезая друг на друга.

— Убиец! — страшно прошептала одна, и все вздрогнули, еще теснее прижимаясь и напирая, чтобы разглядеть человека.

Возле автобуса под охраной милиционера стоял плотный черноволосый мужчина в белой распахнутой рубашке с отложным воротником. Он заметил всеобщий интерес к себе, но с непроницаемым, словно застывшим, лицом смотрев в сторону леса, где простирались пустынные луга. Не шевелился, не менял своего положения. Милиционер присел на лавочку, размял сигаретку. Из-за поворота выскочила машина; милиционер, не докурив, поднялся и строго взглянул па своего подопечного...

Историю этого убийства мне рассказали впоследствии.

В леспромхозе работала девушка, лет двадцати. По вербовке приехала. Парням она нравилась, приставали к ней. Она не заставляла страдать — кого хотела, того приголубливала.

Влюбился в нее мастер, сорокасемилетний лесовик. Где-то на юге жила у него семья, но он как-то сказал девушке:

— Все порушу, а без тебя мне не житье...

— На что я тебе, меня — видишь — сколько любить желают...

— Ни один не подойдет боле, а для тебя ничего не пожалею.

— Вон как — староват да хрящеват, а туда же, — зло обрезала.

Но на удивление лесорубов, один за другим отошли от нее ухажеры, и сама она вроде притихла, «замерзла», как показывали потом свидетели. А мастер комнатку для нее отдельную схлопотал, темную, крохотную, рядом с конторкой, но все своя. Иногда приходил к ней, разговаривали они, вернее, он говорил, а она только или словечко вставит, пли рассмеется. Перегородка с конторкой тонкая, все слышно, а когда мастер заходил, то в конторке особо прислушивались. Однажды сказал ей мастер:

— Конец скоро контракту моему. Уедем вместе в Гомель, дом у меня там родительский. Тепло. Вишен полно.

— А твои-то как? Жинка родная?

— Не заботься. Тебе она не встретится. На развод подал.

— Спешешь, начальник, — протянула девушка и добавила медленно: — А в чем бы, к примеру, я к тебе в Гомель поехала — в ватнике да шароварах?

— Это дело никакое, — быстро произнес он, — командируюсь днями в Архангельск, все в универмаге заберу, что по списочку укажешь.

Бабы за перегородкой даже слюну сглотнули:

— Вот это да!

Мастер скоро уехал в командировку. Его видели, когда он вернулся из Архангельска. Шел в шляпе и галстук.

— Ну и франт, — улыбнулся ему шофер с лесовоза, когда они встретились в поселковой столовой и выпили по кружке пива. Тот же шофер потом показывал на суде, что мастер был трезв, весел и, кроме как большую кружку пива, ничего в рот не брал.

В леспромхоз мастер добрался вечером — и прямо к конторке. Все уже ушли, лишь у девушки сквозь занавеску свет просвечивал.

— Открой, — сказал мастер.

— Поздно, — ответила девушка, — я не одета.

— Да я ведь тебе — глянь — что навез!

«Тут я не удержался спьяна и чихнул», — это уже показывал на следствии Федька Левша, который был в тот вечер у девушки.

Мастер рванул дверь, с крючка сорвал, встал на пороге. Из показания Левши следует, что мастер встал на пороге «...ровно зверь. Свертки один за другим выронил. На меня не глядит — ее глазами полосует... А она халатик на себе запахивает, от волнения пуговицей в петельку не попадает. Да как тут крикнет на него: «Чего надо! Пошел, старая образина! Я с молодыми хочу!» Огляделся мастер — топор В углу. Схватил он его, махнул... Тут я в беспамятстве в окно прыгнул, стекло разбил и бежать...»

А мастер, убив девушку, разделся, схватил шест и бросился к проруби. Привязал шест к ногам и кинулся головой вниз в прорубь. Шест привязал, чтоб труп его не искали потом, — сразу из ледяной воды вытащили бы за палку.

Но случилось иное. От Федькиного крика всполошились в поселке, уразумели кое-что от Федьки, рванулись к конторке, а река возле конторки, и сразу увидели — из воды ноги торчат, к шесту привязаны. Вытащили мастера, в тепло отнесли, откачали — он сначала всех матом крыл, после впал в беспамятство... С воспалением легких лежал, вылечили, на следствие в Архангельск отправили, а теперь привезли в Пинегу судить.

Взглянул я еще раз на пинежского Отелло: милиционер подсаживал его, он, сгорбившись, лез в машину.

III

— Оставлена комната писателям. Коли писатели, заходите, — тетка в Доме приезжих оглядела нас с ног до головы, — а коли нет, выставим. Как вас заприходовать? Фамилии?

Поселок Пинега раскинулся вольно, вдоль реки. Зашли в лавку, взяли консервы «закуска» под ласковый говорок продавщицы:

— Вкусные, ешь и никакого от них в желудке осадку нету...

Отправились в Дом приезжих. Тут-то и встретился он нам, погорелец Афонькин.

Он стоял, покачиваясь, у входа в Дом приезжих и вяло переругивался с дежурной. Дежурная, с распаренными от стирки руками, волновалась и не пускала его в дом.

— Поселй, — тянул Афонькин.

— Да у тебя все огузье мокрое! — возмущалась дежурная.

— В дождь попал, с того лишь, — и голосом, набирающим силу: — Позвать мне заведующую!

Дежурная взвилась:

— Мне умирать некогда, а я тебе заведующую звать буду! Иди спать, где напился!

— А я в тайге напился!

Они долго препирались, я не стал ждать конца их перебранки и поднялся к себе в комнату. Через некоторое время в дверь ко мне постучали — и вошел Афонькин. Он выглядел трезвее и речь вел связно.

— Я, как сегодня у директора леспромхоза был, вас видел у него. Вероятно, вы начальник какой, ну рассудите же нас...

Я ответил, что он обозначился, к директору леспромхоза я не заходил и никакой не начальник.

Афонькин не поверил, хитро прищурился, достал из кармана документы, протянул мне:

— Ну, рассудите же нас... Из погорельцев я... Чего он так со мной?..

Афонькин был из Мордовии, из русской деревни. Однажды жарким летом загорелся пустой сарай, ветер перекинул пламя на ближайшую избу, вспыхнула она — и полдеревни слизнул огонь. Изба, где жил Афонькин с отцом и матерью, тоже сгорела. Сами спаслись, а из добра лишь самовар вытащили да одежонку кое-какую. Плача, потом головешки перебирали, железные вещи находили — покореженные и обугленные.

Дали им, как погорельцам, пособие, да ведь на пособие дом не сладишь. Пристроил Афонькин своих стариков на время у родни, а сам завербовался на север, чтоб лесу на новый дом заработать.

В договоре его с леспромхозом отмечено было — обязан леспромхоз отправить стройматериалы в Мордовию железной дорогой, когда истечет срок контракта.

Афонькин старательно работал. У себя в деревне он слыл хорошим печником, и здесь, на севере, его мастерство в почете было: то печь где переложить, а то и новую поставить. Вина не пил, разве что по праздникам.

Год с лишком минул, месяцев восемь до истечения контракта оставалось. И тут получил он письмо от родителей. «Сынок наш, — писал отец, — все крепимся мы с матерью. Понимаем, что ради нас поехал ты в холодную страну работать, да уж мочи нашей больше нету. Живем у родственников не на хлебниками, трудимся с матерью оба, а не угодить никак на них. Все-то их стесняем, все-то на пути их встречаем. Уж второй месяц переселены в чуланчик, оно бы и ничего, да зима наступит, а тут дыры в полу и стенах, — снег, верно, захаживать станет. Я, знаешь, человек солдатский, стерплю, коли ненадолго, а матери худо, ото всего вздрагивать зачинает... К тому пишу, что не могло бы твое начальство поране нам лес отгрузить, до срока твоего. Надо, так и сам им письмо напишу, объясню, что ты парень честный, все по норме отработаешь...»

Отпросился у бригадира Афонькин на один день и поехал в дирекцию с отцовым письмом, чтобы сделали ему некоторую уступку. К директору явился.

— Иван Иванович обедает, — секретарша ему.

«Ничего, подожду», — подумал Афонькин.

Он прошелся по поселку, встретил знакомого, пивком с ним побаловался, попутно свое дело рассказал. Тот хлопнул Афонькина по плечу:

— Порядок будет!.. А если он что-либо заупрямится, ты ему прямо по кодексу давай: «Человек человеку — брат» — и тут уже твоему директору деваться некуда.

Снова отправился Афонькин в дирекцию. Секретарша не пускает:

— Совещание с представителем из области. Ждите.

Ждал Афонькин, ждал и спрашивает:

— А ежели они до конца рабочего дня совещаться будут?

— Тогда, пожалуйста, завтра. Прием с девяти до одиннадцати по личным делам, — очень вежливо ответила секретарша.

— Да я из тайги, с лесопункта. Сегодня отпустили, а завтра не явлюсь — прогул зачтут. А мне никак нельзя с прогулами быть.

— Всем нельзя, гражданин, — уже суше сказала секретарша.

Афонькин сидел почти до конца рабочего дня.

— Как же быть? — взмолился Афонькин.

Секретарша взглянула на него, как будто впервые увидела:

— Завтра, гражданин. С девяти...

Афонькина прорвало — он чувствовал, что к нему несправедливы, а ничего сделать не может.

— Волосы завила — и думаешь: всех умней!
Афонькин открыл дверь в кабинет. Секретарша впорхнула следом:
— Он самовольно и еще грубит!..
— Вот у меня письмо от родителей, — невнятно сказал Афонькин.
— Пить надо меньше, — ответил директор.
— Да я нисколько... У нас дом сгорел... Я потому и тут... А прошу дать мне лес сейчас... Честь по чести будет... — путано объяснил Афонькин, и директор поморщился. Он взял документы Афонькина, бегло их просмотрел и вернул спокойно.
— Чего ж тут говорить — через восемь месяцев расчет сполна. А сейчас — за какие глаза? Надо заработать сначала.
— А как же отцу с матерью быть? — растерянно спросил Афонькин. — Вы письмо их прочитайте.
— Ну, знаете, если я стану читать все родительские письма — работать некогда...
Афонькин повернулся и, пряча конверт в карман, неуклюже вышел из кабинета.
Он побрел по мосткам, завернул в орсовский магазин и купил перцовки. Спустился к реке, сел на перевернутую лодку, выпил, стал в подробностях вспоминать прошедший день. Перечитал письмо, и глаза его наполнились слезами. «Нет, — думал Афонькин, — если бы начальник все узнал, о чем пишут отцы с матерью, он бы дал лесу сейчас. Просто обязательно надо, чтобы он прочел. Переночую, а утречком к нему, он на порог — и я тут же. Прогул, конечно, впишут, ну, да коли лес дадут, уже не так страшно...» Бутылка обмелела, а Афонькину стало легче на душе, он верил в свой новый план, верил, что начальник, прочтя письмо, никак не откажет.
Афонькин отправился на ночевку в Дом приезжих, где я его и застал.
Он излагал мне свои горести, сидя в нашей комнате за столом. Я все-таки казался ему тем человеком, которого он приметил у директора.
Через сорок минут отходил наш пароход на Карпогоры.
— Вы ложитесь на мою кровать, я рассчитался, а дежурная уже вроде ушла. До утра и проспите...
Он поблагодарил и стал раздеваться, стянул через голову рубаху, взъерошив волосы. Таким он и остался в моей памяти — обнаженный по пояс, с молочно-белой незагорелой кожей, лишь шея и выпирающие ключицы обветрены и черны, кудлатый, пьяньский и убежденный, что завтра он уже обязательно заставит начальника прочесть письмо.
...А через несколько дней, когда я был уже в совсем иной местности, неожиданно вновь предстала передо мной судьба Афонькина, и с каким-то обостренным угрызением совести я подумал, что ведь мог бы пойти с ним к директору, что ведь мог бы... Да не сделал ничего — может быть, из торопливости, может быть, из лени... И еще я подумал — какой печальной станет моя жизнь, если человеческие печали я буду провожать равнодушным взглядом, так, как провожают взглядом облака.

IV

Теплоход оказался небольшим, с двумя пассажирскими салонами. Но местные жители все почему-то устремились лишь в носовой салон. И мы со всеми. Устроились у окна возле маленького откидного столика.

По берегам Пинеги отвесными стенами высился красный известняк; косматые ели с полуразрушенными корнями свисали над водой. Порой камень громоздился столь прихотливо, что берега напоминали развалины города.

Над рекой потемнело. Перевалило за полночь. Мы клевали носами. Рослый пинежанин, который весело пересаживался с лавки на лавку, сказал нам доверительно:

— Чего так неловко дремлете? На корме никого нет, там на лавке и выспаться можно...

Мы прошли через весь теплоход, спустились в кормовой салон. В нем действительно никого не было. Да вряд ли кого сюда можно было и заманить — свежий ночной воздух

вместе с дождем сквозь разбитые стекла врывается внутрь. Под нами грохотало машинное отделение. Пришлось возвратиться назад. Но... на нашей скамейке, развалюсь и причмокивая во сне, спал пинежанин, добрый наш советчик. Пассажиры потеснились, и мы кое-как приткнулись возле прохода.

Рядом со мной сидела женщина с девочкой. Девочку она заботливо уложила на скамье, прикрыла.

Я заметил эту женщину еще при посадке. Она пришла почти к отплытию, вела девочку за руку. Я видел, как она спускалась с косогора по берегу — в белом пальто с голубыми горошинами, перетянутом в поясе. Шла она чуть покачиваясь, степенно. Но когда приблизилась, я разглядел ее бледное лицо, морщинки трещинками пробежали по щекам, сходясь в уголках губ. Удивляли глаза: один серый, выпуклый, ясный, а другой — сокрытый мутной пленкой, водянистый. Людское внимание раздражало женщину — наверно, поэтому она наклонила голову, чуть отводя ее в сторону. В толпе отъезжающих ее знали.

Пассажиры уснули. Не спали лишь мы с ней: она следила за девочкой, разметавшейся во сне; а я, как говорится, перебил сон.

Мы мало-помалу разговорились. Она чувствовала во мне внимательного слушателя, с которым жизнь свела на несколько часов и развеет скоро... Словно истосковавшись по откровенной речи, все говорила и говорила о своей судьбе...

— Выросла я на Пинеге. У отца с матерью пять человек детей народилось. Я старшою была. Как война началась, отца по мобилизации взяли, на войну угонили, стала я первой рукой в доме, с матерью наравне.

В военную зиму на лесоразработки направили. Меня, как самую шуструю, десятником назначили. Работа нетрудная. Следить да записывать, кто сколько выполнил урока. Ну, и заработок невелик — шестьсот рублей. Пришла к начальнику и стала в лесорубы проситься — там и девятьсот можно выжать. А деньги уж как необходимы: дома малыши, одна мать с ними.

Ледяные дороги в ту пору строили: прорубали просеку эт лесоповала до реки, наваливали снег высоко, как железнодорожное полотно, колеи прокладывали в снежной насыпи, заливали водой. Мороз схватит — и гони по тем звенящим колеям сани с бревнами на нижний склад. Я снег лопатой наращивала. Спецдежды никакой. Обмотаешь ноги мешковиной, чтобы тепло уберечь, да так и вкалываешь весь день. Ядреные ноги тогда были.

Но больше работала на лесоповале. Вручную, с такими же молодыми девчонками пилила. Как-то случилось летом на опушке елку валить. Упало дерево, молодняк рядом покачнулся, и вдруг с тоскливым криком взметнулась из травы дикая утка — «чернеть». А в траве, захлестнутый насмерть веткой, прижался к широким листам подорожника птенец. Не смогла я в тот день работать: носится птица надо мной, стонет. То отлетит — будто кто-то вдалеке плачет, то возвратится к срубленному дереву — вопль слышен. «Иди ты, — сказал десятник, слушая утиные всхлипы, — незадача-то какая вышла...»

Не шла, бежала по просеке к лесной избе, а птица летела за мной. Страху натерпелась. Бабки после в деревне твердили, что в птичье тело овинница вселилась, потому по-человечески она себя и вела, потому и страдала так по мертвому птенцу.

Однажды к концу войны приехал возница на лесочасток. «Богданова здесь?» — выкрикнул. А это я Богданова и есть. «Пластай в конторку, к телефону кличут!» Сердце похолодело: «Зачем к телефону-то? Не иначе — беда стряслась...» Телефон-то видывала, а самой говорить не приходилось, и оттого еще страшнее сделалось. С возницей отказалась ехать, напрямик через лес бросилась. Бегу, чувствую, как ноги слабеют, точно ватные. В конторку вбежала, телефон на стене висит, поблескивает серебряными чашечками. «С отцом что?» — спрашиваю. «Ничего не сказано... Тебя из района ищут, звонят как начальству какому... Жди, еще на аппарат потребуют...» Тут я совсем расстроилась. Если уж из района меня, соломинку, разглядели, то не пустяку быть. Снова

звонок. «Ты Богданова?»— спрашивают. «Я», — губами шевелю. «Должна прибыть в райком комсомола послезавтра в десять». Я немножко пришла в себя: «А дело-то какое?»— «Дело на месте скажут. Не время все по проводу разглашать». Ну, я, конечно, замолкла, если так вопрос ставится. Сгрудились вокруг меня в конторке, спрашивают: «Чего? Чего?» А я в ответ: «Зовут, а о деле молчат, говорят: «Разглашать не положено»... «Ну, девка, и внимание тебе! Может, какую державную работу поручат...»

Ночь не спала. Наутро собираться стала. Дарья, повариха, как сейчас помню, советует: «Надень-ка мою жакетку плюшевую, на люди покажешься — приободриться надо... В розном платьишке и обращения того не будет...»

Поехала. Где пешком, где на лошади — всяко добиралась. Но поспела в пору. Вхожу в коридор, вижу: у дверей еще ребята стоят, а среди них — Андрюшка из нашей деревни. «Что за сборы?» — спрашиваю. Никто толком не знает. Наконец вызывают нас, всех вместе. За столом парень сидит, румяный, но строгий взглядом. Встал, уперся руками о стол и спросил: «Знаете, в какое время живем?» Молчим. Он помолчал тоже и говорит: «В победное! Наши доблестные войска обложили фашистского зверя, и скоро мы водрузим знамя Победы над рейхстагом!» Слушаем — к чему речь идет. «...Надо нам страну еще краше еде-1 лать и, значит, везде насаждать очаги культуры... Поэтому открываем мы культпросветучилище и отобрали вас, лучших комсомольцев района, чтобы первыми вы в него вошли...»

Тут все загалдели, никто такого оборота не ожидал. Стали ребята прямо в кабинете заявления о приеме писать. Андрюшка ко мне подсказывает: «Здорово!»— а глаза светятся. «А вы что не пишете?»— спрашивает меня секретарь. «Не могу», — отвечаю. «Как так не можете, когда вы комсомолка, а комсомольцы должны быть на передней линии борьбы?» Осмелела я, потому что вижу — дело жизни касается. «Я в леспромхозе девятьсот рублей выколочу, а здесь сама на обеспечении, а что с малышами делать, коли еще и мать болеет... У меня братьев и сестер пятеро...» — «Нездоровые разговорчики... Потребительские...» — говорит он, не меняя голоса, а сам хмурится и задумывается что-то. «Ну, ладно, — решает наконец, — по вашему вопросу завтра примем решение. Приходите с утра...»

Провела я ночь у знакомых — и снова в райком. Он меня встретил хорошо, усадил на стул, смотрю я на него — усталый, озабоченный, ну а румянец — куда денешь, от молодости румянец. «Давайте так поступим, — говорит, — вы в училище пойдете, а в виде некоторого возмещения на двух ваших старших ребят выпишем ежемесячные пайки, как на взрослых...»

Так и пошла по новой стезе, не думая, не гадая.

Как жила, вспоминать не буду — одно скажу: легкого дня не случилось. Научилась на гармошке и гитаре играть, порой душу отводила с теми инструментами. Обносила — света бы мне не видеть: чинена-перечинена, латана-перелатана, но живой дух во мне был, не унывала.

После окончания направили меня в деревню, километров за пятнадцать от нашей, — там клуб находился. В нашу Андрюшка поехал.

Прибыла я на место назначения. Девчонка девчонкой еще. А клуб в бывшей церквушке: мусор, птичий помет, сквозь дыры ветер дует... Перво-наперво вымыла пол, дыры законопатила, веток свежих над входом воткнула, села на приступке, стала на гармошке играть, потом отложила — и на гитаре. Заинтересовались жители. Спрашивают: «Чья, мол, откуда?» Одна бабка говорит: «Поп-то наш осанистый был, в колокол ударит, чашку из рук выронишь. А наместо той жизни что удумывают: девка худущая гармошкой лешака тревожит...» Однажды возразили другие: «Пусть себе играет, может, и спляшем когда».

А Девятого мая, между прочим, все ко мне в клуб пришли. И так душевно попраздновали: о мертвых оплакали, о тех, кто не вернулся с войны, живым героям здравицу воздали.

Однажды прибегают ребяташки ко мне, кричат наперебой: «Тетя Лена, Кошка-Муркин приехал!..» — Какой Кошка-Муркин?» — «Да он, говорят, на наших мужиков непохожий». Пошла. Оказывается — из Дома народного творчества инструктор. А у него галстук бабочкой на беленькой рубашке, как усы кошачьи.

Между прочим, из-за того инструктора у меня, может, и жизнь не устроилась. Вадимом звали. Застрял он у нас. «Я, — говорит, — со временем не считаюсь, командировка кончится, из своего отпуска прихвачу... Надо работу в клубе наладить по-научному...» Стал он клубную работу по-научному ставить, да вскоре я поняла, что главное он за мной ухлестывает... Что кривить, и мне он нравился. «Тебе, Лена, может, большая сцена уготовлена, — вел он речь, — потому как много в тебе живости и грациозности». Вот так он меня и обволакивал...

Потом я его в город до самой железнодорожной станции провожала. Поцеловал он меня в лесу, перед станцией, в последний раз, обещал сразу письмо написать. А как на вокзал пришли, стали нас пассажиры разглядывать, — он серьезным сделался, брови сдвинул и громко, чтобы люди слышали, заявил: «Инструкцию почтой вышлем. До свидания». В вагон прошел, из окна глянул, а ни одного слова прощального уже не нашел в себе. Долго я от него письма ждала, а потом плюнула и, наверно, уже не такой дурой сделалась.

Года через полтора я его на совещании в городе встретила. Он не один шел, — с каким-то человеком. Увидел, поздоровался и к спутнику своему: «Вот один из лучших завклубов. По-научному работу ставит...» Если б он смолчал, может, и я смолчала. Да как заталдычил он про свою науку, я не стерпела: «Лучшая — худшая — не знаю, а уж вашу-то науку на порог не пустим, сыты от нее». — «То есть это как?» — удивился его спутник. «А вот так и этак», — и по лестнице сбежала. На совещании его спутник (какой-то представитель из области) выступил и такую фразу подпустил: «Некоторые низовые работники слабо методологически подкованы...» — произнес и глазами по залу шарит. Ну, да хватит об этом.

Между прочим, на том совещании увиделась с Андрюшкой. Он все такой же тихий и спокойный был. Вечером с ним в кино ходили. Он мне и говорит: «Выходи замуж за меня...» Удивилась я страшно, говорю: «Не могу...» — «А что, любишь кого?» — «Никого не люблю...» Он подумал, подумал, сморщился: «Одно знай: никто, кроме тебя, мне не нужен...» На том разошлись и разъехались по своим местам.

Всю жизнь занималась я клубной работой. Годы шли, и я вроде как ветераном стала. Перевели меня директором клуба в Архангельск, в лесную промышленность. Там у меня уже и штат появился — четыре человека.

Братья-сестры, которых поднимала, в хорошие люди вышли: сестра — главный инженер на химкомбинате; один брат — партийный работник, другой — корабел... Родители — во здравии. Ну, а у меня личная жизнь не задалась — кого тут винить? Ни на что я обиду не держала. Жили-были...

И вдруг... Заболела я. Как все болеют. Я и значения не придавала поначалу: на работу пошла. Домой вернулась: температура высокая, в животе рези — слегла. Неожиданно — осложнение на глаз. Один глаз видеть перестал — нерв поражен. Бельмом глаз подернулся. В больнице долго лежала, инвалидность дали, велели всякую работу на год оставить, отдыхать и не волноваться.

Затворилась дома, как в монастыре. За продуктами в магазин сходить — для меня пытка. Встречные разглядывают, знакомые попадают на пути, руками взмахивают: «Что с вами, Елена Ивановна?» — и охать, причитать. Брат обещал направление в филатовскую клинику достать... А сейчас к родителям еду, буду там ждать вызова от брата...

Она замолкла. Грустно смотрела в окно: река сверкала на заре, еще не расставшись с ночным туманом.

— Это очень хорошо, в Одесскую клинику. Там чудеса творят, — убежденно сказал я. Елена Ивановна обернулась, лицо ее оживилось, спросила с надеждой:

— Вы тоже слышали?

— У меня рука легкая — Одесса поможет!

Елена Ивановна не заметила некоторой наигранности моего тона, в мягкой улыбке шевельнулись ее губы, и с затеплившейся женственностью она словно попросила:

— А остались бы у нас на денек в деревне с другом? Чайку бы попили...

Я поблагодарил, но отказался.

Уже перед самой пристанью, торопя девочку и взяв чемодан, она снова сказала, глядя мне прямо в глаза, и мне показалось, что в этот миг она чувствует себя прежней, здоровой, не робкого десятка женщиной:

— А остались бы у нас чайку попить, право? Потом и на машине доедете — шофера свои, деревенские...

— Нет, спасибо...

Она как-то ссутулилась, заспешила по трапу.

Я смотрел ей вслед, видел, как она с девочкой поднималась по крутому откосу, как постепенно темнело ее светлое пальто и наконец на кромке откоса сделалось алым, попав под заревой свет.

...Моя поездка продолжалась далее, и на всем ее протяжении встречались характеры живописные, решительные, мягкие... Кончилась ли моя поездка? Нет. Она будет и будет длиться, пока я живу, все шире раскрывая мне глаза на суть добра и все ближе подводя к пониманию смысла человеческой жизни.

История Ваньки Каина, известного пройдохи

Давно померкла бурная, темная, завораживающая слава Ваньки Каина. А ведь когда-то в российских деревеньках, собравшись всем обществом при лучине, пели песни о нем, сказки рассказывали о его невероятных приключениях. Старинные книги, называя его «известным пройдохой», при этом отмечали благожелательно, что «судьба помогала Каину, одарив его умом и находчивостью, вытаскивала из бездны несчастья, ставила на твердую землю». Конечно, в мошеннических проделках Каина не было «классовой направленности», но простым людям нравилось, как он объегоривал купцов, монахов, торговцев, офицеров, а попутно, разумеется, и иных представителей российского населения.

Ванька Каин — личность отнюдь не легендарная. О нем есть точные биографические сведения. Он родился при Петре I, в 1715 году в Москве и был единственным сыном печника Осипа Ефремова. Печник одно время работал в доме у купца Петра Филатьева, которому и отдал сына по достижении пятнадцатилетнего возраста в услужение. Примерно с той поры и стал катиться Иван, как теперь говорят, «по наклонной плоскости».

I

Начал Ванька, купцу прислуживая, всякие предметы у него потаскивать: платье не обиходное, медную посуду, да и на серебряную глазом стрелял. Однажды сам хозяин заметил, как у Ваньки от спрятанной чашки рубаха на груди оттопыривается. Бросился купец за Ванькой, за воротами догнал, рубаху задрал на пузе да чашку и вытащил. Бит был Ванька, и велено было другим домашним слугам за ним приглядывать.

Можно сказать, что размах воровская деятельность Каина стала получать с того времени, как он познакомился с одним отставным матросом, по прозвищу Камчатка.

А познакомились они, когда Каин из-под полы продавал серебряное блюдо, украденное у купца. Заинтересовался бывший матрос смышленным юношей и пригласил его в качестве своего нового друга в то место, где испокон веков русские люди друг другу в любви объясняются и отношения выясняют, сиречь в кабаке.

Там-то, за шкаликом, Каин поведал о терзаниях своего духа, о малодушии своем.

— Сундук у купца кипарисовый, замок в образе бронзовой собаки, а вот руку наложить на него еще не могу — не хватает умелости, — сокрушался Каин.

— Не в умелости суть, — утешал Камчатка, — а в том, что друга близкого у тебя нет, который мог бы сердечно переживать за тебя да и из беды вызволить, коли нужда станет. Но теперь моли бога — послал меня тебе бог!

Ободренный, Каин решил в ту же ночь приступить к действию. Дождался, когда все в доме уснули, снял сапоги и в одних чулках, вздрагивая и замирая при малейшем поскрипывании пола, отправился в комнату, где сундук стоял. Замок открыл с легкостью и еще раз убедился в правоте Камчатки — не в умелости дело, а в том, что еще смелость как нужно не развилась. А в сундуке и деньги купеческие, и нарядные обновы, — глаза разбегаются у Каина. Надел он на себя сколько возможно было, а многочисленные карманы деньгами набил. На себя не похож стал — толст и важен. В таком виде за ворота вышел. Камчатка съежился в темноте, поскольку не признал сначала Каина за своего. А как признал, оба они беззвучно возликовали.

Но Каин недолго предавался радости. Он чувствовал, что у каждой караульной будки на улице может его остановить солдат. А уж солдат смекнет, что Каин — не капуста, у которой «сто одежек и все без застежек». И Каин разоблачился, перемахнул через забор знакомого поповского дома, бесшумно проник в покои священника и появился вскоре перед Камчаткой в благолепной рясе. Камчатке отдал купцово полукафтаные и, обретя уверенность, тронулись сообщники по дороге. Караульные окликали, вглядываясь в припозднившихся прохожих:

— Кто идет?

— На исповедь, к отходящему рабу божьему Мардарию, — выступал вперед Каин, стараясь, чтобы лунный свет тронул серебряное шитье. Один караульный воскликнул в расстройстве:

— Да уж не к Мардарию ли мясоторговцу?

— Нет, — утешил Каин, — к Мардарию компанейщику.

— Ну, идите с богом, — сказал солдат, не вылезая из будки.

Так вскорости добрались они до Каменного моста, под которым в отдаленные от нас годы находилось постоянное пристанище московских воров и мошенников. В тот день плохая добыча случилась у них, и они тосковали и мерзли, не обращая внимания на заигрыванье представительниц древнейшей профессии. Поэтому появление Камчатки, известного в деловых кругах, в сопровождении священника вызвало лишь неумные замечания насчет того, что покаяньем глотки не прополощешь.

— Ан нет! — назидательно возразил Камчатка. — Это не попово семя, а друг наш и брат, что он сам и докажет.

Каин и вправду доказал, выдав продрогшим собратьям денег на вино, а их подругам на пряники. Каина стали все сразу хвалить, выслушав его историю, а девки тоже приняли участие в чествовании Каина, подчеркивая, что он «молодой и красивый».

Хоть и не на теплой печи провел Каин ночь, но на душе у него было радостно: глаза откроешь — звезды в глаза сыпятся, никаких приказов и наказаний — воля! Каин спросонья слышал, как до зорьки расходились его новые товарищи по своим продуманным с вечера путям, но сам Каин не спешил, выспался всласть, и когда лишь солнышко выкатилось, он, умывшись, богу помолившись, вышел из-под моста и отправился на благое дело — квартиру себе подыскать в Белокаменной.

Шел он, руками помахивая, на птиц глядячи, присвистывая, да вдруг и замер, как перед геенной огненной. Перед ним, прямо лоб в лоб, стоял самый сквалыжный слуга купца Филатьева — Вонифатий. Вонифатию был не с руки побег Каина, потому что он сам приворовывал у хозяина, а приворовывая, все на Каина, ловча, валил. И Каин побегом своим как бы подводил Вонифатия, жизнь его осложнял. Вонифатий церемониться не стал. Заорал на всю улицу:

— Держи вора! — и в ворот Каинова кафтана, как клещ, вцепился. А ротозеям праздношатающимся только такого развлечения и надобно. Набежали с разных сторон, в чем суть — ведать не ведают, но тоже орут:

— Держи вора!..

И поволокли горемыку на подворье купца Филатьева.

Разгневан был купец Филатьев и приковал Каина цепью к столбу, к которому также и бурый медведь был прикован. Вот с таким сотоварищем провел Каин двое суток.

Медведь с цепи рвется к Каину, шерсть топорщится, глазища, как у дьявола, горят, когтями, как лезвиями, тянется. С ладонь зазор между ними, когда медведь цепь натягивал. Большого страху отродясь Каин не испытывал. Он и голода не чувствовал. Об одном бога молил: чтоб медведя досыта накормили. «А то ведь он, костолом, цепь сорвет да мною свое брюхо и набьет», — страдая, размышлял Каин. Глаз не сомкнул, смерть ожидаючи.

На вторые сутки знакомая служанка принесла Каину хлеб да воду, а медведю корм. Служанка была девка ладная, к Каину с интересом относилась, раньше-то очи долу склоняла, когда он показывался, или задом вертела — завлекала. И видя Каина в плачевном положении, расчувствовалась, разгоревалась, да и скажи Каину между своими такими причитаниями:

— А у нас, Иванушка, еще лихо-то! Солдат убитый в колодезь сброшен... А хозяин сам не свой ходит...

И тут в растерянном сознании Каина блеснул луч надежды, ибо в сообразительности ему отказать нельзя было.

Через несколько дней купец, решив, что Каин пребывает уже в полном угнетении духа, сам пожаловал и велел Каину портки снять и в виде милости купеческой самому себе розги выбрать и самому пузом к лавке приладиться. Но Каин портков снимать не стал, а, хоть и заморышем от мучений выглядел, молвил твердо:

— Бить меня не смеете! Знаю я Слово и Дело Государево!^[1]

Купец вынужден был наказание отменить, снова приковал Каина к столбу, а наутро отослал его в московскую полицию.

В полиции стали допрашивать, точно ли знает он Слово и Дело Государево.

— Точно ведаю, а скажу там, где надлежит.

Поскольку с такими вещами шутить нельзя было, то под крепким караулом отправили Каина в Тайную Канцелярию.

Секретарь Канцелярии наметанным глазом оглядел Каина и решил справить работу сам. Но Каин своего держался упорно:

— Знаю я Слово и Дело Государево, а никому другому раскрыть не могу, кроме как главному начальнику.

«Каменный орешек, — помыслил секретарь, — беды не сберешься, коль что важное знает, а я порядок не соблюду», — и, заковав Каина в цепи, приказал ему смирно сидеть, пока не придут их сиятельство московский градоначальник граф Семен Андреевич Салтыков.

На следующий день граф, выслушав доклад секретаря, повелел привести бродягу.

— Ну, и что ты ведаешь? — грозно сдвинул брови Салтыков.

— А то, ваше сиятельство, — бухнулся, гремя цепями, Каин в ноги графа, — что господий мой убил ландмильского солдата и бросил его тело в сухой колодец!

Граф немедля приказал расследовать обстоятельства, и Каин вместе с конвоем солдат поскакал в дом купца Филатьева. Выбежал купец на крыльцо, смотрит обалдело, как подскакивает к нему Каин и громовым голосом восклицает:

— Убивец — мой господин!

А солдаты тем временем из колодца вытягивают на веревках мертвое тело.

И тут уж самого Филатьева поволокли в Тайную Канцелярию как бы под конвоем Каина.

На следующий день граф в знак расположения к Каину допустил его к своей особе после утреннего кофею еще облаченный в домашний халат.

— Не знаешь ли других злоумышленников, что с твоим господином разбойничали?

— Не ведаю их, одно ведаю, что купец Филатьев — главнейший зачинщик.

В Тайной Канцелярии допрашивали так, что подозреваемые признавались во всем том, что желали расследователи. Были, конечно, некоторые исключения, но не о них речь сейчас. Купец к этим исключительным личностям не принадлежал и вскоре сознался в убийстве солдата.

А Ванька Каин не просто сухим из воды вышел, а был с поощрением назван «справедливым доносчиком», отпущен на волю и, что важно для его дальнейшей жизни, — получил «абшид», то есть, по-современному, «удостоверение личности».

II

Через несколько дней пошел Каин на красную площадь и встретил там нечаянно девку купца Филатьева. Обрадовался, благодарить стал:

— Мне бы без тебя от того медведя ни в жисть не вывернуться... Уж погоди, в должниках перед тобой ходить не стану. Авось и пригожусь, службу сослужу...

А девка разомлела от ласковых слов, — к тому ж, как известно, сердечно неравнодушна к Каину была. И призналась, что купец, откупившись от наказания и возвратясь домой, поручил ей приглядывать за кладовыми палатами. В сундуках там чего только нет, и если Каин пожелает наведаться, она ему путь покажет.

Каин поблагодарил, ответствовал, что посоветуется с товарищами, а может, и пожалует как-нибудь.

Наутро Каин купил живую курицу и, подойдя к забору дома господина Татищева, что прилегал к купеческим палатам, перекинул курицу через забор в татищевский огород. Курица закудаhtала, поскокала по грядкам, а Каин стал в дверь стучать. Объяснил дворнику, что, дескать, курица у него из рук вырвалась и в огород залетела и он просит разрешения ее в огороде поймать. Дворник, ни о чем не подозревая, позволил Каину войти во двор и курицу ловить. Каин вроде курицу ловил, а сам зорко выглядывал, как к окнам купеческим подобраться. Наконец поймал Каин курицу, попрощался с дворником и заспешил к своим товарищам, поскольку план у него уже полностью созрел.

За полночь, подкравшись к зарешеченному окну, раздвинули воры прутья и влезли через окно в дом. А там уже девка ждала их и путь к сундукам свечою указывала. Богатая добыча выпала: деньги, серебро, а Каин еще скрытно для других припрятал шкатулочку, обитую бархатом, а в шкатулочке той бриллиантовые вещи находились.

После пребывания в Тайной Канцелярии стала мучить по ночам бессонница Филатьева. Сны снились короткие, но дурные: то его на дыбе распластывают, то мертвый солдат приходит и норовит в колодце, как в постели, улечься. От малейшего ночного шороха вздрагивал купец. И когда в злополучную ночь послышался ему шорох по дому, перекрестился он на икону и выглянул из своей комнаты в окно. И сразу приметил, что какие-то людишки, друг другу подсобляя, через забор кувыркаются. Бросился купец к сундукам, а они с места сдвинуты; открыл — а там пустота зияет. Поднял тревогу, сонные слуги сбежались, он их послал в погоню за грабителями. Побежали слуги за ворота по разным проулкам.

А Каин с товарищами, волоча награбленное, углядел: вдали, возле купеческого дома, факелы мелькают, люди перекликаются. Понял, что не уйти ему на такой тихой скорости, если погоня по его следам обозначится. И, долго не размышляя, зарыл в жидкую придорожную грязь краденое, а сам с товарищами налегке всюю припустился.

До изнеможения убежали, а потом у дома генерала Шубина осенила Каина новая неожиданная мысль.

— Стой, — сказал он товарищам, — сейчас я человека из этого дома выманю, вы его в тулуп закатайте да свяжите, а с остальным я сам управлюсь...

Постучал Каин в ворота, дворник недовольно просунул голову в слуховое оконце:

— Чего посередеь ночи шумишь?

— А то шумлю, что у вашего дома человек лежит: может, пьяный, а может, мертвый.

Дворник ворота раскрыл, вышел поглядеть, что за случай учинился, а ему тем временем сотоварищи Каина тулуп на голову и ноги-руки веревками перетянули.

А после вместе с Каином, отомкнув конюшню, вывели пару лошадей, запрягли в карету и поехали, как важные персоны, не торопясь, по улице.

Догоняют их слуги купеческие — мол, так и так, не узрели ли мошенников гнусных, татей полуночных, ограбивших дом его степенства купца 1-й гильдии Филатьева.

Один из грабителей строго выговорил:

— Их сиятельство после государственных дел изволит домой почивать ехать, а вы в исподнем носитесь и взгляд его не радуете... Исчезните, яко воск от лица огня!

Преследователи сочли за разумное более вопросов не задавать и продолжить свои поиски, а «берлин» достеленный заколыхался по улице.

Так постранствовав по городу до рассветного часа, возвратились воры к тому месту, где драгоценности и иные вещи припрятали. Вышел Каин из кареты, снял колесо и снова принялся надевать на ось. И, неприметно оглянувшись по сторонам, зарытое из грязи вытащил и в карету покидал. Ранние прохожие видели, как, закрепив колесо, ловкий возница вскинул вожжи и послушные кони вновь застучали копытами по булыжной мостовой.

Добравшись до безопасной местности, грабители бросили лошадей на произвол судьбы, а сами отправились на квартиру Каина.

Через несколько дней Каин снова повстречал купцову прислужницу, и она ему поведала удивительную историю.

Негодовал купец, когда преследователи ни с чем воротились. А Вонифатий волосы на себе рвет, словно больше самого купца переживает да и нашептывает купцу: мол, не иначе как девка в сговоре с грабителями значилась, ибо одним им не одолеть бы такую затею было. Вызвал купец полицию и объявил, что девка у него на подозрении. Заплечных дел мастера девку прихватили да стали выznавать о ее прегрешениях: плеточкой по белому телу выхаживались, на дыбе немного подержали. Но девка, не в пример женскому полу, на редкость твердой оказалась, одно твердила, кусая от боли губы:

— Ничего не ведала, спала беспробудно, а как шум устроился, так и проснулась...

На сей раз ничего от нее в полиции не добились и с миром, растерзанную и несчастную, отпустили домой.

Купец как увидел ее такую, впал в уныние, ибо уразумел, что отдал невинную христианскую душу собственноручно на заклятие и за грех этот гореть ему в адском пламени. Перво-наперво он отслужил молебен во здравие девки, а во-вторых, спросил, что ее чистой душе желательно. А ее чистой душе желательно было замуж выйти, про что она и сказала купцу. А у купца как раз был молодец на примете. Запутался в долгах у купца, как в тенетах, молодец — рейтар лейб-гвардии конного полка Нелидов. Ему-то и готов был простить долги купец, если он девку в жены возьмет, а девку само собой обещал иа волю отпустить. Чего ради спасения своей грешной души не сделаешь!

Рейтару девка приглянулась, да и долги одним махом скидывались — так за чем дело? И поженились девка с рейтаром.

Выслушал Каин эту историю, и даже слезы у него на глазах навернулись — и оттого, что было жалко девку за мучения ее, и оттого, что за ее новую судьбу порадовался. И будучи по натуре своей человеком отзывчивым — вытащил Каин из кафтана бархатную шкатулку с бриллиантами и подарил девке со словами: «Мир и радость дому вашему!» А потом, чувствуя, что есть какая-то незавершенность во всем этом, зазвал молодицу в винный погреб, где значился завсегдаем. И был этот погреб единственным местом на

земле, где Ваньку Каина называли Иваном Осиповичем, поскольку он всегда щедро платил, и за то почитали его.

Выставили им штоф, да поросеночка заливного, да калачей, да снедь всякую. И уговорил Ванька молодицу стопочку пригубить, а там и еще отведать, а там и во здравие семейства будущего... А молодица нрава решительного была не только в полицейских застенках, но и в мужском обществе, и потому стала она в винном погребе «царицей бала»... А как настало время уходить, глядь — не может молодица сама стать на белы ноженьки. И Каин, как кавалер при определенных обстоятельствах, взялся ее проводить до дому.

Рейтар Нелидов радости не проявил, увидев свою жену в обществе веселого молодчика.

— Кто таков? — с вызовом спросил он.

Жена пыталась объяснить, что они вроде как «товарищи по прежней совместной работе», но, как свидетельствует старинная книга, Каин и здесь нашелся и заявил четко, с солдатской прямоотой:

— Я не вор и не тать, а на ту же стать, но обо мне не сомневайтесь, я имею абшид из Тайной Канцелярии и прошу у вас позволения переночевать, потому что время позднее, а до моей квартиры далеко, а абшид мой можете взять себе до утра.

Такая речь произвела на рейтара Нелидова серьезное впечатление, и история подтвердит, что наутро они расстались друзьями.

III

На пасху бойкий торг наступил в колокольном ряду гостиного двора. Выбирали горожане колокола, колокольцы, колокольчики, звоны их пробовали — такой благовест разносился в ясном и бодром весеннем воздухе. Торговцы, чувствуя оживление покупателей, товар нахваливали, сами медью трели выводили. Шел Каин по гостиному, и у самого от звона сердце радовалось, потому что не просто шум был, а каждый купец на свой лад выставлялся. А вырученные деньги купцы в лавке пересчитывали да и покладали их возле себя под рогожею. Вот это-то Каин и заметил пуще всего. В какой-то момент несколько купцов из соседних лавок вышли на прихожую часть перемолвиться друг с другом, а Каин тотчас прыгнул в лавку, кулек с деньгами из-под рогожи выхватил и пустился наутек.

Купцы увлеклись разговором, не обратили внимания на молодца, а торговка-пирожница всполошилась, руками замахала: «Люди добрые! Грабят!» Купцы всей своей компанией — вдогонку рванулись, а Каину среди людской толчеи несподручно бежать. Тут его и настигли разъяренные гостинодворцы. Приволокли в свою контору и, особо на полицию не надеясь — сами знали, что откупиться можно, — собственноручно одежду с него сорвали, абшид изъяли, на шею цепь надели с огромным замком и ремнями полосовать принялись.

Каин скрючился от боли и, не думая о последствиях, а лишь о том, как бы мучения прекратить, закричал:

— Слово и Дело Государево!

Купцы приостановились, — серьезная причина коли, лучше не встречать. И, не медля ни минуты, отвели Каина в канцелярию сыскной команды к господину полковнику Редькину. Полковник приказал посадить Каина в тюрьму вплоть до прибытия высокого начальства.

Здесь и проявил себя Камчатка, друг сердечный. Накупил он сдобных калачей и под видом благодетеля пришел в тюрьму и стал милостыней оделять колодников, что в ту пору властями разрешалось. А как до Каина очередь дошла, протянул он ему два калача — в одном серебряные деньги спрятал, а в другом — отмычки. Протянул и шепнул ему на мошенническом языке:

— Трюка калач ела, страмык сверлюк страктирила... — что в переводе на общерусский значило: «Ключи в калаче, открой замок».

Каин достал отмычки и деньги, принял самый благодушный вид и, потягиваясь, обратился к караулящему драгуну:

— А в самый раз винца пропустить для укрепления духа, — и сам в кулаке серебром позвякивает.

Драгун рукой по усам провел, словно винные капли сбросил.

— Облегчи участь, служивый. И сам жажду утолишь, — слезливо канючил Каин.

Драгун согласился, ибо, при всей строгости наказания, содержали заключенных с поблажками.

Выпили они с драгуном, а потом, вполне естественно, попросился по нужде Каин. Драгун сопроводил Каина, а сам остался у входа ждать в предвкушении новой выпивки. Каин же цепь отмычкой разомкнул, доску из стенки выставил и побежал...

Ждал, ждал драгун, после засомневался, вошел в сортир и, увидев выломанную доску, мигом сообразил, в чем суть. Поднял всю караульную команду, и по городской улице солдаты бросились догонять Каина. И уже почти схватили, но внезапно Каин завернул за угол и попал в месиво кулачного боя. Стенка на стенку шла, смешивалась, как волны, двигались бойцы туда-сюда. Каин между ними зашнырял — а там и след его простыл. Выскользнув из молодецкого побоища, Каин через постоянные дворы выскочил к Макарьевской пристани и, увидев топящуюся баню, сразу унял дух и без заполошности, степенно проследовал в нее.

Разделся Каин аккуратно в предбаннике, одежду стопочкой сложил, чтобы суетливостью в глаза людям не бросаться, и в парную затопал, но все же для осторожности глянул в оконце. Глянул в оконце, а там — боже ты мой — солдаты в обхват баню берут, ровно как на неприятеля наступают. Сообразил Каин, по «чью душу солдаты рыскают». «Попался», — оборвалось внутри, но не из таких людей был Каин, чтобы мгновенно опустить руки.

Схватил свою одежду в предбаннике и незаметно закинул в темный угол под полку, а сам, как был голышом, выскочил с криком из бани, да и мимо солдат вприпрыжку прямо на гауптвахту к караульному офицеру. Одной рукой срам прикрывая, а другой себя в грудь бия, застонал Каин, что он, мол, обкраден в бане, все деньги вытащили и паспорт, данный московским магистратом. Офицер несколько опешил, лицезря столь странную фигуру, но решение принял скорое: дать Каину солдатскую шинель для прикрытия наготы и отослать в канцелярию сыскной команды.

Стоя перед полковником Редькиным — а это оказался он, — Каин хоть и босоног был, но обрел бравый вид в солдатской шинели: «Так, мол, и так, ваше высокородие, я московский купец, приехал с товарами, пошел с устатку в баню помыться...» И далее поведал все, как и караульному офицеру.

Полковник слыл человеком строгим, сразу на веру слова Каина не принял и приказал подъячему допросить с письменным изложением обстоятельств.

Каин, взглянув на испитое кувшинное рыло подъячего, смекнул, с кем дело имеет, и шепнул по-свойски:

— Будет тебе муки фунтов десять с походом, — что значило на воровском языке: «Будет тебе кафтан с камзолом».

Подъячий понял и не столь истину выяснял, сколь свел допрос к перечислению оправдательных моментов. А далее — по всем правилам допрос оформив, доложил полковнику, что чист в помыслах и поступках несчастный московский купец. Но, подозрительный человек, полковник Редькин велел подъячему поехать с Каином на ярмарку и там удостовериться — вправду ли купцы на ярмарке его своим товарищем считают.

Попали они, конечно, не в торговые ряды, а в известный винный погреб, где соратники Каина, выдав себя за купцов, приветствовали Каина, одежду ему принесли и доброе

угощение на стол выставили. А подъячего они потчевали усердно, о своих торговых оборотах рассказывали и, расставаясь с ним, десять рублей подарили.

Подъячий, возвратись с Каином в канцелярию, заверил полковника, что ярмарочные купцы признали Каина и в чести его ручаются.

Полковник разрешил идти ему на все четыре стороны, да еще по слезному молению Каина дал ему новый паспорт взамен якобы украденного — на два года с канцелярской печатью и собственную роспись совершил.

IV

Так и текла жизнь Каина, полная хитроумных приключений, мошенничества, обмана. И однажды снизошло на Каина озарение.

Старинная книга так описывает это внутреннее душевное его состояние:

«Едучи дорогою, пришел Каин в раскаяние, размышляя сам с собою, что хотя до настоящего времени ему во всем счастье способствовало, но может статься, когда-нибудь, оставя его, предаст достойному наказанию, потому что нет ничего на свете неколебимого и твердого, нет постоянного; только одни превратности и суета составляют его; притом же пришло ему на мысль и то, что многие славные разбойники, как-то: Стенька Разин, Хлопка, Чертов Ус и другие сколько ни имели успехов, но наконец прекращали жизнь свою по достоинству дел своих, позорною смертью. И так рассудивши хорошенько о последствиях, ожидающих его, он решился бросить позорный промысел и сделаться честным человеком...»

А теперь посмотрим, во что вылилось такое благое намерение.

Деньги у Каина водились, и поселился он у знакомого ямщика в Рогожской ямской слободе. К какому-нибудь полезному делу Каин не был приучен, и потому, оставив воровство, ввергся он в развеселую гульбу. Друзей-приятелей приглашал, пил-буянил с ними, в карты садился играть и проигрыш свой никогда не задерживал. Проходимцы в нем души не чаяли, потому что завсегда были для них у Каина и чарка, и пирог с визигой. Да и прекрасный пол находил в обществе Каина всемерное утешение. Вроде вполне доволен был Каин, как жизнь движется, но... дохода не стало, а расходы прибавились, ибо сладкая жизнь тем слаще, чем заливицей серебряный звон в кошельке.

И наступил день, когда друзья-приятели перестали стучать в ворота, прожигая своими искрометными ласковыми улыбками; а первейшие красавицы полуночных переулков утрачивали интерес к Каину по мере оскуднения его застолья и благодетельствований.

И такое двуличное отношение к себе вводило Каина в расстройство, обиду и даже печаль.

Но он не просто печалился, а зрел в его неутомимом мозгу новый потрясающий план жизни.

От дружка своего, разбойничьего атамана по прозвищу Заря, знал Каин, что каждый год в конце осени из разных краев государства съезжаются воровские партии для закупки пороха, ружей и иных надобностей. Знал Каин и те места, где они имеют пристанище.

И осенним пасмурным днем Каин, поеживаясь на пронзительном ветру, обошел потаенные жилища, и его всюду по условленному стуку впускали, потому что имя его известно было. Приезжие жулики его с уважением принимали и чарочку предлагали, от чего Каин не отказывался по причине зябкой погоды. Целый день совершал свой обход Каин, а вечером, удостоверившись, что все залетные птенчики по гнездышкам сидят, вернулся к себе домой, запер дверь и глубоко задумался.

А наутро восстал Каин со сна, надел платье поприличней и с озабоченным выражением лица отправился в сенат, остановился возле крыльца и стал дожидаться господ сенаторов. И как только увидел роскошную карету, подскочил к распахнувшейся дверце и, узнав по облику сенатора князя Кропоткина, протянул ему записку. Князь, мельком глянув на

Каина, подумал, что это какой-то докучливый проситель, и, сунув записку в карман, значения ей не придал.

Бедный Каин, околочен и кляня свою судьбу и даже замысел свой, проторчал подле сената несколько часов, а потом, когда уже невольно сделалось, расспросил у людей князя Кропоткина, где его дом, и, запомнив улицу, поплелся домой. А через день, отдышавшись и отлежавшись, явился Каин прямо на княжеский двор и попросил адъютанта доложить, что привела его к князю большая государственная надобность.

Князь, откушав и ополоснув рот мадерой, был в хорошем настроении и милостиво разрешил челобитчика допустить.

— Кто таков? — для антуража хмуря брови, спросил князь.

— Я тот, кто записку вам подавал... А еще я вор и разбойник, в чем приношу свое глубокое сожаление, — смешался Каин.

При этих словах лицо князя удлинилось и рука невольно потянулась к колокольчику.

— Что ж тебе от меня нужно? — с некоторым беспокойством спросил князь.

— Да вы не сумлевайтесь, — стал обретать Каин свою обычную расторопность, — от моего бывшего воровства и разбойства вы только выгоду поиметь можете. Я все московские пристанища этих злоумышленников ведаю и, коли получу от вас хорошую команду, подчистую их переловлю...

Князь сильно заинтересовался предложением Каина и взволновался, потому что разбой в городе, как пожар, разрастался, а князь Кропоткин, хоть и отвечал за его искоренение, ничего поделать не мог. А тут такой случай! Рискованно, конечно, а вдруг... на дыбу-то его вздернуть всегда можно. И он улыбнулся широкой, но снисходительной улыбкой, приказал слуге поднести Каину рюмку вина, выдать ему солдатский плащ и еще распорядился, чтоб в будущую ночь команда сыскаго приказа во главе с Каином отправилась на выполнение особо ответственного задания.

После полуночи Каин «яко тать в нощи» нагрязнул с командой по всем воровским приютам. Он постукивал условленным знаком в двери, скрежетали засовы, выглядывали взлохмаченные спросонья головы, позевывали: «Чего посередь ночи-то?» Каин на размышления времени не давал, створки двери разводил, врвался с солдатами. Вязали солдаты разбойных молодцов, испепеляюще взирающих на Каина.

По свидетельству старинной книги, улов Каина и его команды был:

«1. Близь Москворецких ворот в Зарядье в доме у мещанина взяли вора Якова Зуева с товарищами двадцатью человеками.

2. В Зарядье же, в доме ружейного мастера поймали воров: Николая Паву с товарищами пятнадцатью человеками.

3. Близь порохового цейхгауза, в доме дьячка, поймали воров и мошенников сорок пять человек.

4. За Москвою-рекою, в Татарских банях, беглых солдат шестнадцать человек и при них несколько ружей и пороху, которые, по приводе их в сыскаго приказ, винулись, что они имели намерение разбить живущего в Сыромятниках, в крепостной конторе досмотрщика Авраама Хузякова.

5. На Москве-реке, против устья реки Яуза, взяли на стругу беглых бурлаков с фальшивыми паспортами семь человек».

Ошеломляющий успех Каина поверг в неопикуемый восторг князя Кропоткина. Каин был принят им сразу после облавы, на заре, сидел на стуле, грязный, с синими подглазьями от бессонья, с лихорадочным румянцем. Князь Кропоткин ласково его оглядывал, словно свое творение, и уже предвкушал царскую милость себе за великое искоренение злоумышленников. Тут же на заре составлен был рапорт в правительственный сенат и удивленным сенаторам представили не только рапорт, но и самого Каина. К тому времени Каин уже помылся, побрился, волосы расчесал, оделся скромно, но с достоинством. Каин чиниться не стал, а прямо на колени бухнулся перед

важными господами, в грехах каялся и наперед обещал всех чернодушных людишек из столицы повытрясти.

Сенаторы уразумели сразу выгоду государству.

— Грехи твои немалые, но и искупление под стать им будет. Освободишь от воров город православный — богоугодное дело сотворишь.

И вынесли сенаторы постановление, наверное единственное по своеобразию в истории российского сената: простить Каина и даровать ему свободу; определить Каина в московские сыщики; выделить военную команду в сорок пять человек солдат, при одном сержанте, а Каину при сей команде быть как бы обер-офицером, но без официального утверждения таковым.

А сверх того в полицейскую канцелярию и в сыскной приказ посланы были указы сената оказывать Каину всяческое «воспоможение».

V

В старинной книге есть одна сентенция, которую не могу не предпослать этой главке: «Любовная страсть живет не в одних благородных сердцах, но и простые люди также ею заражаются».

Как можно читателю предположить, — влюбился Каин. Но влюбился и вел себя по-своему, по-каиновски.

Еще до того, как стать сыщиком, снимал Каин квартиру рядом с квартирой отставного сержанта. А у сержанта дочь была: пригожая, чернокошая, кровь с молоком девица. Потерял покой Каин. С сержантом накоротке сошелся, а будучи вхож к нему, начал дочери всяческое внимание оказывать, подарки дарить под предлогом неизъяснимой привязанности вообще ко всему сержантскому семейству. Девушка, конечно, смекнула, что не ради хромоногого отца сосед к ним навевывается, но Каин не приглянулся ей, «не показался», как она себе говорила, и держала она его на отдалении, не поощряя ни взглядом, ни чем иным. Но от этого чувство в Каине не исчезло, а только мучительно затаилось и жгло душу, как раскаленные уголья над пеплом.

Едва лишь произвели Каина в сыщики и свою значительность он почувствовал, принялся, как бравый воин, готовиться на новый штурм красавицы. И явился однажды в дом сержанта фронт франтом, он по улице шел и улавливал, что там да сям занавесочки лилейными ручками откидываются и молниеносные восхищенные взгляды устремляются к нему. А и впрямь молодцом казался: в платье немецком, волосы подвитые, пудрой припудрены... И за ним, как почетная свита, семеро солдат из команды его полукругом шествуют. Вошел он к сержанту, оставив солдат под окном для величия своего, сержант ахнул даже при виде Каина. Куда усадить — всяко место недостойно такого важного господина. Однако Каин, как демократ в душе, сказал, что он и постоять может и в доме сержанта он чувствует себя как во храме, потому что в нем богиня есть. И очи долу свел, кудерками тряхнул и молвил отцу-батюшке, что любит он Евпраксию и просит смиренно руку ее. «Да мы за счастье почтем», — сразу заявил отец и потянулся к иконе, чтобы благословить, пока столь завидный жених не раздумал. Но Евпраксия руку отцову отвела и заявила твердо, что не пойдет она за Каина, пусть хоть он знатен и богат теперь. Отец-сержант креститься стал, дыхание перехватило, как в последний миг перед Полтавским сражением, а Каин словно ударом грома в чистом поле был поражен. Отвергнуть его, перед которым заискивают офицеры и склоняются лютые разбойники! Нет, такого душа его вытерпеть не могла. Он молча поклонился и, пылая гневом, во главе своей верной команды покинул оскорбивший его дом.

Но не таков был Каин, чтобы только страдать в оскорбленном самолюбии. «Будет она моя», — сурово сказал он сам себе и крепко задумался и начал в уме разрабатывать коварную баталию.

Некоторое время назад напал Каин на след фальшивомонетчиков и вскоре поймал фабричного человека Андрея Скоробогатова с семнадцатью сообщниками, которые и делали эти фальшивые деньги. Вспомнил о нем Каин, отправился в сыскной приказ и попросил с ним свидание якобы по служебной надобности.

— Могу тебе свободу исходатайствовать, — заявил он Скоробогатову, — только и ты должен мозгами пошевелить.

— Приказывай, отец родной, все исполню припеваючи.

— Припеваючи не надобно, а надобно, чтобы поведал на допросе, что те деньги, которые ты со товарищами преступно мастерил, передавал одной сержантской дочери для сбыта и был по ее алчной натуре беспрестанно подгоняем ею в своем преступнодействии...

Отпетый мошенник Скоробогатов вмиг согласился с предложением Каина, потребовал встречи с секретарем и все в точности сказал ему, как Каин велел.

Тотчас послали солдат за дочерью сержанта, дабы привели ее в сыскной приказ. Секретарю обольстительная девица весьма понравилась, но был он человеком предрасположенным к служебному продвижению. А потому все свои личные чувства он потушил и суровее, чем и надо было, спросил ее, куда она на размен фальшивые деньги носила.

Ошеломленная девица твердила в слезах, что ни о чем ведать не ведает, а секретаря ее запирательство еще больше злило. К тому же примешивалось огорчение, что такая вальяжная девица выскальзывает у него из рук и кому-то непременно скоро достанется. И, следуя без поблажек законной инструкции, приказал он ее допросить под плетьюми и до тех пор допрашивать, пока преступление не раскроет.

Палачи, ведущие допрос, сами люди разбойные, бездушные и безнравственные, находили в мучениях своей жертвы противоестественное удовольствие и потому тоже не скоро ее оставили в покое, впрочем не дождавшись от нее признания в злоумышлении.

Едва живая, была брошена Евпраксия, как настоящая злодейка, в тюремную камеру на соломенную подстилку, и был оставлен ей ломоть хлеба и кувшин воды.

На следующий день Каин, разузнав о страданиях Евпраксии, решил, что плод созрел, и теперь подставь только корзину, — он сам туда упадет. А проще говоря, послал он к замученной своей любви надежную и степенную сваху прямо в тюрьму. Сваха увидела Евпраксию в столь плачевном состоянии, что от всего сердца запричитала, руками замахала, опустила перед ней на колени, принялась кровоподтеки смачивать, ранки и ссадины промывать.

— Голуба ты моя разнесчастная, — подпевала слезно она, — в беде ты есть, да добрую и веселую весть я тебе принесла: как дашь согласие за высокого господина Ивана Осиповича замуж выйти, так под белы рученьки тебя отсель выведут и в церковку под венец мигом. А уж они, Иван Осипович, пылаючи сердцем, твоего согласия дожидаются.

Встрепенулась Евпраксия, пересохшие губы облизнула и, преодолевая боль, с норовом молвила:

— Никогда не соглашусь, не люб он мне!

Подивилась сватья упорству женскому, все свои речения на помощь призвала, а уговора не получилось. Даже жалости в сватье поуменьшилось, — надо же такой несговорчивой быть! Ушла она уязвленной, чувствуя, что нанесен урон ее репутации.

Но не таков был Ванька Каин, чтобы отступить.

Снова отправился он к фальшивомонетчику Скоробогатову и потребовал, чтобы снова он заявил о злосчастной девице, как о распространительнице фальшивых монет.

Нового допроса она не смогла выдержать. Подкупленные палачи, мучая ее, между собой переговаривались так, чтобы она слышала:

— Один Иван Осипович конец делу положить может. А иначе — помяни господи рабу божью в царствии своем.

Девина догадалась, откуда ее напасти, и, не владея собой, воскликнула:

— Да зовите же моего губителя, злодея Каина!

Палачи на ее грубый тон внимания не обратили, а Ваньку Каина тотчас известили, поскольку им за это известие еще толика мзды полагалась.

— Не хочу я быть твоею женою, да мучения меня к тому вынуждают, — обратилась девица к Каину.

А Каин только согласия добивался, другие слова без внимания оставил. Бросился он в сыскной приказ и доложил господам присутствующим, что-де он обнаружил новые обстоятельства и Евпраксия, девка, больше в глупости своей виновата, а не в содеянье закононарушения. Поскольку в сыском приказе к Каину прислушивались и ценили как серьезного оперативного работника, пошли ему навстречу и Евпраксию освободили, хотя напоследок и высекли кнутом для острастки, против чего Каин не возражал, памятуя старую истину: «Склеенная посуда два века живет».

Так вот Каин и женился.

Женился, да не остепенился.

Творил Каин дело правое и неправое: то грабителей ловил, а то выкуп с них брал и отпускал самолично.

Каин за выгоду свою держался, со своей сыщицкой службы видный доход поимел.

Однажды обокрали компанейщика Замятина в Петербурге двое жуликов и бежали с награбленным в Москву. А один из них по недогляду и забубенности попал в корчемную контору. Товарищ его сильно обеспокоен был, как друга из беды выручить. И решился он напропалую идти. Явился к Каину, выложил на стол триста рублей, поклонился в пояс. Ну и, естественно, все дело без утайки изложил. Каин от такого привара не смог отказаться.

Взял он сей же час несколько солдат из своей команды, нагрнулся в корчемную контору; еще сам не зная, как поступать будет. А на счастье его, оказался дежурный подьячий погруженным в глубокий сон.

Каин выявил невообразимое служебное рвение, возмущался нерадивостью служивого, повелел с него порты стянуть и розгами высечь, а сам в лад ударам приговаривал:

— На царевой службе такой позор! Не могу я наиважнейшего злодея под такой охраной оставить... Нет, подумать только — спать на царевой службе!..

Забрал Каин с собой беглого жулика, якобы для пушей охраны, и отвез не в тюрьму высокую, а к сообщнику, ибо соблюдал свое слово: деньги получил — сотвори за них все по чести, по своей, разумеется...

Немало можно было бы рассказать о такого рода проделках Ваньки Каина, да все они схожи между собою. Ловок был Каин, а и его настигла карающая рука судьбы. И опять произошли его страдания из-за женщины.

Любил он свою молодую жену, но текло время, и принялся он на иных женок поглядывать. Сходило ему с рук все, и уверовал он в свою безнаказанность.

И однажды, бражничая с товарищами, возгорелся он желанием увезти в дальние хоромы для любовной потехи жену полицейского Николая Будаева. Задумано — совершенно. И разудалая ватага Каина похитила женщину из дома, рванулись горячие кони — только снег из-под полозьев брызнул, и вот уже заплаканная красавица перед хмельными очами Ваньки Каина.

Но бравый полицейский не снес подобного оскорбления и подал в полицию челобитную о нанесении ему бесчестия. Сам генерал-полицмейстер Алексей Данилович Татищев, человек справедливый, пожелал допросить Каина. Каину бы покаяться и, учитывая его заслуги в сыске, его, может, и отпустили, но Каин стал заператься, отнекиваться, как теперь говорят, «интриги плести». Тогда повелел генерал отдать Каина под караул, а на следующий день, вновь призвав Каина, принялся уже его допрашивать в присутствии палачей, а у тех ременные кошки в руках не дремали. Каин уж и «Слово и Дело» закричал, но генерал в упрямство вошел и его крикам значения не придал. Перекочевал Каин, истерзанный и лишенный покровительства, в Тайную Канцелярию, а по сравнению с ней полиция райским местом считалась.

Потянулась веревочка — и вынужден был Каин во всех своих воровских делах, в бытность его сыщиком совершенных, признаться.

И наступил крах в головокружительной карьере Каина. Старинная книга скупно, но ясно свидетельствовала о сем:

«По совершенному исследованию высечена спина его кнутом, поставлены на лбу и обеих щеках обыкновенные таким людям литеры и вырваны ноздри, потом сослан он в каторжную работу в Рогервик, ныне называемый Балтийским портом».

И не ведает никто, где могила Ваньки Каина. Лишь прах воспоминаний клубится порою. Зачем я потревожил его бранный дух? Может быть, потому, что и в свои годы жизни я не однажды встречал людей и смекалистых, и разворотливых, и до дела жадных, но исчезали они по дороге моей жизни бесследно. А исчезали, наверное, оттого, что не было у них над головой звезды добра и душевной ясности, которая лишь одна способна указывать на земле путь человека и повороты на этом пути.

Шипка — слава моя и твоя

Славу Хр. Краславову посвящаю

I

Четверть века прошло с тех пор, как впервые, двадцатилетним студентом, я поднялся на Шипку. В долине было по-летнему тепло, алые бутоны роз пьянили ароматом, а на Шипке моросил мелкий дождь, и сурово проступали сквозь клочковатый туман потемневшие влажные памятники, артиллерийские орудия, плиты над могилами воинов. Шумные мокрые птицы вылетали из тумана, как из небытия, странно оживляя покой окрестностей. На душе тревожно и торжественно. И вдруг взгляд выхватил что-то красное на каменных ступенях памятника. Розы, стебельки с бутонами... В сумерках по склону горы спускались две женщины.

Я женщинам глядел вослед:
любовь какой должна быть силы,
чтоб целых семьдесят пять лет
носили розы на могилы.

Семьдесят пять лет! А теперь канун столетия освобождения Болгарии от оттоманского ига.

Не раз за эти годы возникала Шипка в моей жизни.

Одним из героев Шипки был генерал Ф. Ф. Радецкий. Это он с казачьими сотнями, стрелками, горными орудиями в самый критический момент боев, 23 августа 1877 года, появился на Шипке и помог ее защитникам отбить турецкие атаки.

В жестокие зимние морозы Ф. Ф. Радецкий командовал войсками на Шипке. Пройдя через тяжелые испытания, эти войска сумели разбить Венсель-пашу и взять в плен остатки его армии.

В частях Ф. Ф. Радецкого сражался и его племянник — поручик Павел Радецкий.

... На окраине села Шипка я набрел на заброшенное кладбище, где похоронены врангелевские офицеры, бежавшие в Болгарию и осевшие в селениях около Шипки. Бесславны были их дни в эмиграции, бесславна была и их смерть вдали от родины.

Среди оплывших земляных холмов, покосившихся крестов я увидел камень с едва различимой надписью: «Павел Радецкий, генерал-майор, участник Освободительной войны». Думал ли он, молодым офицером сражаясь на Шипке, что через несколько десятилетий престарелым белым генералом суждено ему будет лечь у ее подножия? Немного времени пройдет — рухнет наклонившийся крест, трава скроет осевший могильный камень — и не останется даже памяти о генерале. В эти минуты на исчезающем кладбище с какой-то жестокой обнаженностью предстали передо мной

жизненные пути людей, которые не захотели понять свой народ и попытались бороться с ним.

...Нынешней зимой Шипка встретила меня ледяным ветром, пургой, сугробами и наледями на дорогах. Самая ее высокая точка — вершина Столетова — в метельной замети. Мы с товарищем поднимаемся на вершину. Порывы ветра валят с ног, колючие ледяные кристаллики с маху секут лицо. Хоть на мгновение почувствовать тяготы давней военной зимы! Но ведь солдаты не только страдали от мороза, они вели непрерывную позиционную войну с неприятелем. Над ослепительными снегами гремели выстрелы, рвались снаряды. Летописец сообщает нам: «С 17 сентября до января Шипкинский отряд потерял убитыми и ранеными только семьсот человек, а заболевшими от холода и лишений девять с половиной тысяч человек. Особенно тяжело пострадала 24-я пехотная дивизия».

...С вершины Столетова в ясную погоду видны горы, леса и даже села, раскинувшиеся у подножия Шипки. Но сейчас вокруг лишь снег, снег, снег... Как тогда...

II

Власть старых документов — особая власть. Можно спокойно читать еще пахнущие типографской краской книги на исторические темы и спокойно вникать в «дела минувших дней». Но какое волнение на сердце, когда держишь в руках пожелтевшие, ветхие листки — живые свидетельства великих событий! По лаконичности слога, по неровности почерка, по сдержанности чувств угадываешь, какое напряжение владело тем, кто второпях набрасывал эти строки.

Рассматриваю документы в окружном историческом музее города Габрова. Они помечены июльскими, августовскими, сентябрьскими днями 1877 года. Какие это были дни для Болгарии! Рождалась в кровавых сражениях ее свобода, крепче любой стали выковывалась дружба русских и болгар.

Вот две записки, отправленные в село Паничарка председателем Временной комиссии по содействию русской армии:

«Габрово, 2 июля 1877 г.

Требуются умные люди, которые знают путь по Балканам. Таких людей выберите 5 человек и приведите их сюда в Габрово в 12 часов утра».

«Габрово, 2 июля 1877 г.

Здесь комиссия извещает жителей деревни, что для перевозки продуктов питания для русских солдат и фуража для коней необходимо иметь в городе много подвод и коней, поэтому приказываю послать как можно скорее сюда пять подвод с мешками...»

Что же происходило в Габрове и его окрестностях в те дни, когда председатель Временной комиссии отправил эти записки?

Первого июля по старому стилю прибыл в Габрово полковник Орлов, командир 30-го Донского казачьего полка. Он послал к Шипкинскому проходу по шоссе разъезд из семи казаков. В десяти верстах от города они натолкнулись на шестисотсабельный турецкий отряд. Полковник Орлов отдал приказ отремонтировать шоссе, по которому русским войскам предстояло двинуться навстречу неприятелю, и в тот же день на дорожные работы вышли пятьсот болгар.

Четвертого июля Шипкинская позиция врага была неудачно атакована с севера Габровским отрядом генерала Дерожинского. На следующий день турки отбили атаку и южного отряда. Летописец сообщает: «Успехом турки были обязаны одной военной «хитрости». Чтобы выиграть время для привлечения своих резервов, они прекратили огонь и подняли белый флаг в знак того, что сдаются. Когда же русские приблизились, они снова открыли огонь. Эта «хитрость» стоила жизни многим бойцам, в том числе и командиру атакующих стрелков славной 4-й бригады полковнику Климантовичу».

Шестого июля председатель Временной комиссии в Габрове посылает записку в село Паничарку: «Завтра, лишь рассветет, все мужчины и женщины должны прийти к управе, потому что будет прокладываться дорога».

Неизвестно, в котором часу 6 июля отправил председатель эту записку, но известно, что в тот же день, в 13 часов, преодолев сопротивление врага, колонна генерала Скобелева поднялась на самую высокую вершину Шипки — Святого Николая, ныне Столетова.

Донныне сохранились военные дороги, прорубленные тогда в лесах топорами, расчищенные киркой и лопатой.

Однажды поздним летом я вышел из села Шипка и тронулся в горы по старой русской дороге — она и сейчас так называется по-болгарски: «стария руски път». Редко кого встретишь здесь: разве что пересечет дорогу отара овей или влюбленная парочка укроется в придорожной сосновой тени. Щебень, выцветшие белые камни завалили дорогу. Густая сочная ежевика пробивается среди камней. Развалины турецких караульных вышек, еще сохранившиеся ложбинки окопов. Солнце печет немилосердно, а путь к вершинам все тяжелей, все круче. Иди и думай, как шли здесь русские солдаты с ружьями за плечом, как, обливаясь потом, дружно помогали лошадям тащить орудия. А сверху дорога просматривалась турецкими стрелками, и не один русский солдат пал на этих раскаленных солнцем скалах.

Знаменитые августовские бои на Шипке. Записки председателя приобретают характер приказа: «Габрово. 1877. 14 августа. Как получите извещение, нагрузите три подводы соломой и, кроме них, найдите еще пять подвод пустых и пошлите их к управе. Если не выполните, строго будете наказаны». Наверно, последняя суровая фраза излишня. Именно о тех днях свидетельствует историк: «Известно, что во время эпических августовских боев на Шипке около тысячи болгар обслуживали позиции. На мулах, ослах, лошадях в бочках и кувшинах они доставляли воду русским солдатам и болгарским ополченцам. Они достигали самых отдаленных позиций, двигаясь под убийственным ружейным огнем. Многие животные были убиты, некоторые болгары были ранены, но это не уменьшало их усердия. Только 23 августа героические болгары несколько раз поднимались на позиции и привезли около шести тысяч бочек с водой».

Вновь обращаюсь к последней записке: «...нагрузите три подводы соломой...» На эти подводы предполагалось укладывать раненых и отправлять их в габровские госпитали.

Мария-Госка Стефанова, сотрудница Габровского музея и неутомимый собиратель реликвий эпохи Освобождения, сказала мне:

— Есть у нас еще одна записка на русском языке. Написал ее русский офицер и послал в Габрово непосредственно с позиций на Шипке.

— Покажите, пожалуйста!

Она, к сожалению, написана очень неразборчиво, не все слова мы смогли прочесть...

Волнение мое усилилось; еще не прочтенный и не опубликованный документ с самой Шипки!..

И вот держу, почти не прикасаясь пальцами, листок. В левом углу его дата: «26 сентября 1877 г.» и слова: «Позиция на Шибке» — так по старому правописанию.

Что за жизнь текла на Шипке в конце сентября 1877 года?

В старой книге о шипкинской эпопее читаю бесстрастные строки: «После августовских боев наступило затишье. Только один раз еще, 17 сентября, Сулейман атаковал Шипку. Его войска воспользовались темнотой ночи, подошли к русским позициям и атаковали вершину Святого Николая и фланговую высоту. Защитники, застигнутые врасплох, с трудом удержались. В этом бою русские потеряли тысячу человек. Позже турки уже не делали ни одной попытки занять Шипку, а ограничивались непрерывной стрельбой, рассчитывая, что эта стрельба и зимний холод заставят русских оставить перевал без боя. Но расчеты их оказались ошибочными. Вопреки крайне неблагоприятным условиям — страшным бурям, холоду, отсутствию теплой одежды и пр. — русские удержали позицию и зимой, до того дня, когда турецкая армия Сулеймана попала в плен 9 января 1878».

Разбираю по буквам записку вместе со своим товарищем, болгарским поэтом Андреем Германовым, топким знатоком русского языка.

«Окружному начальнику г. Габрово. В виду особенной важности укрыть порох от дождя, прошу Ваше Высокоблагородие завтра к 6 часам утра выдать подателю сей записки 10 (десять) воловьих подвод. Поручик Самойло.

№ 80

26 сентября 1877 г.

позиция на Шибке».

...Моросящий, нескончаемый дождь над Шипкинскими высотами, тяжелые свинцовые облака, задевающие вершины гор, снаряды шмякают в раскисшую землю, с каждым порывом ветра ворох листвы срывается с ветвей и пестрым роем катится по склону. На снаряжном ящике, согнувшись, прикрыв ладонью от капель дождя листок бумаги, составляет поручик Самойло записку начальству в Габрово. Пороховые запасы укутаны солдатскими шинелями, но так не должно быть. Порох нужно отвезти в надежное укрытие.

«Братец, — обращается поручик к солдату, — скачи в Габрово, передай...» Ждет поручик, ждут батарейцы. Они еще не знают, что председатель Временной комиссии уже наложил резолюцию на записке: «Дайте этому солдату десять подвод. 27 сентября 1877 г. Габрово».

Каким он был, этот поручик? Судя по фамилии, украинец, из отчих яблоневых садов пришедший в суровые скалы Балкан. А может быть, он познакомился на Шипке со своим ровесником, пехотным поручиком из отряда Радецкого, моим дедом Николаем Шестинским? История не запечатлела их скромных имен в своих анналах, но в солнце болгарского Освобождения есть и свет, вспыхнувший от их солдатской страды.

Ш

Мой давний знакомый, сержант милиции Тошко Гостев, несущий службу на Шипке, говорил мне с десятков лет тому назад: «Знаешь, в селе Зеленое Дерево живет старик. Во времена русско-турецкой войны мальчонкой был, помнит кое-что...» Мне тогда не удалось повидать старика. Спустя пять лет, когда я снова попал на Шипку, Тошко развел руками: «Умер дед...»

Ныне не осталось в живых ни одного болгарского ополченца. Но жив кое-кто из их детей. Хотя естественно, что и дети — это убеленные сединами старцы. Я искал их повсюду. Каждое их воспоминание о жизни отцов, об участии отцов в Освободительной войне живо и непосредственно соединяло меня с той великой эпохой.

В Габрове я познакомился с Илием Габровским, сыном ополченца. Мы поехали с ним в предместье — на кладбище, где похоронен его отец Иван Габровский. Кладбищенские тропы — в гололеди, мы шли медленно, скользили по обрушенным гранитным надгробиям...

Из-под стекла с фотоснимка bravo смотрит на нас молодой ополченец. Заломлена высокая папаха с крестом. Плющ обвивает памятник, на оттаявшей земле пробивается пахучая мятная трава, предвестница ранней весны. Лицо у ополченца, застывшего перед фотографом, парадное, скованное, и все же в чертах этого лихого молодца можно уловить сходство со стариком сыном. Мой спутник обломил веточку плюща, наклонился, вырвал из земли стебельки мяты: «На память вам об отце...»

Рассказы Илии Габровского

Иван Габровский сражался против турок в 1876 году в Сербии. Когда война закончилась, узнал он, что в Плоешти создается болгарское ополчение, и отправился в

Румынию. Записался в четвертую ополченскую дружину, вместе с русскими войсками переправился через Дунай в июне 1877 года и двинулся маршем на Балканы.

Ополченские дружины спешили на помощь защитникам Шипки. Когда воинская часть, где служил Иван, проходила мимо его родного села Водици, он попросил ротного командира, майора Редькина: «Позвольте домой заглянуть... Пять лет родителей не видел...» Майор Редькин не отпустил: «Ждут на Шипке. Каждый солдат там на учете...»

Мать Ивана, бабка Стойна, узнала, что сын ее вместе с войском ушел на Шипку. Обрадовалась, что живой, что так близко от нее.

Затопила печь, раскатала тесто — напекла хлебов и пирогов. Достала из бочонка свежий овечий сыр. В длинногорлый глиняный кувшин нацедила домашней сливовой ракии. Уложила все в просторный крестьянский мешок, надела новую суконную юбку и тронулась в путь. В лесной темноте вздрагивала, слыша ружейную пальбу. Но радость не оставляла ее: ведь сын, которого столько дней и ночей прождала, где-то совсем рядом.

Встретился ей русский солдат: голова перевязана, лицо от пороха черное, пошатывается, спускаясь с горы. «Милый ты мой, болезный!..» — запричитала Стойна. Развязала мешок, отломил кусок хлеба, дала солдату отхлебнуть из кувшина глоток ракии. «Благодарю, мама», — сказал он, и Стойна удивилась, что поняла по-русски. Солдат заковылял вниз, к лазарету, а мать снова поспешила вперед по горной тропке.

Вскоре ей встретились еще двое русских: поддерживая друг друга, они осторожно спускались по крутому склону. Мертвенная бледность покрывала лица раненых. Каждый шаг причинял острую боль, и они глухо стонали. «Сынки, возьмите, силы-то и прибавится», — она протянула каждому по доброму ломтю хлеба и откупила кувшин. Солдаты ничего не ответили, только на их истрадавших лицах мгновенной благодарностью оживились глаза.

«А мой-то как там?» — с тревогой подумала мать и пошла еще быстрее, веря, что если она окажется возле сына, то ничего плохого с ним не сможет случиться.

Чем ближе к вершине, тем чаще попадались на пути окровавленные солдаты, и любящее материнское сердце не позволяло пройти мимо. Она снова и снова развязывала свой мешок...

А еще позже она заметила болгарина-ополченца, он был цел и невредим, спешил куда-то. Стойна крикнула ему вослед: «Земляк, не знаешь ли Ивана из Водици?..» — «Жив, мать, жив», — на ходу ответил ополченец. И мать с новыми силами устремилась вперед, повторяя про себя: «Только бы меня дождался, а там уж ничего плохого с ним не случится...»

Она дошла до позиций, увидела сына, прижала его голову к своему заплаканному лицу. Потом скинула с плеч мешок и достала оттуда лишь ломоть хлеба. «Всего и осталось, — растерянно сказала она, — все солдатикам раздавала по дороге... Ой, да как же я сыну-то своему не оставила ничего!..» — «Все они твои сыновья, мама», — спокойно сказал Иван. И тут только мать заметила, как он вырос, какая жесткая щетина пробивается у него на щеках и какая серьезность появилась во всем его облике, еще недавно сов сем мальчишеском.

Генерал Радецкий сообщал в главную квартиру зимой 1877 года: «На Шипке все спокойно». И верно: турки прекратили атаки. Но жестокие, до двадцати пяти градусов, морозы выводили солдат из строя. Десятки обмороженных каждый день поступали в габровские военные госпитали.

Пострадал от стужи и молодой доктор Янчич. Нога его была поражена гангреной, и никто не питал надежд на выздоровление. Ухаживала за ним юная сестра милосердия болгарка Тота Венкова. Ухаживала самоотверженно, романтически, с каждым днем все более влюбляясь в героя Шипки. Ока приносила ему домашнюю сдобу, писала письма его родным в далекий Киев и читала вслух «Летучий военный листок». Однажды, когда Янчичу стало совсем плохо, он попросил девушку: «Приведи к окну моего коня... Проститься». — «Какого коня?» — удивилась Тота.

А конь в конюшне не находил себе места. Денщик доктора Янчича сыпал в ясли отборное зерно, ходил за родниковой водой. Конь вяло хрупал зерном, то и дело недоуменно вскидывал точеную шею, словно спрашивал: «Где же хозяин?» Конь был белой масти, дончак, и кличка у него была необычная — Сережа.

...Резвым жеребенком в весеннем украинском селе подбегал он, задорно брыкаясь, к молодому человеку в белой рубашке и щегольской студенческой фуражке. Тот радостно улыбался жеребенку и протягивал на ладони колотые кусочки сахара. И жеребенок со степенностью взрослого коня осторожно прикасался к ладони теплыми шершавыми губами. Они подружились, юноша и жеребенок. И юноша назвал жеребенка, как товарища, — Сережа. «Где ты пропадал?» — спрашивала мать, глядя на вытянувшееся, обгоревшее на солнце лицо сына. «Да мы с Сережей раков ловили...» А из-за плеча сына выглядывала преданная, шумно дышащая в самое ухо жеребячья морда.

...Они и на войну отправились вместе. Не раз на задунайской земле спали, прижавшись друг к другу, вздрагивая каждый от своих снов.

В ту роковую ночь, когда Янчич отморозил ногу, не случилось рядом Сережи: отвели лошадей в предгорные конюшни. Санитары отрыли доктора, полузанесенного свирепой метелью, положили на носилки, а он спрашивал в полузабытьи: «Где Сережа?» Санитар наклонился: «Не могу знать, ваше благородие...»

...Денщик подвел Сережу к больничному окну. Янчич, приподнявшись на локтях, смотрел сквозь стекло в печальные и, казалось, все понимающие глаза коня. «Веселее, Сережа», — прошептал Янчич. Конь, сдерживаемый за узду денщиком, тянулся мордой к окну — не ржал, не махал хвостом, не рыл землю копытом... Лишь когда его стали уводить, он, изогнув круп, метнул на хозяина горячий взгляд и пронзительно заржал...

...За гробом вела белого коня под уздцы Тота Венкова. Она не плакала, шла отрешенно.

Были сказаны скорбные слова, прозвучал салют над свежей могилой. Офицеры, товарищи Янчича, увели девушку. Конь стоял неподвижно. Коня позвали. Коня потянули за узду. Конь не трогался с места. «Оставьте его, — сказал старший из офицеров, — верный конь скорбит, как верный товарищ... Сам позже придет...»

Конь остался один. Понуро склонил голову. Ледяной ветер дул ему в бок, изморозью засеребрилась шерсть. Хозяин был близко — конь это знал. Он согнул колени и приник к земле, схваченной морозом. Поземка крутила по широкому полю, снег колко бил в брюхо коня, холодил его.

Конь лег и закрыл глаза, потому что колючий снег царапал их, выбивая слезы...

Утром сюда пришла Тота и с ужасом увидела два холма, занесенных снегом. Один холм был большой и неровный по очертаниям — снежный гроб коня Сережи. Кладбища в то время там не существовало — лишь место определили для будущих захоронений. И поскольку земля не была еще освящена церковным обрядом, разрешили коня, боевого друга доктора Янчича, зарыть с ним рядом.

А какая судьба выпала Тоте Венковой? Она после войны уехала в Россию, окончила медицинский факультет и, возвратясь в Болгарию, стала первой женщиной-врачом на родине. Умерла она в 1921 году и то, что ей удалось скопить за долгую трудовую жизнь, завещала небольшой сельской больнице.

Замуж она так и не вышла.

IV

Покидая старое габровское кладбище, долго стоял я перед памятником Николе Войновскому, соратнику Христо Ботева в его легендарной борьбе. Я думал о Ботева.

На вершине Козлодуй в минуты боевого затишья он был сражен наповал шальной пулей. Неизвестно, где зарыт его прах. Но отблеск его могучего духа лежит на всех последующих поколениях болгар. Болгарская поэзия немыслима без тех шедевров, которые он создал. Христо Ботев был еще и глубоким мыслителем, историком,

политическим провидцем. Какая страсть, неистовство, какая мысль бушуют в его публицистике! За два года до Освободительной войны он писал: «Россия никогда не откажется от нас и никогда не позволит другим народностям унижить славянское имя». Он понимал, что болгарский народ всегда будет развиваться в тесной общности со всем славянским миром. «Славянские племена, т. е. славянство, будет жить вечно, — писал он. И добавлял — Все славянские народы должны найти взаимопонимание между собой». В политическом споре со своими лукавыми оппонентами, стремящимися уверить, будто Россия и русский народ не поддержат борьбу болгар за освобождение, он обрушил на своих противников гневную тираду: «Скажите, пожалуйста, кто тот русский, который поднимет свою десницу против православного славянина, страдающего под турецким игом в протяжении пяти столетий? Скажите нам, кто тот русский, который пожертвовал бы славянскими интересами для пользы габсбургской династии, принесшей до сего времени столько зла России? Наконец, скажите нам, кто тот русский, который бы отказался от своих собственных собратьев?..» Прекрасной верой в русский народ дышат эти строки. Когда я думаю об Освободительной войне, я мысленно представляю себе Христо Ботева среди защитников Шипки, среди штурмующих редуты Плевны, среди вступающих в будущую столицу Болгарии — Софию...

Двадцать восемь лет, всего двадцать восемь лет ему было, когда он погиб. В ранней юности одно из первых моих стихотворений было о Христо Ботеве:
Но близок мне берег гористый,
те птицы и шелест тех лип,
где Христо, великий ваш Христо,
юнацкою смертью погиб.

Эти строки были записаны в тетрадку тогда, когда еще был жив Георгий Димитров и всего четыре года прошло со времени установления народной власти в Болгарии, освободившейся от засилья фашизма.

V

Старинное село Недевци. Вдоль дороги дома, построенные еще в прошлом веке, обнесенные каменными стенами. Сырая погода, моросит дождь, переходящий в мокрый снег, — поеживаешься. Мы с Марией-Тоска входим в дом Дмитрия Минчева, сына ополченца. Ждем его в обширной комнате, где целый угол занимает очаг-камин. Жена Минчева, крепкая и проворная, приносит охапку хвороста и сучьев, бросает в камин, и вспыхивает могучее пламя, устремляется вверх.

Баю^[2] Димитру семьдесят восемь лет. Высохший, с седыми волосами, отливающими желтизной, он приближается, стуча палкой, к камину и садится у огня. Светлые когда-то глаза как бы подернуты пеплом. Он молчит, словно наши вопросы не сразу доходят до него, а продираются к сознанию, ломая какие-то препятствия. Медленно поворачивает голову, смотрит на меня пристально, не мигая, и говорит: «Из нашего села трое в ополчении служили. Да только один мой отец грамотным был: славяно-болгарское училище в Габрове окончил. Русские возле нашего села лагерем расположились, в местности Попска ливада... Князя Святополка-Мирского войска... Вон там, в горах, — старик чуть поднимает голову, — их кухни находились... Чай они очень любили, — вспоминает он, видимо, слова отца. — А в нашем доме, — он оглядывается по сторонам, — раненые лежали. Везде лежали. Отец говорил: и внизу, и на галерее, и здесь...»

И этот крестьянский дом вдруг предстает передо мной совсем иным, проникая сквозь пелену времени, вижу самодельные постели, матрасы, набитые сеном, снующих санитаров, бинты в бурых пятнах запекшейся крови... А во дворе, там, где сейчас на столбиках цветные детские качели, лежит, покрытый белой простыней, вытянув окоченевшие ноги, солдат. Батальонный священник осеняет его крестом.

Бай Димитр умолк, еще ближе подвинулся к огню.

Жена его шепнула мне на ухо: «Устал... Трудно ему долго говорить... Есть у него сундук, на большой замок закрыт, ключ у себя держит... Нам говорит: «Откроете сундук, как умру. А раньше не позволяю...» Я спросил: «Что же там может быть?» — «А там что-то, верно, есть и от отца его оставленное...» — «Ну, что поделаешь», — развожу я руками.

Мария-Тоска, обнаружившая имена почти всех габровцев-ополченцев, протягивает мне их список. Под цифрой 306 читаю: «Недко Минчев, с. Недевци, Габровско». Это отец нашего хозяина.

Хворост догорел, бай Димитр протянул ладони к углям, подержал их так немного, потом поднялся и, не прощаясь, вышел. «Замерз старик. Все в кожух нынче кутается», — как бы извиняясь, объяснила его жена. Мы стали собираться. Но в этот миг дверь раскрылась, и бай Димитр в наброшенном на плечи полушубке показался на пороге. Он подошел прямо к столу, достал из-за пазухи коробку, осторожно извлек из нее медали, памятные знаки: «Отца моего...» Бабка всплеснула руками: «Господи! Сундук открыл!..» Потускневшие от времени боевые награды. Вот медаль «На ополченците за Освобождението 1877—78 г.» («Ополченцам за Освобождение 1877—78 г.»). Что заставило бая Димитра нарушить свой запрет и показать семейные реликвии? Лицо старика бесстрастно, но что творится в его душе?

А старуха все не может успокоиться: «Господи! Сундук открыл!..»

VI

Мария-Тоска с огорчением рассказывала: «Село Зеленое Дерево находилось в самом центре боевых действий, не раз переходило из рук в руки. Все злоключения войны перенесли его жители. Жил в Зеленом Дереве мальчик Тотю. Было ему тогда восемь лет. Тотю вырос, стал учителем. И в тридцать лет написал воспоминания о своем детстве. Записки эти ревностно хранит его дочь: в музей не передает, не продает, копии снять не разрешает — боится, что потеряет. Но у нее дома я их читала — бесхитростные описания очевидца... Заглянем-ка к ней. Хоть полистаем».

И вот я держу заветную тетрадь. На титульном листе аккуратно выведено: «Тотю Зеленодеревский (учитель). Воспоминания из моей жизни. 12 февраля 1900 г.».

На этот раз Марии-Тоска удалось наконец уговорить хозяйку. Под расписку дала она на день старинную тетрадь, с тем чтобы сняли в Габрове фотокопии. Некоторые страницы фотокопии я увез с собой.

Турки в Зеленом Дереве

Это было в августе 1877 года. Солнце показалось на горизонте, когда со старшим братом Христо и сестрой Минкой мы пришли на ток. Мы ставили снопы для молотбы. Я был в длинной рубаше да старая шапка на голове. Едва взрослые начали молотить, как все увидели на дороге Цончо Кирёна; рядом с ним его единственный сын гнал стадо овец. Не успели они отойти от нас и на полтора шагов, как трижды прогремели револьверные выстрелы. Село потрясли крики и женский визг: «Бегите! Турки!» С первого выстрела турки убили Цончо, а мальчонка успел скрыться за большим камнем.

Это рассказывал сам мальчик, который и сегодня жив.

Как выяснилось позже, турки еще вечером, лишь начало темнеть, двинулись от местности Малуша, где были их укрепления, на запад и через возвышенность Вятср Поле ворвались в Зеленое Дерево, чтобы перерезать путь русским у моста Хаджи Цонева и села Червен Бряг.

Когда мы услышали «Бегите! Турки!» и выстрелы, я заорал что есть мочи, брат и сестра мои тоже заревели в голос. Сильно испугавшись, я бросился бежать, ничего не

сказав ни сестре, ни брату. Вылетел с тока, как птица, пронесся мимо нашего дома и крикнул: «Мама! Беги! Турки!»

Брат с сестрой остались на току. Я решил бежать к бахчам. По пути меня настигли турки, которые бешено неслись на конях и едва не раздавили меня. Спасло меня то, что сошел с дороги, и они пролетели мимо. Я добрался до бахчи, отступил метра на три от дороги и замер на небольшом лужке возле сарая. Бой был в разгаре. Пули градом свистели над моей головой. Когда я стоял возле сарая, на лужок карьером вылетел турок и остановился. Он вынимал патроны из патронташа и стрелял в воздух, не обращая на меня внимания, хотя я был совсем рядом. Видно, не хотел убивать малолетку... Ошеломленный свистом пуль, я не двигался с места, не знал, что делать. Тут появилась наша соседка, хозяйка сарая Велчонца Терзиева, и, увидев, что я как вкопанный застыл рядом с турком, закричала в ужасе: «Тотю! Беги же! Это турок!» Я бросился со всех ног от турка и подбежал к тетке Велчонце, которая обнимала за плечи своих детей, Колю и Иванку. «В сарай!» Я пустился за теткой и ее детьми. Турок тронул коня и ускакал. Соседка говорит мне: «Тотю, надо выбираться отсюда, потому что или сарай зажгут, или нас убьют».

Возле ограды росли терновник и крапива. Соседка помогла детям перелезть через ограду, перелезла сама, а меня оставила, надеясь, что я сам справлюсь. Но ограда была высокая, я не смог перелезть через нее и остался на открытом месте. Бой еще продолжался. Посидел я перед сараем, потом заметил, что от домов приближается ко мне турок. Когда он подъехал к сараю и увидел меня, то придержал коня, направил на меня ружье и выстрелил. Сноп искр опалил мне ухо, шапка слетела с головы. Турок поскакал дальше.

...Я пошел по дороге, что вела в село Баевци. Вдруг слышу: «Беги вниз! Вниз живее!» Не знаю, кто кричал, но благодаря этому я спасся, иначе бы очутился в местности Ралчова Локва, где сновали турки.

Я спустился и, перейдя поле, двинулся в село Стомонеци. Неприятельские пули свистели все реже, и постепенно стрельба совсем прекратилась. В Стомонеци был отряд донских казаков. Я подошел к ним. Один казак дал мне хлеба и мяса и велел, чтобы я бежал в Габрово. Я вышел из шоссе у села Червен Бряг. Что тут творилось! Много-много русских войск вдоль шоссе, но еще больше солдат наступало из Габрова. Разбушевавшееся море беженцев: мужчины, женщины, дети... Здесь я встретил свою мать. Она, рыдая, заключила меня в объятия. Отправились искать брата и сестру, которых я оставил на току при налете турок. Нашли их целыми и невредимыми. Никто из нашей семьи не был убит.

После полудня, около трех часов, возвратились вместе с русскими войсками в Зеленое Дерево. Языки пламени еще вырывались из развалин сгоревших домов. Всюду обгорелые балки, обломки камней. Вой собак, плач испуганных детей, причитания женщин при виде разоренных и ограбленных очагов. И самое бесчувственное сердце зарыдало бы и запомнило навечно эту кровавую, душераздирающую картину.

Бесстрашный

Известно, что прежде чем турки окопались на Малуше, в северную Болгарию прибыло из Фракии много беженцев.

Вместе с беженцами приехала в Зеленое Дерево и одна семья из села Шипка. Она расположилась в доме убитого турками родственника. Главой этой семьи был Боню Шипчинин, высокий, плечистый, широкогрудый человек с русыми закрученными усами.

Турки налетели неожиданно — лишь немногие жители смогли убежать, а большинство турки убили в их домах. Среди тех, кто не успел скрыться, был и Боню с семьей.

К счастью, под рукой у Боню оказалось ружье. Он смело сказал жене: «Ничего не бойся, только патроны мне подавай, чтобы не задерживать стрельбу».

Как только показывались на дороге турки, этот неустрашимый юнак стрелял по ним попеременно из трех окон дома. Турки были вынуждены вернуться назад и двинуться по верхней дороге, что над селом. Боню застрелил двоих турок.

Когда русские войска прогнали из села турок, Боню со всем семейством вышел им навстречу. За геройство русские наградили Боню несколькими рублями.

VII

При встречах с потомками ополченцев меня не покидало чувство огорчения, что я неизменно опоздал: память людей утратила многие подробности, детали, черты того времени. А ведь еще в 1953 году, когда я учился в Болгарии, я увидел на широкой трибуне мавзолея в Софии в торжественный день 9 Сентября подтянутых стариков в форме ополченцев. Орлиный взгляд, пышные седые усы... С глубоким почтением относились к ним и те, кто проходил перед трибуной, и те, кто приветствовал с трибуны демонстрантов.

...Земледелец-кооператор Никола Турсунов. Пятидесятичетырехлетний внук ополченца, с лицом словно вытесанным из крепкого древесного корня, с кулаками как булыжники. О своём деде он мало что помнит. «Дед мой, так же как и я, прозывался Никола Турсунов. Был он садовником в Плоешти. Как там стало создаваться ополчение, он вступил в 4-ю дружину... — Никола задумывается, стараясь вызвать из глубины памяти еще что-либо. — Бабка мне говорила, что во время боев на Шипке она и ее односельчанки воду на ослах возили бойцам». Никола замолкает, и в его светлых глазах, обращенных ко мне, читается: «Ну, что еще! Все, что знал, — сказал...» Встаю, протягиваю руку, но Никола неожиданно оживляется: «Пошли ко мне (наша беседа проходила в сельсовете), портрет деда вам покажу».

...Любопытные домочадцы — от мала до велика — собрались возле портрета ополченца, наперебой объясняя мне: «Это наш дед», «Это наш прадед». С портрета смотрел Никола Турсунов-старший, с крестами на груди. Никола пригласил нас за стол. Но мы спешили и вынуждены были отказаться. «Добре, — сказал Никола, — но уж без флейты не расстанемся...» — «Какой флейты?» Никола вынул из ящика стола флейту, завернутую в матерiu. Приложил флейту к губам.

Как удивительна была эта музыка в маленьком балканском селе, закрытом от мира нависшими горными грядками и плотной стеной голых и влажных от тающего снега деревьев. Звуки вырывались из флейты, вспархивали, как птицы, с крыльца и, смешиваясь со щебетом воробьев на дороге, со звоном капли, падающей с крыш, с перестуком ослиных копытцев по обнаженным камням, создавали чудесную музыку природы... Никола уже перестал играть, а я все стоял в молчании. Зачем он вдруг достал свою флейту? И я понял с благодарной отчетливостью: а ведь потому, что в звуках флейты весь он сам, со своими мыслями и душой, глубокий и ясный, такой, каким он хотел остаться в нашей памяти.

VIII

Село Борика. Крутая обледенелая каменистая дорога, терновник карабкается по склонам. Само село расположилось над причудливо изрезанным оврагом, целиком открывающимся взгляду... Покосившаяся калитка: черная дворняга залиvisto лает, звеня натянувшейся цепью; дом в запустении — чувствуется, что не хлопчет в нем женщина.

А живет в этом доме Христо Петков, человек судьбы необыкновенной.

Поднимаемся к нему по скрипучей лестнице. Бай Христо не ждал гостей. Невысокого роста, щуплый, с худым, изострившимся от старости лицом, он несколько растерян. Смахивает крошки со стола, отодвигает почерневший от копоти кофейник. Мария-Тоска представляет меня. «Русский?» — вспыхивают от волнения красные пятна на щеках Петкова, и он обращается ко мне на чистом русском языке.

...В окружном комитете партии в Габрове мне сказали: «У нас в округе живет Христо Петков — участник Октябрьской революции...» Я познакомился с документами, касающимися жизни Христо Петкова. Запомнились фразы из автобиографии: «Старость приходит, когда сердце остывает, а мое — горячее...», «Я боролся, чтобы восторжествовал коммунизм...»

...Несколько раз мы прерывали беседу с баем Христо: волнение душило его, на глазах выступали слезы.

У его отца, бедного крестьянина, были родственники в южной России, и одиннадцатилетнего Христо отправили к ним — учиться ремеслу.

Гражданская война застаёт его, уже молодым человеком, в Екатеринославе. В 1918 году Христо вступает в партию большевиков. Позже он напишет: «Места не мог найти от радости, что среди них». Он создает партийную группу из болгар и становится ее секретарем.

Христо сражается с бандами атамана Григорьева.

«Собрали нас, коммунистов. Приказ зачитали — переправиться через реку, вступить в город Амур. Отряд наш в несколько тысяч человек, рабочие-партийцы. Каждому — по винтовке, а к ней лишь пять патронов. Поддерживают нас два броневика, под их прикрытием наступаем. Сто метров не дошли до станции, как ударили пулеметы из окон. Все равно мы с ходу взяли станцию. Меня и еще семерых бойцов оставили охранять ее. Мое внимание привлекли товарные вагоны поодаль, на запасных путях. Пригляделись, а там кавалеристы, эскадрон григорьевцев... Залп — и солдаты сдались.

Из Екатеринослава паровоз прислали — на платформе мешки с песком, а за мешками пулеметная команда.

Паровоз вперед двинулся, мы — за ним. Вдруг глядим: попятился наш паровоз. Что такое? А то, что навстречу григорьевский бронепоезд. Паровозу куда против него устоять. Да удача вышла: солдаты на бронепоезде в нас, красных революционеров, стрелять отказались... Возле узловой станции Знаменка одержали мы победу над Григорьевым».

Партия посылает Христо в болгарские села южной России — колесят там по жарким шляхам разбойничьи ватаги Махно.

«Должен был я, как пропагандист, разъяснять, кто такой Махно, что несет он трудовому люду. Помощников себе подобрал в деревнях: учителя Ивана Кару и его брата Степана... Стали людьми обрастать — «болгарский летучий отряд» прозывались. А у меня винчестер за плечами — боевой парень. Цель нам высокая светила: всю Болгарию на борьбу поднять...»

После разгрома Врангеля вернулся Христо в Екатеринослав и как мастер огородничества создал образцовый огород. Но однажды прилег на влажной земле отдохнуть и заболел воспалением легких. Лечили его, даже на Кавказ посылали, но осложнение не проходило, и решил он домой в Болгарию поехать, а подлечившись там, вновь вернуться в Россию.

На турецкой шхуне в 1922 году переплыл Христо Черное море и вступил на болгарский берег. Радостно встретили его дома, ухаживали, выхаживали соскучившиеся в разлуке по сыну родители. Снова почувствовал себя Христо молодцом. «Пора мне, отец, в Россию». Но власти призвали Христо в трудовые войска, и потянул он солдатскую лямку. А после демобилизации царские чиновники отказали ему в выезде.

Он отправился в Турцию, считая, что оттуда легче перебраться в Советский Союз. Два раза ловили его турецкие пограничники, два раза сидел он в тюрьме за попытку нелегально перейти границу.

Семь лет провел Христо в Турции, а затем переехал в Иран, чтобы там осуществить свой замысел. Но и в Иране не удалось перейти границу, а английские власти, обвинив Христо Петкова в деятельности против интересов Великобритании, добились его выдачи и заточили в крепость в Индии. Лишь в 1947 году вернулся он в Болгарию, уже ставшую Народной Республикой.

«Последний бы раз увидеть русскую землю... Последний бы раз...» — с такой щемящей тоской произносит бай Христо, что мне становится не по себе. Он стар. С трудом, опираясь на палку, идет по селу. Дальние пути ему ныне заказаны. Но мечта о земле его молодости жива в нем, пока бьется сердце. Земля, где он сражался за свободу. Земля, где он ощутил себя мужчиной. Земля, где, может быть, в вишневой черноте ночи жарко целовали его коханые уста.

«Последний бы раз увидеть русскую землю... Последний бы раз...»

IX

Когда я уезжал из габровского края, я оглядел окрестные горы и спросил: «А в какой стороне Шипка?» — «В той», — протянул руку мой товарищ. И я увидел кромку дальнего черного леса, подернутого туманом, и рассеянные лучи солнца, позлатившие снег. Кое-где на склонах снег уже сошел, и черные проплешины земли виднелись ясно, очертания их не были размыты. С деревьев при порыве ветра осыпались со звоном льдышки, а мне казалось, что где-то там, в горах, еще грохочет бой, и это осколки долетают сюда, до мирного селения Боженци.

«Держись так, сынок»

Давным-давно молодым человеком я приехал в село Перушица, что среди живописной болгарской Фракийской равнины. В гостинице меня ожидал номер, но я, лишь оставив в нем свой нехитрый багаж, отправился бродить по селу.

Мир был наполнен необычными красками и запахами. Красный стручковый перец гирляндами спускался с подоконников. Связки его тянулись от дома к дому, и казалось, что их повесили нарочно, по поводу какого-то праздника. Запах от перца шел едкий, пряный, но стоило подуть легкому ветру со стороны сада, как с жарким дыханием перца смешивался аромат цветущих розовых кустов. Ослики с лоснящейся коричневой шерстью; разряженные, отупевшие в своей важности индюки; мохнатые пастушья собаки; толстогубые, с выпирающей лобной костью вола — привносили в сельскую жизнь свои звуки, шорохи, свой характер.

Я посидел в корчме, потягивая из зеленоватой глиняной кружки прохладное местное вино, и едва небо подернулось предвечерними сизыми сумерками, тронулся в гостиницу, устав от дневного пути, впечатлений и предчувствия нового.

Долго не мог заснуть, сидел у окна, приоткрыв занавеску, наблюдал, как появляются звезды на небе — сначала робко, бледно, расплывчато, а потом они вспыхивали, набирая раскаленную световую силу.

Я заснул поздно, но вскоре проснулся оттого, что в дверь мою постучали.

— Кто? — спросил я.

— Откройте! Друзья! А мы и не знали, что вы тут!

Я открыл дверь и увидел на пороге двух молодых людей. Один держал объемистый газетный сверток, из которого торчала жареная куриная нога, другой с выражением отчаянья на лице поднимал перевернутую бутылку, показывая, что вина в ней нет.

— Мы инженеры-путейцы, — начал тот, который был с курицей, — дорогу прокладываем в горы... И вдруг узнаем, что русский товарищ рядом поселился. На горе — вино уже выпито. Но курица — честь ей и хвала! — лучшая на всю округу!

— Спасибо, я сыт...

Но тот, который был с пустой бутылкой, решительно вошел в комнату.

— Ужинать никогда не поздно...

Ну что ж, сели за стол. Того, что с курицей, звали Дянко, того, что с бутылкой, — Павел. Они вели автомобильную дорогу в горное село Чурен, приобщая горцев к благостям фракийской равнины, и были преисполнены энтузиазма.

— Народ у нас с открытым сердцем, — уверяли инженеры, — вот стоит нам в любую дверь постучаться и вина попросить — целую бутылку вынесут! Может, попробуем? — задиристо воскликнул Павел.

Но... в этот миг снова постучали.

— Видите, — тихо сказал я, — соседей за стенкою беспокоим.

Я открыл дверь. На пороге стоял бравый мужчина со строгим, суровым лицом. Он молниеносным взором пронзил Дянко и Павла и представился:

— Христо Пашев, парторг кооператива... Стыдно, товарищи, так дорогого гостя принимать! Он ведь из России к нам, а вы ему — косточки на газетке, — люто взглянул он на распластанную курицу.

— Да ведь мы сыты... — промямлил я.

— Да ведь лентяи корчму закрыли еще до темноты... — развел руками Павел.

— По поводу трудовой дисциплины — особый разговор, — оборвал Пашев инженера, — а вас, — Пашев взглянул на меня, — прошу следовать за мной...

Я осторожно спросил;

— А куда?

Пашев кинул еще раз:

— Пошли, — и бросил через плечо инженерам: — И вы тоже...

Мы молча проскрипели по деревянной гостиничной лестнице и оказались под бархатным звездным небом.

Мы свернули с освещенной улицы, и теперь только белые цветы акаций обозначали наш путь. В глубине улицы один из домов был освещен. В нескольких шагах от дома Христо Пашев остановился и широко повел рукой:

— Пожалуйста.

Я посмотрел в его лицо и был поражен происшедшей переменой: лицо сияло добротой, весельем.

— И вас, товарищи инженеры, прошу.

Хозяйка в домотканом переднике встречала нас у порога, приговаривая с улыбкой:

— До такого часа за стол не садиться! Хорошо о нас гость подумает!

— Да мы курицу... — начал было Дянко.

Хозяин сказал:

— Узнаю, что русский гость у нас поселился. Да еще известили, что наши инженеры с бумажным пакетом да с пустой бутылкой к нему двинулись. Ну, — думаю, — позора наша Перущица не оберется...

— Мы ведь от души. Это корчма раньше срока закрылась... — оправдывались инженеры.

Ах, какой стол простирался, — именно простирался перед нами! Иссия-черные баклажаны, рассеченные пополам, вываливали свою вязкую мясистую плоть с вкрапленными в нее продолговатыми, зелено-водянистыми семечками; помидоры, похожие на детские щеки, готовые лопнуть от смеха; лакированно-блестящие скрюченные стручки перца, таящие в себе неслыханно обжигающий заряд; миски с кислым молоком; вяленое мясо с желто-серебристыми прожилками жира; отварная рыба из горных ручьев, еще не утратившая своих переливчатых красок; дымчатые грозди винограда; вина: белое — такое ясное, что в него можно было смотреться, как в зеркальное стекло; и черное, от которого казалось все почернеть должно — губы, зубы, язык, все, кроме души и сердца...

— А вообще-то наши инженеры молодцы, — с лаской посмотрел Христо на присмиривших молодых людей.

— Мы, — продолжил он, — плодородная Перущица, пригласили войти в наш кооператив горную деревушку Чурен. Там — чистый воздух, лес, пастбища. Но фруктов нет. А теперь дети Чурена и виноград, и персики, и сливы получают от нас с равнины. А мы на травостойных полянах животноводческие фермы выстроим... Хорошая дорога нам позарез нужна...

И вдруг... На крыльце послышались тяжелые шаги, и дверь без стука открылась. Невысокий человек, кареглазый и подвижный, недовольно покачивая головой и в то же время улыбаясь пухлыми губами, прошел через всю комнату к столу.

— За что боролась? — весело закричал он. — Чтобы приезд русских друзей без нас праздновали? Я тебе, Христо, этого не прощаю, — так же весело погрозил он пальцем.

— Да вот как произошло... — стал объяснять Пашев, обращаясь к гостю с глубоким почтением.

— И слышать не желаю, — отмахнулся вошедший. Он положил мне руку на плечо и сказал — Вот что, сынок, — перебираемся ко мне.

И все послушно встали из-за стола и снова вышли на улицу. Пашев шепнул мне, что идем мы с Пенчо Савовым, легендарным в этих краях партизаном.

Пенчо Савов спросил меня:

— А чем ты занимаешься, сынок?

Я ответил, что изучаю славянские языки.

— А зачем? — неожиданно спросил Савов.

— Ну, как зачем? — удивился я. — Буду стремиться, чтобы наши народы еще глубже узнали друг друга... Ну, чтоб еще больше сблизить народы... — не очень внятно объяснил я.

Савов замедлил шаг, повернулся ко мне и пытливо взглянул на меня:

— Трудный путь выбрал, сынок... Вдумайся только в слова — «сблизить народы». Это тебе не ветку к ветке пригнуть. Трудный путь, да поприще великое... Держись так, сынок...

Уже зарозовела кромка неба над дальним горным кряжем, когда мы расположились под росистой темно-зеленой грушей в саду у Пенчо Савова. Он принес свежего хлеба, брусок пупырчатого сыра, зелень и откупорил бочонок вина. — я хочу провозгласить здравицу за Советский Союз...

И мне вдруг стало неловко оттого, что я сам еще так мало совершил полезного и важного на земле, — Революция, ломка социального уклада, создание нового великого государства, даже победоносная Отечественная война — все прошло без моего личного участия, а ныне заслуженный герой Болгарии чествует мою Родину и как бы меня лично приобщает к ее высоким делам. Савов словно понял мою смятенность и добавил ободряюще, задумчиво:

— Тебе еще, сынок, столько выпадет в жизни... Держись так, сынок...

...В тридцатые годы на лесных склонах Гвадараммы принял на себя Пенчо Савов удар неистовых марокканских стрелков. Сочные оливковые листья, сбитые осколками, кружились над ним, опадали. Его пулемет засекали. Справа и слева рвались мины. Стоило чуть приподнять голову, как пули с визгом вонзались в кряжистые стволы оливок. Растерялся Пенчо, уткнулся в желтую песчаную землю... Послышался шорох за спиной Пенчо, кто-то спрыгнул к нему в окопчик. Оглянулся Пенчо, видит — комиссар интернациональной бригады в потрескавшейся кожаной куртке. Сначала сказал по-испански: «Комарадо...», а после, узнав болгарина, по-русски: «Давай, сынок, переместим пулемет... Да и вдарим!» Установили пулемет в небольшом овражке. «Держись так, сынок!» — махнул комиссар и по-пластунски скрылся в кустарнике. Захлебнулась и эта атака марокканцев.

...А здесь, весной сорок четвертого, у дороги на Чурен, засев в трещинах между скал, отбивала горстка партизан из отряда Пенчо Савова осатанелые цепи жандармов. «Сдавайтесь, коммуняги!» — орали жандармы. Пенчо, сам еще молодой, подбадривал: «Держитесь так, сынки! От скал отступим, — перебьют на склонах... Держитесь так, сынки!» Откатились, воя, жандармы. Поручик Горанов, кабацкий щеголь и изувер, разрывал бархатный воротничок мундира, обливаясь кровью в предсмертном стенании.

...Высокий старик неслышно приблизился к плетню и спросил удивленно:

— Что за пир на рассвете, Пенчо?

Пенчо Савов озорно, по-мальчишески блеснул глазами, склонился ко мне:
— Разыграем? — и к старику — Ты, Стефан, не узнаешь моего гостя? Да когда в сорок втором в тюрьме в Сливене сидели, паренек с нами был, помнишь?

Стефан близоруко взгляделся в мое лицо, протянул:

— А точно... Встреча-та какая!

Потом ему растолковали, кто я есть, и он долго не мог успокоиться.

— Ты, Пенчо, как парень молодой — лишь бы шутки шутить над товарищем, потешаться... — он поворчал незлобливо и подсел к нам под грушу.

...В гостиницу мы возвращались вшестером, в обнимку, впечатывали твердо шаг в пыльный настил и пели песню:

Три танкиста, три веселых друга,
экипаж машины боевой!..

А потом, уже у входа в гостиницу, Пенчо Савов незаметно сунул мне конверт, шепнул: «Поглядишь позже!» В номере я раскрыл конверт, и из него выпала фотография Пенчо Савова — крест-накрест пулеметные ленты на груди, на голове пилотка со звездой, в руках карабин, и весь он, молодой, крутоплечий, устремлен вдаль, вперед...

Вновь в Перущице я оказался через пятнадцать лет. Перущица уже была не селом, а городом, чистым, красивым, залитым летним солнцем.

— Поищем твоих друзей, — сказал мой спутник.

Машина подъехала к горсовету. Любезные люди любезно вникали в мои просьбы и сокрушались, что не могут мне помочь.

— Инженеры Дянко и Павел? А фамилии не помните? К сожалению, трудно установить.

— Христо Пашев? О! Христо — большой руководитель. Вы его в Софии разыщите.

— Стефан?.. Да был такой борец против фашизма... Стефан Попов... Умер...

— Пенчо Савов?..

...В чистом, аккуратном городском музее я перешагнул порог и оказался в мемориальной комнате Пенчо Савова — его оружие, его одежда, его документы... Глаза мои невольно наполнились слезами.

— Что с тобой? — недоуменно спросил товарищ.

— Ничего, — выдавил я, а в шелесте заоконных веток, заглядывающих в дом, мне слышались слова «Держись так, сынок», — слова, которые за эти годы я не раз мучительно-счастливо призывал к себе на помощь в минуты отчаянья, победы, надежды...

Три дня в двадцатом веке

Листаешь страницы памяти и замечаешь, что с годами они не стали бледнее, — наоборот, тонкий аромат утрат щемяще волнует душу.

...В Болгарии в начале лета я со своим болгарским товарищем приехал в небольшой приморский городок, знаменитый древними развалинами. Уютный домик на двоих прятался в тени разросшихся деревьев. Невдалеке ласковое море набегало на желтый песок, стремительные чайки прочерчивали крыльями по воде.

В главном здании, снимая с гвоздя ключ от домика, я заметил девушку, высокую, стройную, с продолговатым чистым лицом и карими глазами. Светлое платье в темный горошек ладно скользило по ее крепкой фигурке. Девушка тоже пришла за ключом. Она кинула на меня взгляд и поинтересовалась:

— Вы русский?

— Да, — выдавил я, смущаясь, словно меня в чем-то уличили.

— Так сразу и подумала, — улыбнулась она.

Я оторопело глядел ей вслед, сознавая, что идти за девушкой нелепо, но внезапное волнение подкатывалось комком к горлу.

— Что с тобой? — уставился на меня товарищ. Он при всей доброте своего сердца был суховат и вряд ли приписал мою растерянность встрече с незнакомкой.

— Как начнем действовать? — спросил товарищ, когда мы расположились в домике. — Можно осмотреть развалины храма, посетить виноградарческий кооператив... Составим четкий план нашей жизни здесь. — Он был целенаправлен, мой товарищ.

— Конечно, составим, — безразлично ответил я, мечтая лишь о том, как отыскать девушку. И, решив, что прямота лучший довод, прямо попросил товарища:

— Найди мне девушку...

— Ты что, не в себе?

— Да нет — ту, что была в здании...

— Зачем она тебе? — изумился товарищ, но, взглянув в мои глаза, сообразил что-то и протянул — Да, теперь плана не составишь... Но по долгу дружбы... Жди!

«Я ведь не уличный волокита, не прилипла, — рассуждал я. — Что же случилось со мной? Да ничего! Понравилась — и все! Донельзя понравилась!»

Товарищ возвратился через полчаса.

— Успокойся, Ромео! Ее зовут Ружа. Она работает летом переводчицей, а зимой учится в Софии. И... вечером Ружа поужинает не со своими чехами, а с нами.

— Ты волшебник, брат, ты волшебник! — восхищенно пролепетал я.

...В ресторан мы поспешили задолго до встречи. Я уговаривал официанта, молодого парня, недавно вернувшегося из армии:

— Ты уж постарайся! Давай розами стол украсим.

— Понимаем, — подмигнул официант. Цветов не оказалось, и он принес коробку конфет с нарисованными пламенными розами.

Ружа подошла ко мне так, как будто мы были давно знакомы, и беседа завязалась сама собой. В глазах у нее играли бесенята.

— Вас удивило, что я появилась в незнакомой компании?

— Отчего же!

— Нет, бесспорно, удивило! Но я ведь русскую филологию изучаю. И будем считать, что у меня урок языковой практики! Хорошо?

— Как желаете.

А ее милое оживленное лицо словно говорило мне: «Я знаю, что я тебе понравилась, мне это приятно, мне больше чем приятно, потому что ты мне тоже нравишься...»

Вдруг я обнаружил, что пожилой обрюзгший мужчина за дальним столиком как-то особенно поглядывает на Ружу и даже делает ей знак рукой. И тут Ружа встала, извинилась перед нами и устремилась к мужчине. Я стал мрачнее тучи, а товарищ напряженно вытянул шею. Официант замер возле столика, всем видом подчеркивая, что он с нами.

Ружа вернулась и рассмеялась:

— До чего же вы все надутые! Это староста моей чешской группы, они меня на вечер освободили, да в объяснениях с официантом запутались.

— Чехи — хороший народ, обстоятельный, — отлегло у меня от сердца, — староста, видать, толковый, — и его лицо уже не казалось мне обрюзгим.

Мы танцевали с Ружей под навесом, потому что шел дождь. Ручейки, стекая с навеса, образовывали серебряную бахрому, ограждавшую нас. Пожилой чех, танцевавший рядом, подмигнул мне:

— Танцуем, пока ноги танцуют. Пока красивые девушки идут с нами танцевать.

— А я и танцую, пока красивые девушки идут с нами танцевать, — в тон подхватил я.

— О, как он хорошо изъясняется по-русски, — обратился чех к Руже. — Ваш коллега?

— В некотором роде, — посмотрела она мне в глаза. — У вас есть отец и мать? — спросила.

— Да.

— И у меня оба живы и здоровы. Когда мне бывает очень хорошо на душе, я мысленно всегда их зову в свой круг. Вот и сейчас я зову их. Не возражаете?

— Нет, разумеется, — удивился я Ружиной непосредственности.

И я впервые подумал о том, что только мещанские условности требуют, чтобы чувства проверялись месяцами, а то и годами.

Нет, чувства вспыхивают, как молнии, как гроза, и так же как после молнии и грозы наступает великое торжество и благоденствие в природе, так же прозрачно и необъятно-высоко становится в мире души человеческой. Подобное состояние испытывал и я в эти мгновения — все: движение ее руки, взлет бровей, искрящиеся глаза — было единственным и ниспосланным судьбой.

Поздно вечером, когда прекратился дождь, я пошел провожать Ружу. Мокрый песок туго вдавливался при каждом шаге, в глубине аллеи клубилась туманная дымка. Сердце стучало гулко и тяжело. На изгибе аллеи, не доходя до черты, откуда пространство освещалось вечерними фонарями, я приостановился, взял Ружу за кисть руки и молча повернул к себе. Она не сопротивлялась, но и не облегчала мои усилия. Ее карие глаза темно блестели... Медленно сходились наши губы, и миг их соприкосновения был подобен электрическому разряду в живой природе.

Сны мои в ту ночь были причудливыми и мятущимися. Проснувшись раньше товарища, я вышел на низенький, чуть поднимавшийся над землей балкон и увидел на нем бутылку белого вина и корзинку с клубникой. Нет, сон мой явно продолжался. Я уже натягивал плащ, когда товарищ раскрыл глаза.

— Ну, я так и предполагал, — весь план побоку! А в кооперативе ждут нас, сам товарищ Жеков звонил, чтобы обеспечили уровень приема.

— Ничего, — бодро воскликнул я, — больше фруктов останется для розничной торговли!

Накануне Ружа обещала, что попытается освободиться на весь день, и мы уедем с ней куда глаза глядят.

Я чуть ли не бежал к автобусной станции, томительно переживал, а вдруг ее не пустят. Но вдали я различил ее. Ружа махнула мне сумочкой, и я по ее радостному жесту уверовал, что удалось договориться.

— И куда? — спросила Ружа. — Может, в Бургас?

Я готов был согласиться с любым ее предложением.

— Сейчас девять часов. Будем считать каждый час за месяц, и у нас образуется огромный день.

— Принимаю.

— Значит, уезжаем в январе.

Покачивался автобус, полный людей. За окнами тянулись сады, деревенские дома под черепичными крышами. Прижавшись друг к другу, мы были полны лишь самими собой, блаженно-прекрасным томлением...

— Что будем делать в Бургасе? — спросил я, когда въехали в предместье.

— Как что, милый? Дышать.

Она сказала это с таким непререкаемым убеждением, что я почувствовал свою неловкость.

Мы шли по широкой улице, застроенной старинными домами. Морской ветер, пропитанный йодом и водорослями, вырывался из-за поворотов улицы и дул в лица. Мы шли по краю тротуара, взявшись за руки, почти молча, и жизнь города с шумом транспорта, переключкой школьников, рекламной игрой витрин, со скворчанием жарившейся на жаровнях рыбы плыла мимо нас. Я взглянул на свои запылившиеся ботинки.

— Надо почистить, — приостановился я.

— Зачем? — непонимающе вскинула головку Ружа.

А действительно — «зачем?» — если в бескрайнем мире есть только она и я и никому ничего не известно, что произойдет завтра. Ведь выпал день, когда два человека, прожившие порознь всю жизнь, распахивают друг для друга таинственные глубины своих душ — только это может иметь смысл и духовную ценность сегодня...

Обедали под темными сводами Морского клуба, усевшись за колонной, чтобы никто не нарушал нашего уединения. Беседовали то на русском, то на болгарском. Внезапно перед нашим столиком возник грузный человек со следами былой артистичности. Длинные седые волосы падали на воротник куртки, в руках он держал бокал с вином.

— Извините, молодые люди. Я артист, вернее, бывший артист, когда-то имел успех, — театрально усмехнулся он, — а теперь на пенсии. Я слышал чудную чистую русскую речь. Уважьте старика: прочтите стихотворение Есенина. Никогда я не слышал его музыки в исполнении его соотечественника, — а так хотелось бы!

— Прочти, — шепнула мне Ружа.

— «Вечер черные брови насопил», — стал читать я, но, когда дошел до строк:
Пусть я буду любить другую,
но и с той, с незнакомой, с другой,
расскажу про тебя, дорогую,
что когда-то я звал дорогой, —

голос мой прервался, я испугался, что Ружа примет эти строки на свой счет, истолкует по-своему. Но пересилил себя, чтобы не портить впечатление, и дочитал стихи до конца.

Старик пребывал в молчании, не присаживаясь к нам, покачивал тонким бокалом, потом как-то доверительно и по-детски улыбнулся:

— Спасибо вам! И — простите старика за назойливость, любите друг друга! — он скрылся за колонной, прогнувшись сутулой спиной.

— Какой странный, — сказала Ружа.

— Странный, — подтвердил я. И нам обоим стало не по себе оттого, что кто-то третий подсмотрел то, чего и мы сами еще не видели ясно.

— А почему ты прочел эти стихи? — все-таки спросила Ружа.

— Они порывистые и пронзительно честные. Я люблю их.

— Какие, право, у нас — болгар и русских, — продолжила Ружа, — разные характеры. У нас — сдержанное мышление. Молодые поженятся — сразу, как муравьи, начинают о собственном доме беспокоиться, строят, украшают... Уже о потомках думают. А вы, русские, как струна звените, тысяча мыслей в вас кипит...

— Это ты из литературы черпаешь.

— Да, из литературы. Но разве ты не такой? Как струна...

— Пожалуй, ты права, — нынче я как струна.

И снова то по тротуару, то по мостовой мы брели по городу, не обращая внимания ни на окрики извозчиков, ни на гудки автомашин, ни на завывание ослов на окраине... Мы вышли к морю. Оно лежало бесконечное — с кружевной каемкой прибоя, с прибрежной зеленоватой полосой, с синим широким разливом за ним, а еще дальше — оно бурлило воистину черными высокими волнами.

— Между нами море, — многозначительно сказала Ружа.

— Между нами ничего нет. Есть ты и есть я.

— Подойдем как можно ближе к твоей Родине.

— Куда же?

— А на самый край мола. Ведь за волнами — она.

— За волнами — она.

Мы вступили на мол, дошли до самой его оконечности и сели на теплые желтые плиты, облепленные ракушками и заросшие мхом. Вода, увлажняя мох, тянулась к нашим ногам и, не дотянувшись, скатывалась, обнажая длинные белесые водоросли. Там, за волнами, был мой путь, который я давно торил, мои первые успехи и мои первые поражения. Там был воздух, в котором я мог дышать так же естественно, как птица в сосновом лесу. Там,

только там, меня могло ожидать осуществление моих надежд и моих дерзаний. И острая, животрепещущая мысль пронзила меня: «А мог бы я взять ее, Ружу, и перевезти через море в мой отчий край — в мои весенние распутицы, сумеречные осенние вечера, долгие зимние ночи, в нежные и зыбкие вёсны, в круг моих североволжских знакомых, добрых и широких, терпеливых и размашистых?» И даже не про себя, а внутренним голосом честно сказал себе: «Не знаю», ибо никто не знает протяженность дороги любви и ведом лишь иногда проницательным путем привязанности.

— Между нами море, — уже с печалью повторила Ружа, словно ей что-то передалось от меня.

Вечером в приморском ресторанчике мы запивали белым вином жаренную на углях сладкую рыбу — лефер. Подгулявшие немецкие моряки тупо переступали на деревянном плацу танцевальной площадки, прихлебывая из кружек, которые не выпускали из рук.

— Не завершать же нам свой декабрь с пьяными баварцами? — положила Ружа свою руку на мою.

С горечью я посмотрел на часы.

Мы расставались с Ружей вечером у ее домика.

— Ты мне подарил чудный день.

— Почему «подарил»? Он был наш.

— Завтра ты уедешь, — значит, он не мог быть нашим, ты вынул его из своих дней и дал мне.

— Но, Ружа! Ружа!..

— Мы ведь увидимся, милый, правда? — И она провела своей прохладной рукой по моим глазам.

Мы договорились с Ружей встретиться через несколько дней в Софии.

Когда я приехал в Софию, мне сообщили, что у меня случилось в семье несчастье.

Я улетел сразу на транспортном самолете с ящиками черешни.

Жизнь жестоко ударила меня, и я долго не мог оправиться от ее удара. А оправившись, повзрослел и, наверное, изменился.

Через несколько лет, снова приехав в Болгарию, подчиняясь вновь ожившей во мне тоске по Руже, я принялся ее разыскивать. Мне помогали мои друзья, но так ее и не нашли. Тогда я написал стихи, и мой товарищ опубликовал их на русском в газете «Учительское дело» в расчете, что Ружа, ставшая учительницей, прочтет их, Зазвенела душа моя по всей Болгарии со страницы газеты:

Города я обшарю, как большие кусты,
перетрогаю горы, как складки платка.—
и откликнешься ты,
и аукнешься ты,
потому что моя так высока тоска!

Но Ружа не откликнулась.

Примечания

1

Примечание из старинной книги: «Это в то время почиталось за такую важность, что если сущий вор или разбойник, пойманный в отдаленном городе, это скажет, то не смели его наказывать, а должны были отсылать в Тайную Канцелярию».

2

Бай — уважительная частица перед именем старшего и почитаемого человека

Оглавление

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- БЛОКАДНЫЕ НОВЕЛЛЫ
- Первый день войны
- Эвакуация
- Очереди
- Славка Ван-Сысоев
- Хлеб
- Наталья Ивановна... Наточка
- Красота
- Приключения коржика
- Смерть Исаака
- Колька и Котька
- Русалочка
- Бабка Иголкина
- Паша Панаев
- Знакомство с актером
- Жизнь попугая
- Девушка в белом полушубке
- Черемуха
- Бабушка и участковый Сидоркин
- Отец
- Два воспоминания о дяде Степе
- Учитель математики
- Макароны
- «Сухарь»
- Конь
- Первой блокадной весной...
- ...овец... овец...
- Бокал вина
- Базарный день
- Стук в дверь
- Димка
- Мопассан
- Колька из Сан-Франциско
- В начале сорок пятого...
- Настя
- Вечное эхо войны
- Жизнь Коськи Морева
- Путь через всю жизнь
- Вера. Надежда. Любовь
- Немецкий язык
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Аз есьм
- О счастье
- В давнюю летнюю ночь
- Аз есмь
- «Златая цепь на дубе том...»

- Мой друг, так трудно расставаться...
- Печалюсь и улыбаюсь
- Матушка
- Фома Гасай
- Мать
- Ярмарка
- Ночь на воде
- Дары искусства
- Нюша
- Ранняя осень
- Озарение
- Васька
- Евдокимыч
- Нина
- Коль Саныч
- Солдат
- Груша
- Иван, сын Андреев
- Дядя Пеша, его жизнь и смерть
- Лешка едет домой
- И встретился на пути человек
- Трудное дело — ЖИЗНЬ
- Свет керосиновой лампы
- Василий Лебедев
- Из оятского дневника
- Зима
- Колька-рыжий
- Начало раздумий
- Кузнец
- Петр Григорьевич
- Об уважении
- Василий Иванович Харламов
- Мать
- Хозяйка
- Шаги в космосе
- Роберт Деревягин
- Ранний апрель
- Как сапожник Прон лишился своих заказчиков
- Из охотничьих баек
- Слова
- Раздумье о доме
- Голос
- Пасмурное лето
- Северные записки
- История Ваньки Каина, известного пройдохи
- I
- II
- III
- IV

- V
 - Шипка — слава моя и твоя
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - «Держись так, сынок»
 - Три дня в двадцатом веке
-